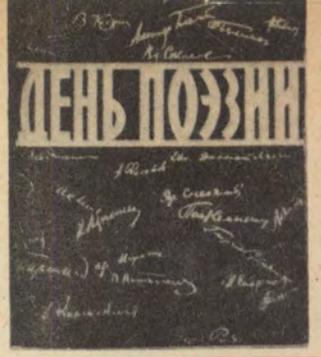


1965

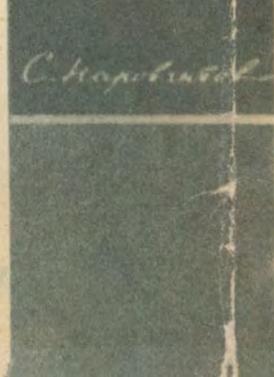
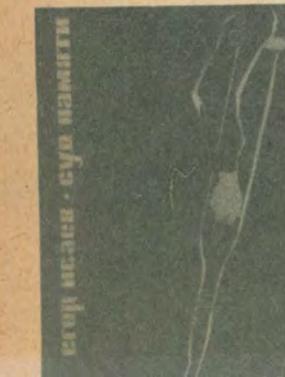
ДЕНЬ ПОЭЗИИ



ДЕНЬ ПОЭЗИИ



1965



**ДЕНЬ
ПОЭЗИИ**

1965

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1965

Главный редактор ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Виктор Боков, Валерий Дементьев, Александр Николаев, Борис Слуцкий, Ярослав Смеляков, Семен Трегуб, Владимир Туркин, Герман Флоров (составитель), Яков Хелемский.

Художник М. Серегин

В сборнике «День поэзии» 1965 участвуют:

Аким Я.
Алигер М.
Антошкин Е.
Арский П.
Асадов Э.
Аршаруни А.

Бальмонт К.
Бауков И.
Белинский Я.
Белый А.
Бершадский В.
Благов Ю.
Благой Д.
Блынский Д.
Бобович Б.
Богданов П.
Боков В.
Брагин А.
Браун Н.
Букин Н.
Бурова Н.
Бялосинская Н.

Ваншенкин К.
Васильев С.
Викулов С.
Винокуров Е.
Волбуева И.

Глазков Н.
Глазов Г.
Глушкова Т.
Голубков Д.
Гордейчев В.
Гордиенко Ю.
Грибачев Н.
Григорьянц С.

Дагуров В.
Дементьев А.
Демин М.
Дмитриев О.
Долматовский Е.
Дружинин П.
Друнина Ю.
Дубровин Б.
Дудин М.

Евтушенко Е.
Емельянов В.
Еремеев Г.
Ермаков В.

Жаров А.
Железнов П.
Жигулин А.

Заболоцкий Н.
Заяц А.
Звягинцева В.
Злобина Д.

Иванов А.
Ильин Е.
Исаковский М.
Искандер Ф.

Казанцев В.
Карпеко В.
Квятковский А.
Кобзев И.
Ковалев Д.
Коваленков А.
Коваль-Волков А.
Козловский Я.
Козырев В.
Колесников Г.
Коненков С.
Коржавин Н.
Корин Г.
Корнеев А.
Котляр Э.
Котов В.
Кочетков В.
Кочечкин С.
Кронгауз А.
Кудрейко А.
Кузнецов Вяч.
Кузнецова С.
Куликов Б.
Куняев С.

Лавров Л.
Лесс А.
Липкин С.
Лиснянская И.
Лисянский М.
Лобанов М.
Луконин М.
Львов М.
Лыцов И.

Магидсон С.
Марков А.
Марков С.
Мартынов Л.

Матвеева Н.
Матеу Х.
Межиров А.
Мориц Ю.
Мотяшов И.

Нагаев Д.
Наппельбаум Л.
Наровчатов С.
Некрасова К.
Николаев А.
Николаевская Е.
Новосельнова Н.

Озеров Л.
Ойслендер А.
Окунев Ю.
Орлов С.
Ошанин Л.

Павлинов В.
Панкратов Ю.
Панов Н.
Панченко Н.
Паттерсон Д.
Перевалов Н.
Поликарпов С.
Подчуфаров А.
Поляков Е.
Поперечный А.
Португалов В.
Поступальский И.
Примеров Б.
Пришелец А.
Прокофьев А.
Прокушев Ю.
Пулькин И.

Радимов П.
Румянцева М.
Рыленков Н.
Рядченко И.

Светлов М.
Северянин И.
Семакин В.
Семернин В.
Сибиряков Б.
Сикорский В.
Симонов К.
Скуратов М.
Слуцкий Б.

Смиренский Б.
Смирнов Д.
Смирнов Л.
Смольников А.
Снегова И.
Соболь М.
Соколов В.
Солоухин В.
Сорокин В.
Соснора В.
Старшинов Н.
Стройло А.
Сухарев Д.
Сухов Ф.

Тарковский А.
Творогова В.
Терещенко Д.
Тихонов Н.
Трегуб С.
Тряпкин Н.
Туркин В.
Тушнова В.

Урин В.
Ушаков Н.

Федоров Вас.
Фирсов В.
Флёров Н.
Флоров Г.
Фокина О.
Фоняков И.
Харабаров И.
Хелемский Я.
Хохлов С.
Храбровицкий А.

Цветаева М.
Цыбин В.

Чуев Ф.

Шавырин Ю.
Шамов И.
Шемшелевич Л.
Шехтер М.

Щелоков Ю.
Щипачев С.
Эскович Н.

Яшин А.



*ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ.
(К 700-летию со дня рождения)*

Гравюра Ф. Константинов

ПРАЗДНИК СТИХА

Владимир Гордейчев

МОЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

Грозою полыхнувшая над катами,
народ с колен поднявшая рывком, —
люблю во рту слова твои раскатывать,
такие, как «р-республика», «р-ревком».
Они хранят громовый отзвук выстрелов
по Зимнему в том самом октябре,
в который я сощуренно и пристально
гляжу в моих раздумьях о тебе.
Сближая расстояния и сроки,
окинув твой немислимый разбег,
провижу я глубинные истоки
твои, едва ль не первые из всех.
В самих себе огонь высокий пестуя,
чтоб видеть путь, которым мы идем,
сегодня стал любой из нас ответственным
за все, что совершается при нем.
И в этом — суть. И в этом — наше
счастье.

И я, когда в сомнения войду,
советуюсь с моей советской властью
и с Лениным в семнадцатом году.
Твой путь не прост. Корчуя пни
и надолбы,
в твоих рывках вперед и напрямик
еще не раз все то, что пишешь набело,
ты завтра разорвешь, как черновик.
Но вольный свет раскованного разума,
до самых звезд вознесший нас почти,
да светит нам над суетными фразами
и утверждает правильность пути!

ПОРА ЧЕРЕМУХ

Древней не знаю интереса
в местах, знакомых наизусть,
чем тот, с которым в сумрак леса
как будто в воду окунуть.
Он потрясает до рыдания,
он возвышает до небес, —
зеленая исповедальня,
ветвей щебечущий навес.
И вы от свежести пьянели,
и вас покалывал остро
озон прохладного туннеля
зеленолистого метро.
Здесь прутик клена клюв разинул,
канавы зеленью свежи
и трубки ландышей в низине
проткнули землю, как ножи.

Тропа в черемуховых звездах.
Вдохнул — и слезы по лицу.
Вбирая полной грудью воздух,
брожу безвылазно в лесу.
Я не устану удивляться
богатству солнечных мазков
по шелку вымытых до глянца
тяжеловесных лепестков.
Я этот праздник, это чудо,
ветвей торжественный покой
ни на минуту не забуду
в своей квартире городской.
Приду домой, завешу окна,
открою книгу поновей,
и вдруг, глаза закрыв, причмокну,
как в чаще чмокал соловей.

* * *

Все береги: родную речь,
Где слово с корнем жизни связано,
В полях медовый ветер греч,
В борах дымок сосновых свеч,
Разноголосье птиц согласное.
Отдай за них рубашку с плеч
И знай, что лишь себя беречь
Поэту противопоказано.

* * *

Ты хочешь знать, как пахнет лето,
Чем нас томит его краса? —
Ступай, проснувшись до рассвета,
Туда, где луг знобит роса;

Туда, где свет небес бездонных
Вбирают нивы и сады,
Откуда я принес в ладонях
Лишь капельку живой воды.

ЛАДОНИ, ПАХНУЩИЕ ХЛЕБОМ

Кому какой дается жребий,
Какая песня под луной,
А я возрастал на черном хлебе.
То хлеб земли моей родной.

Его солил я крупной солью
И запивал воды глотком,
С ним по широкому раздолью
Ходил за плугом босиком.

Я молотил и веял жито,
За стол садиться не спеша.
Я знал: в ржаной ковриге скрыта
Всей доброты земной душа.

Святая мудрость землепашца
В ней навсегда воплощена.
Ни возгордиться, ни зазнаться
Не даст в дороге мне она.

И нужно мне под русским небом,
Чтоб каждый день и каждый миг
Ладони, пахнувшие хлебом,
Я чуял на плечах моих.

Евгений Винокуров

* * *

Я много знал, я много видел
И многое позабывал.
Я кровь рукой у друга вытер
Со лба. Он в поле наповал...
Табак выменивал на мыло,
Ловил морковь в блеклых щах,
Тогда страна меня кормила
С ладони.

Жил я натошак.

Кленок за гарнизонной баней, —
Я видел как-то раз, — пророс.
А я застежки рвал зубами
На ранце во поле, в мороз.

Я у костров любил коптиться,
Белье под желобом стирал...
Поэзия, моя жар-птица, —
К тебе я руки простирал!

Я жил, в быту изнемогая...
Но, как орел, что хмур и смел,
Глядит на солнце не мигая,
Вот так я на тебя смотрел.

НАПРЯЖЕНИЕ

Крепкоспинны и коренасты,
На скамейках сидят борцы.
Разминаясь, гуляют гимнасты,
Потирают ладонью крестцы.
Детвора облепила заборы,
Зданья флагами обагрены,
Зубоскалят в кружок дискоболы,
Углубились в себя бегуны...

Но ракета еще не взлетела.
Как бы кто-нибудь не отложил
Этот праздник вспотевшего тела,
Вздутых мышц и напрягшихся жил:
Ведь еще утрясают составы,
Где-то кубки, медали, венки.
Пусть же хрустнут бесстрастно суставы
И проступят сильнее позвонки.
Пусть же лента летит голубая!

НЕ ПИСАЛИ

Мыслители по старинке
Цедили слова, роняли...

Сократ целый день на рынке,
Олеша в «Национале».

А мы-то на свете белом
Все мечемся, все хлопочем...

Они-то ведь между делом!
Они-то ведь между прочим!

Стакан подымая мутный,
Из-под бровей зрачками
Грозил. Но выходит мудрый,
Поддерживаемый учениками.

Они почти не писали,
И все же, словно на меди,
Все то, что они бросали,
И ныне живет на свете.

Пусть застыл в повороте бедра,
Руку медленно выгибая
Над собою, толкатель ядра.
Мы — любой на сенсацию падок! —
На замешкавшихся заорем.
Пусть же пот зажурчит меж лопаток
У склонившихся за рулем.
Пусть мелькают блокнотики прессы,
Пусть в два пальца свистят, дураки!
Пусть брюшные напрягутся прессы
И полезут наверх кадыки.
Этот праздник тому порука!
Пусть штангисты присядут слегка,
Чтоб надулась на шее баруха, —
Складка, крепкая как у быка.
Знаю, прежде чем кончить речами
Этот день, под мотив «Сулико»
Выйдут девушки с обручами
И станцуют легко.

К ПРОБЛЕМЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Из Мценского района есть некий старожил,—
В доме Багратиона он казачком служил.
Мы к этому привыкли, но средь тянь-шаньских скал
Гвоздит на мотоцикле над бездной аксакал.
Век долголетний ценен! Я стариков люблю.
Зачем, Сергей Есенин, накинул ты петлю?
Я верю в перемены! Зачем стрелять в себя?
Зачем же резать вены? Зачем висеть, хрипя?
Вкушать бы простоквашу и тихо как-нибудь
Остылой жизни чашу по капельке тянуть.
Все было б очень просто: к десяти уже в кровать,
А лет под девяносто чечетку оторвать.
«Дедок на той неделе прошелся колесом»,—
Оповестят в разделе «Два слова обо всем».
А ты писал ведь кровью с собой наедине...

Вчера журнал «Здоровье» был вновь подослан мне.

ЦЫГАНЕ

Вот племя странное! Бредут
В Норвегии, в России, в Гане.
Взад и вперед. То там, то тут,
Как сами же поют.

Цыгане!

Лежит с гитарою. Ленца.
Не в лад стучат в дорогу кони.
Вперед дорога без конца,
Туда, где ель на небосклоне.

Сидит араб. Долбит Коран.
Пройтись до кирхи трудно шведу.
И лишь один индийский клан
Поднялся и пошел по свету.

Такая уж у них стезя.
Закон, страшней кровавой мести,
Гласит: нельзя, нельзя, нельзя
Хотя бы миг стоять на месте.

Фургоны все ползут, ползут,
Покуда спят аборигены.
Какой-то непонятный зуд!
Что гонит их?

Какие гены?
Какой такой состав крови?
Воры. Гадалки. Лищедеи.

Попробуй их останови,
Погибнут без своей идеи.

Кто им предназначтал перстом
Судьбу? И где-нибудь в Тайшете
Спят под разобранным мостом
Далеких Гималаев дети.

Не смахивает ли на фарс?
Вот пляшет табор в Калидоне,
И за ракетою на Марс
Глядит цыган из-под ладони.

Ползет их нищенская кладь
С лоскутным флагом одеяла,
Гитарой чтоб напоминать
О дальнем свете идеала.

В корчме цыганка чарку пьет,
Воруя, кур под юбки прячет.
Но, взяв гитару, запоет,
И старый русский князь заплачет...

Как надо ж было обокрасть
И весь народ навек обидеть,
Чтоб дать им эту злую власть
И дар вперед сквозь время видеть.

Степан Щипачев

* * *

Века, века.
В них всматриваемся мы:
тот в шрамах от войн,
тот черен от чумы.

Иные в тени не спеша проходили,
иные крушили твердыни Бастилий.

О если б разведать, что скажут потомки
о веке, идущем над бездной по кромке,
когда друг на друга,
еще как враги,
ракеты нацелили материки!

Сергей Поликарпов

УТРО РАБОЧЕЙ ОКРАИНЫ

Рассвет полями по-пластунски
Прополз на выдохе одном,
Плеснув в глаза огнем июньским,
И загудел наш медный дом.

Три сотни глаз —
Три сотни окон —
Скупых зеркал добра и зла...
О, как страдающе высоко
Меня отвлага завела
Проникнуть в мир настороженный
Людских расцветченных судеб!..
Готовьте, матери и жены,
Мужчинам хлебово и хлеб.
Их ждут великие свершенья
Великих, как эпоха, дней...
О, я познал тебя,
Горенье

В горниле схем и скоростей,
Ночей,
Отзванивавших глухо
Свинцовой трудную строкой.
Ты моего не минешь слуха,
Рабочий утренний прибой.
Я сам звучу в нем теплой ноткой,
Еще чуть сиплою с утра.
Окраинный автобус кроткий
Берется с бою на ура.
Разгоряченно пышат лица.
Нам всем дорогою одной.
В какое море претворится
Поток энергии дневной!
Нас ждут великие свершенья
На ниве радости людской...
Высоким до сердцебиенья
Восходит полдень над землей.

Александр Прокофьев

СЕРДЦУ

Вот ныне, откровенней откровенья,
Сказал я сердцу:
— Знай и повтори —
Бывают в жизни трудные мгновенья,
Часы и дни,
А ты перебори!
Не вздумай ныть еще порой печальной,
Но, трижды презирая забытье,
Умей хранить,
Умей давать молчанье,
Жесточе слов молчание твое!
Пусть кто-то назовет его угрюмым,
Но все равно его поймет любой
И в том числе лихие тугодумы,
Что это не молчанье,
Это бой!
Ведь я на слово лих, на слово лих.
И пусть в итоге сшибки незабытой
Пестрят фамилии недругов моих
На все почти что буквы алфавита!..

СНОВА ТЫ О НЕЙ?..

Снова ты о ней?
О ком? О песне?
Ты ее слышал в начале дня?
Я этой милой песне не ровесник,
Она гораздо млаже, друг, меня!

Снова ты о нем?
О ком? О сердце?
Оно в рубцах от яростных атак.
А ты ему доверься,
Ты доверься,
Оно не подведет тебя никак!

Снова ты о ней?
О ком? О чайке?
Сизокрылой гостье всех морей?
Не грусти ты, чайка, не печалься,
Камнем падай в волны,
Снова рей!
Снова рей над быстрою волною,
Над простором вольным и родным,
Над моею песней именною,
Над моим распевом именем!

* * *

Не спалила, не выжгла,
А, скорей, обожгла,
Из моей воли вышла,
А своей не нашла!

Два браслета, два перстня
Замерещатся в ночь.
Не клянись ты двуперстьем,
Староверская дочь!

И сама староверка,
Золотые уста.
Никогда не померкнет
Твоя красота!

...Сизый селезень кричет,
Гасит молнию дождь.
Ты на Волхове плачешь,
На Туломе поешь.

И за Синей горою
Только ты,
Только ты.
...Кони ржут за Сулою,
Брешет Лис на щиты!

Леонид Мартынов

СТАРЫЕ ПОЭТЫ

Мы
Старые поэты,
Нас по счету
Не меньше, чем поэтов молодых.
От нас никто не требует отчета,
Ни от морщинистых, ни от седых.
Мы
Старые слова
Перебираем,

Что повторяли много, много раз,
И иногда мы будто умираем,
И на мгновение забывают нас.

Но,
Между тем,
Мы часто воскресаем
И старые основы потрясаем!

ДЕРЕВНЯ

Сто тысяч окон...
Впрочем, нет, не сто, —
Милюны окон светятся во мгле.
Так никогда не строили никто
На этой цепкой глинистой земле.
Она известна, древность этих мест!
Я помню, как пылился здесь лопух.
Вот где-то тут куриный был насест,
А где-то тут искал зерно петух.
И' кажется, что где я ни копну —
Везде увижу мокрую копну,
Трухлявость изб, глаголицу плетней.
Еще щербата от худых копыт,
Земля под тротуарами лежит
Здесь подо мной.
Нет!
Масса старых пней
И множество иссохших корневищ
Остались в ней. Но в глубине
жилищ.
А обитает в них рабочий люд!
Вы скажете, деревни этой нет?
О, есть она!
Взгляните: там и тут
В зеркальных окнах маково цветут
Клубничный и картофелевый цвет.
Вот именно: девчонка-курнофля,
Шубейка-бабка, этот старый дед

В серебряных седилах ковыля —
Отчетливейший, явственнейший след
На лицах их оставила земля.
Я говорю:
В домах живут поля,
А иногда дремучие леса,
Роса и голубые небеса.
И с высоты седьмого этажа
Деревня, не совсем как госпожа,
Но в то же время вовсе не раба,
Глядит на город. Вот ее судьба!
И, в общем,
Весела-невесела
Судьба такого бывшего села,
Но все ж земле ее былую тишь
Не возвратишь.
Ночной гудрон
И шелестенье шин...
Законный ход вещей ненарушим,
Хоть и вздыхает, кто его вершит,
Но что ни час,
То явственней шуршит,
Шуршит, земля, пшеничный твой
венец,
Чьи усики как стрелки на часах.
Конечно,
Все на свете наконец
Уравновесится, как на весах!

* * *

А лета и не состоялось
Такого, как мечтали люди...
Верней, оно не отстоялось
В предуготовленном сосуде,
Который взял и треснул где-то
В морях, где рыб хватают птицы.
И расплылось это лето
На водянистые частицы,
И вот теперь почти незримо,
И пасмурно и некрасиво
Сочится через мглу Гольфстрима
И испаренья Куро-Сиво.

Но если и зима на святки
Не вывернется снежной шкурой,
А, как в припадке лихорадки,
С повышенной температурой,
Потянется рукой к тому же
Сосуду с трещиной громадной,
Чтоб пить за наименьшем стужи
Отстой вот этот шоколадный,
Который топчем мы ногами
В ночь оттепели на панели,
Любуясь мнимыми снегами,
Что на луне окаменели?!
И может, перед Новым годом
И эта муть воспламенится,
Считаясь солнечным восходом

В морях, где рыб хватают птицы?
Ах, эта муть, багряность, алость,
Сиянья всякие вполнеба!
Пусть! Только бы не кровь плескалась, —
И нам достаточно вполне бы.
Лишь кровь не вьелась бы в полуду
На вышеназванном сосуде.
Довольно скверную посуду
Для зим и лет имеют люди.
Быть может, в будущем году вы
Освоите сосуд хрустальный,
Медлительные стеклодувы
Земли горячечно-печальной?
И клянутся тяжелодумы
С медлительностью черной тучи:
— Освоим в будущем году мы
Черпак какой-нибудь получше! —
Сулят! Но скажутся больными,
Отговорятся неумением...
А если так — и дьявол с ними:
Погоду сами переменим!
И свищет ветер над лесами
Под пасмурными небесами:
Погоду делаете сами,
Погоду делаете сами!
В морях, где рыб хватают птицы,
И на земле, где бьются люди!

Погоду делаете сами!

ДЕВУШКИ

Виджу:
Из старомосковских
Замоскворецких дверей
Выходят мамашеньки и папашеньки,
Любуются на своих дочерей.

Из Третьяковских идут галерей
Девушки будто бы иеромонашенки —
На головах у них целые башенки
Новодевичьих монастырей.

Но снимают свои грандиозные шапочки
И сапожки на каблучках

И переобуваются в пляжные тапочки
Эти девушки в темных огромных очках.

Что отражаете в темных очках,
Девушки-ивушки, русые гривушки,
Девушки-пашенки, в будущем нивушки,
Девушки-бабочки в пестрых сачках?

Девушки с ботаническими коллекциями,
Девушки с университетскими лекциями,
Девушки-шахточки, девушки-домночки,
Девушки — темные каменоломочки.
Через разлом вулканической бомбочки
Темная магма мерцает в зрачках!

У ТРАМПЛИНА

За университетом
Где-то на высоте там
«ТУ», на лету напоминая касатку,
Идет на посадку
И садится во Внуковском аэропорту.

О выходящий из самолета,
Кто ты,
Что видел ты
С высоты?

Вот он усаживается в автомашину,
Но только не в центр он стремится, как все,
А велит подвезти себя прямо к трамплину
На Воробьевском шоссе.
И, прислонившийся к парапету,
Смотрит не за реку на стадион,
А на громадину
Университета.
Да, это он!

Он, просыпающийся временами
Прошлого века блистательный ум,
Автор и ныне читаемых нами
Воспоминаний —
Былого и Дум!
Да, это он здесь бродил с Огаревым
По Воробьевым горам.
Горы обводит он взором суровым:
— Витберг, не здесь ли задумал ты
храм?

Зодчий Витберг когда-то мечтал возвести
здесь огромный храм Христа,
Но этот проект отвергли, и храм далеко
не по замыслу Витберга возвели в
низине,
в районе нынешнего Каменного моста.
После революции этот храм был
разрушен, и вместо него порешили
воздвигнуть Дворец Советов.
Но не этой низины искала его высота!
И дело закончилось сооружением
зимнего плавательного бассейна,
действительно украшающего тамошние
места.
А здесь на горах возникла громада
университета,
Как не лишенная некоторых
архитектурных излишеств,
Но все же в какой-то степени
осуществленная витберговская мечта.

ОБОЛЬСТИТЕЛЬ

О, оборотни!
И в наши дни
Встречаются они.
Их только подпусти!
Сначала он казался ей
Ребенком лет пяти,
Который матери своей
Никак не мог найти.
И надобно его свести
С трамвайного пути,
Взяв за руку,
И горяча
Была его рука.

Но вырвался он, лепеча,
И пыли облака
Взвились над ним.
И в этой мгле
Исчез трамвайный путь,
И стало ясно, что к земле
Его уж не вернуть.
Не возвратит его!
Не плачь!
Ты с ним и не была!
Ребенок-смерч, ничто не значь!
Ты улетел, умчал, горяч,
Исчез, дитя-стрела!

Не плачь!
Ведь ты же поняла,
Что это — только сон?

Но к небу взор ты подняла
И видишь:
Снова он!

Да, это он!
Среди литых таясь колоколов,
Стоит он между золотых соборных
куполов.

«Дитя! А ты не акробат из цирка
«Шапито»?»

Но вдруг услышала набат,
И колокольни говорят:
«Не акробат, не акробат,
А он крылат, крылат, крылат!
Он ангел! Вот он кто!

Он просто ангел. Два крыла
Мерцают за спиной.
Он тешится — ты поняла —
Над женщиной земной!»

О житель бездны голубой,
К любимой ринься вниз!

И тотчас он перед тобой.
Но он ли? Приглядишь!
Затанцевал он, хохоча,
На собственных ногах,
Но вместо крыльев — епанча,
В смазных он сапогах,
Рубаха у него потна
И выя горяча.
Он дышит хмелем.
Мать честна!
Узнала палача?

Нет! Это вовсе не палач!
Пот схлынул с черных щек.
В его руке — ржаной калач.
Он просто мужичок.
Совсем как дети и отцы,
Он пашет чернозем.
Коня он держит под уздцы:
«Давай-ка, подвезем!» —
«Куда?» —
«А глянь-ка, что вдали!
Чем человек-то жив?»

...Дремучий мир сырой земли...
«Стой! В бричку сена не стели!
С тобою только задремли —
Отправишь под обрыв
Над голубиною рекой,
Где иволги кричат...»
О, оттолкнуть его рукой!
Не мужичок он никакой —
Он тонкий дипломат!
Цилиндр на нем, перчатки, фрак.
«Мадам! Я вам не враг!»

Ты вскрикнула.
И оттого,
Что хитрый он и злой,
Сразила насмерть ты его
Булавочной иглой!

НАШИ «ЗИМНИЕ»

Мелькают года —
Как торопится наше столетье!
Мелькают года —
У эпохи полет, а не шаг.
Уходят отцы,
Завещая мужающим детям
Романтику красных октябрьских атак.
Становятся взрослыми наши Сережки
и Зинки,
Волнуются,
Спорят
И смотрят, прищурясь, вперед.
У каждого — свой,
Пусть не взятый до времени,
Зимний,
И каждый уверен,
Что он этот «Зимний» возьмет:
Лобастый парнишка посадит корабль
на Луне,
С «загадкой нейтрино» девчонка
покончит в Дубне.
...Уходят отцы,
И отцами становятся дети.
Немало им «Зимних» еще штурмовать
на планете —
Мещанство
И ханжество.
Неурожаи
И рак.
...Мелькают года.
Парусит Революции стяг.

ГЕТЕРЫ

...Единственные женщины, о кото-
рых древние говорят с уважением,
это — избранная часть афинских
гетер.

Ф. Энгельс

Пока законные кудахчут куры
По гиникеям — женским половинам,
Спешат Праксители, Сократы, Эпикуры
К свободным женщинам — Аспазиям
и Фринам.

Что их влечет?
Не только красота
Прелестниц этих полуобнаженных:
Гетера образованна, проста,
Она их половинам не чета —
Куда до милых умниц пресным женам!
(Пусть добродетельны они стоكرат!)
И вы, историки, от фактов не уйдете:
Умом делился не с женой Сократ —
Он изливался грешной Теодоте.
(Она грешна, поскольку не хотела
Законной сделкою свое оформить тело
И в гиникеях прокудахтать жизнь.
Ценой «падения» она взлетела...)
Вершила судьбы Греции Таис.
Ваял Пракситель Афродиту с Фрины.
Леяне памятник поставили Афины.
Леонтиона, критик Эпикура,
Опять-таки гетерою была...
И я скажу (пускай кудахчут куры
И бьют ханжи во все колокола):
Не зря те женщины
Из глубины веков
Дошли до нас
В компании богов!

* * *

В постели, в самолете иль в бою
Нам суждено окончить жизнь свою.
Мы все смирились с этим «суждено»,
И всей душой я поняла одно:
В то страшное мгновенье, на краю,
(В постели, самолете иль в бою),
Когда вот-вот порвется жизни нить,
Мы человеческую честь свою
Особенно обязаны хранить.
Хочу, в последний отправляясь путь,
Спокойно в очи Вечности взглянуть
Из-под тяжелых непослушных век,
Пусть знает смерть: уходит Человек...

Василий Казанцев

ЧУДАК

Идет по городу чудак.
Вот подошел чудак к витрине.
И смотрит долго-долго так:
Что продается в магазине?

«Чего же он увидел тут?»
И все встают за ним толпою.
Проходит несколько минут —
От любопытных нет отбою.

Отходит медленно чудак.
Подходит он к другой витрине.
И смотрит долго-долго так:
А что же в этом магазине?

* * *

Прощай, ученый кабинет.
И вы, реторты, колбы, тигли,
Что мира таинства постигли,
Прощайте. В этом счастья нет.

Я Фауст. Мне семнадцать лет.
Я в юность возвращен из праха.
Пью в погребке Ауэрбаха.
Шумлю. Но в этом счастья нет.

* * *

Все меньше смотрю на полотна,
Тона их и полутона.
Все больше — на сбившихся плотно,
Шумящих вокруг полотна.

Смотрю не на стиль, не на облик
Картины, глядящейся в зал.
Смотрю с удивленьем на отблеск
Ее в любопытных глазах.

* * *

Как совершенна простота!
Она, как изыск, прихотлива.
И в то же время так проста —
Обыкновенней примитива.

Изысканность, и примитив,
И ординарнейшая серость —

Чудак по городу ведет
Людей — к витрине от витрины.
Как бы немой экскурсовод
Идет — к картине от картины.

Я чудака спросил: — Постой,
Скажи-ка мне, чего ты хочешь?
Чего ты головы морочишь
И водишь свиту за собой?
Тебе, наверно, это лестно?

— Да, знаешь, просто интересно:
На что-нибудь направишь взгляд —
И люди тоже поглядят.

Она была как вешний цвет —
Виденье, Гретхен, Маргарита.
Была любовь. Любовь забыта.
Увы, и в этом счастья нет.

И, как единственный ответ,
Идут слова — и безрассудно
Мне с ними спорить, но как трудно
Мне им поверить! — счастья нет.

На то, как скользят мимолетно
По линиям — им все равно.
На то, что почти неохотно
Впускают в себя полотно.

Как чутко и робко затихнут.
И — вдруг, полыхнув в пол-лица,
Воскликнут. Как будто возникнут
Внезапно другие глаза.

Им всем, уловку применив,
Слыть простотою бы хотелось.

И так легко по простоте
Душевной ошибиться взглядом:
Все, что враждебно простоте,
Все с простотою ходит рядом.



Вокзал бессонный дышит глухо.
Устал — все наспех, торопясь.
Через вокзал идет старуха.
— Сыночек, как мне в Пермь попасть?

Вдоль карт и схем, лотков с крюшоном,
Сквозь человечьи голоса
Идут по залу отрешенно
В себя глядящие глаза.

И перед этими глазами
Что этот весь огромный дом,
С его огромными часами
И расписаньями кругом?

Гудки взывают голосисто,
Горят зеленые огни.
— Сыночек милый, машинистик,
Постой часок, повремени!

— Повремени. Вот это штука, —
Сказал носильщик, ставя кладь. —
Ох и шутница ты, старуха. —
И ну над бабкой хохотать.



Жила на свете девочка когда-то
Вполне обыкновенной красоты.
Была у этой девочки отрада —
Ей нравились бумажные цветы.

И ранним утром, с первыми лучами,
И вечером, с приходом темноты,
Неутомимо ножницы стучали —
Ей нравились бумажные цветы.

У самых окон занималось лето
Живым огнем гвоздик и резеды.
Но девочку не занимало это.
Ей нравились бумажные цветы.

Как нечто необычное, как сгусток
Ее воображенья и мечты,
Как первый проблеск, первый зов
искусства
Ей нравились бумажные цветы.



Я собираюсь долго жить.
Я строю прочные строения.
Они должны мне век служить —
Без червоточин и старенья.

Спокойно занятый мечтой,
Я возвожу спокойно стены,
Как будто не грозит ничто
Мне ниоткуда совершенно.

Хочу постройку завершить
Неторопливо, с чувством, с толком.
Я собираюсь долго жить.
А может быть, мне жить недолго?

А может, строю на песке,
Самоуверенном незнанье?
И лишь висит на волоске
Мое незыблемое зданье?

Немало у меня забот,
Хлопот строительных немало.
Рабочих рук недостает
И не хватает матерьяла.

Но среди всех забот моих
Одна меня сбивает с толку —
Что я поверил хоть на миг,
Что, может быть, мне жить недолго.



Он в руки ей давал тетрадку.
Она тетрадь брала из рук.
И разговор их пальцев — краткий,
Как замыканье, — вспыхнул вдруг.

И удивленно друг на друга
Они глаза перевели.
Глаза мгновенно голос рук их
На свой язык перевели.

И только самый совершенный
Из всех возможных языков,
Язык словесный, совершенно
Был к переводу не готов.

Рвались — и опадали тотчас
Слова, боясь всего сильнее
Тысячезначную неточность
Разрушить точностью своей.

Сергей Орлов

* * *

Я на войне писал стихи украдкой,
Скрывал стихи от посторонних глаз,
Под картой в сумке прятал я тетрадку.
Друзья просили: «Напиши про нас!
Про то, как письма ждем,
Про то, как у сержанта
Жена в тылу с другим, не прячась,
не таясь...

Про то, как мы тоскуем.
Ты таланта

не пожалей

И напиши про нас».
А я стихи писал, когда все спали.
Всё про себя писал. Как тосковал я сам,
Как письма ждал,

Хотел, чтоб вспоминали,
Не забывали... Я отказывал друзьям.
Я говорил им, сонным и усталым:
«Отстаньте, я пишу письмо домой...»
Домой! И лица им улыбка озаряла.
«Прости, пожалуйста, само собой...»
Они валились в сны свои на нары,
Копилка замирала в тишине.
И я писал, за то им благодарный,
Что не мешали мне.
А ночь в громах ворочалась снаружи,
Стучала пулеметною строккой.
Я юным был, и было мне не нужно
Заемных чувств, чтоб быть самим собой.

Елена Николаевская

* * *

Люди прячутся от одиночества:
Письма строчат,
Пасьянсы раскладывают,
Книги читают, какие захочется,
И фотографии долго разглядывают.

Люди, спасаясь от одиночества,
Ищут друг к другу дороги кратчайшей:
Запросто будем!
Будем без отчества!
Будем на «ты»
И — звоните почаще...

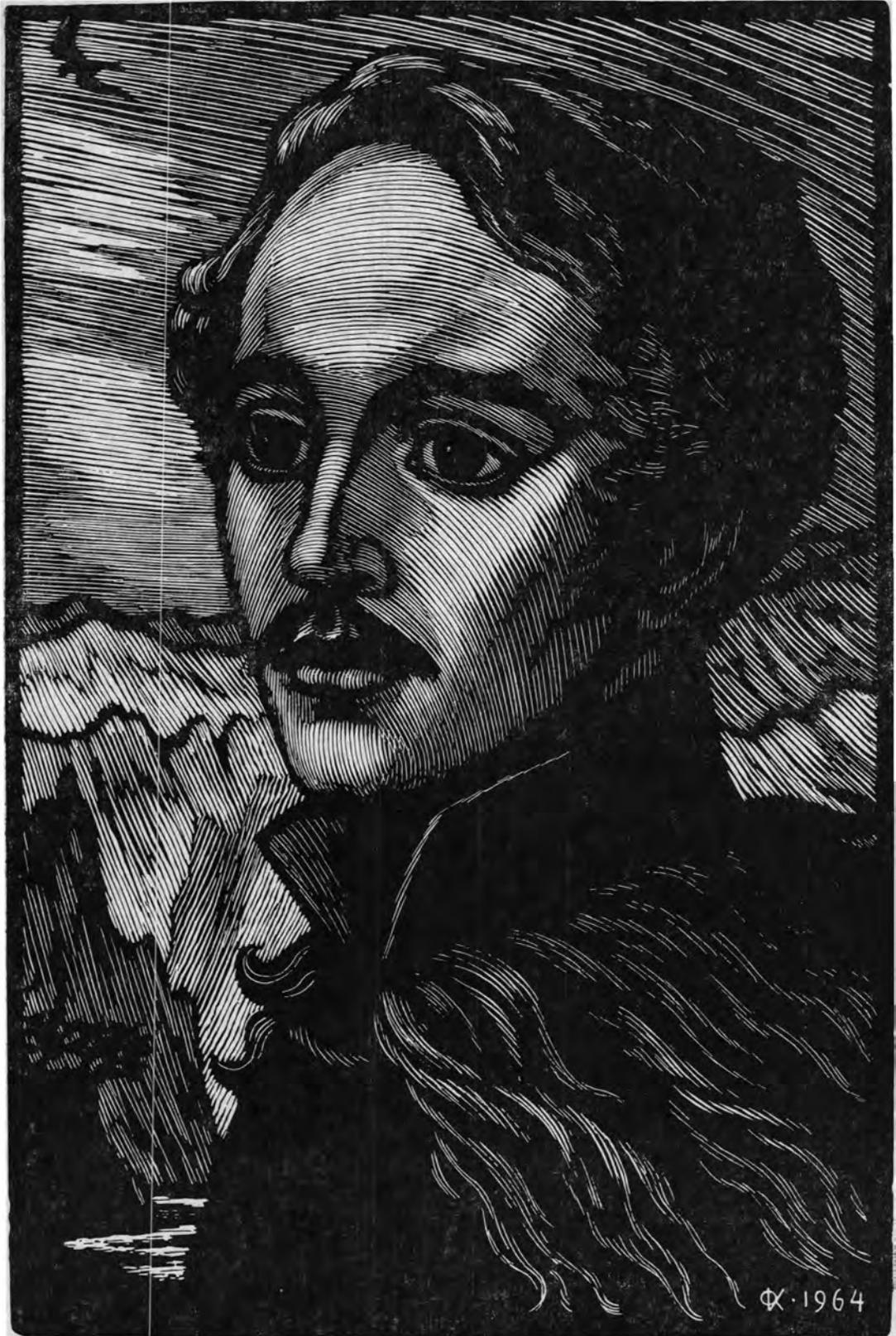
Люди поверили от одиночества
(О, этот сердце снедающий голод!)
В сны и приметы,
В гаданья, пророчества —
Просто — в живой человеческий голос.

Люди придумали от одиночества
Храмы,
Ристалища
И зоопарки,
Зрелища, сборища,

Славу и почести,
Радио
И почтовые марки.
Мост переброшен,
Рельсы проложены,
И провода над землею протянуты...
Люди, откликнитесь!
Где же вы?
Что же вы?
Как это сделать —
Не думать про тяготы?..

Так мы блуждаем меж раем и адом
С дней допещерных
В стремление извечном
Не расщепиться, как атом,
А стадом,
Войском,
И миром держаться,
И вечем.

Видимо, надо крепко держаться,
Вместе держаться,
С честью держаться!..



МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

Гравюра Ф. Константинова

Михаил Львов

ЛЕРМОНТОВ

В противоречьях бытия,
Не укрощен и не прилизан,
Непримиримостью пронизан,
Его стихами думал я.

Еще не впрягся в воз, как вол,
Жизнь не брала еще за горло,
И он

по-лермонтовски гордо
Меня по молодости вел.

Он возникал, как юный бог,
В моем молчании и гнев,
И высоко парил я в небе
И сам был бог, и все я мог.

Карал и миловал я мир.
Давал всему определенья,
И — с каждым днем определенной,
И компромиссам не был мил.

Бездумным словом не бряцал,
На мир смотрел высокогорно,
Непререкаемо и гордо
И утверждал и отрицал.

Так с демонизмом лучших лет
Считали мы — без колебаний, —
Что мы свирепо колебали
Все то, чему прощенья нет.

И каждый — молод и силен —
Считал — назло своим трагедиям, —
Что ярим лермонтовским гением
Он персонально осенен.

Все были лермонтовцы сплошь...
Нам было дорого — без юмора —

И то, что Левитанский Юра
Был внешне с Лермонтовым схож,

Что Наровчатов — не седой,
Еще сияющий поручик,
Певец войны и «белых рученек» —
Был тоже Лермонтов собой...

А ветер века в очи дул.
И эти сходства отпылали.
Как утешения, отпали...
Осталось сходство душ и дум.

Остался вечный разговор
С его печалью и тоскою,
С непререкаемой строкою,
Как Трибунала приговор...

А вы, кому за нами жить, —
Ведь и от вас навеки в звездность
Уйдет ваш лермонтовский возраст —
Спешите что-нибудь свершить...

Пусть возрасту не возразить,
Как ветру ночи из ущелий,
И лермонтовских ощущений
Не возратить,
Не возродить,
Но не отдам я никому
Те дни, когда с такою верой,
С такою лермонтовской мерой
Мы подходили ко всему.

И был бы жалок наш разбег
И жизнь была б к земле прибита,
Когда б не сразу тот Казбек,
Не эта мера и орбита.

* * *

Я — перевод с татарского на русский,
Я перевел с татарского на русский
Своей души пыланье и восторг,
Своей души желанья и нагрузки,
На русский — на широкий, не
на узкий —
Свой разговор с эпохой, — на русский,
Свой — обновленный Октябрем —
Восток.

Событий величайших современница,
Душа моя с Россией современится
И рвется в мир безудержным стихом.
Душа моя работает, не ленится.

Я весь — восторг перед Россией
ленинской,
Перед ее октябрьским языком.
Я упиваюсь русскими словами,
Верчу их так и эдак перед вами,
Я все бы их в стихи свои вогнал...

Мои стихи — мои громоотводы.
С татарского на русский переводы.
Татарства взрыв
нет-нет да в них проскочит,
Мой темперамент Азией подскочит,
Я — вольный перевод, а не подстрочник.
Я — автоперевод. Оригинал.

* * *

Очень мало я бываю дома.
По эпохе, жизнь, меня носи.
Я люблю бетон аэродрома
После дикой скачки на такси,
Я люблю разбег аэродрома
По бетону
в башмаках шасси.

Всюду поездами ездить можно.
Только самолеты мне милей.
Это современно и тревожно.
Это и быстрее и смелей.

Скорости сегодня как расстрелы.
Даже у домашнего огня
Все летят, как огненные стрелы,
Скорости столетья сквозь меня.

Дмитрий Ковалев

ТРУД

Я, даже горе забывая, помню,
как пахнут кузница и борозда.
Блеск пахоты,
водою талой полной.
Груженные с подскрипом поезда.
И встречные глаза — как день погожий.
На рукавах — шершавость наждака.
Ладони на окалину похожи.
Блеск угля.
Маслянистость верстака...
Да с кем счастливостью ты не делился,
наш труд, наш ключ всех помыслов
и благ.
И если б выходной неделю длился —
он надоесть бы мог не знаю как.
Привыкшие скучают, как по детям,
как по жене. Им даже сон не впрок.
Ни властвовать, ни славою владеть им,
а лишь скорей к тебе бы на порог.
Потом не грех и помечтать о звездах,

* * *

Тут забываюсь.
Все тут забываю.
Самим собою становлюсь с тобой.
Твой хлеб твоей водою запиваю.
К твоей прохладе льну своей стопой.
Завечерее незаметно так же,
как рассвело.
Почувствую: теплей
вода в реке,
трава в ложине мягче,
сырей в лесу,
спокойней свет полей.
Мысок за поймой —
от цветенья синий.
Песок у сосен —
желтый, как жара.

ПРИРОДА

Леониду Леонову

Природа перед нами беззащитна.
При всех защитах ей не защититься.
И вся она померяна, посчитана.
И что с того,
что мы ее частица?..

и людям посмотреть в глаза ясней.
Вольнее воля
и свежее воздух.
И праздник праздничней
и хлеб вкусней.
И всё, что не святым явилось духом,
ценить ты научил, беречь, храня.
А тех, кто тратят все не по заслугам,
ты ненавидеть научил меня.
Всегда ты песней был.
Всегда ты песней будешь.
На всех
насеял,
наковал,
нашил...
Ты революция моя.
Ты совесть будишь.
И ложно счастлив —
кто тобой не жил.

Наверно, космонавт ел апельсины:
разбросана по небу кожура...
И от ее пылающей окраски
по заводям вишневым вспышки сплошь.
И лунный серп среди осок у ряски
на аиста высокого похож...
И розовеет сенокос лилово...
И я не чую луга, я лечу.
И странно искоса смотреть лучу
на этого мальчонку пожилого,
что вдаль глядит на склоны полевые,
и словно ищет давнего следа,
и улыбается,
и видит все впервые —
как будто с облаков сошел сюда.

Без побуждения
к охотам побуждаем.
Самих себя —
как топором по корню.
Как будто враг она —

всё побеждаем,
всё покоряем,
осудив покорность.
Планируем заранее потраву
и за потраву штраф с себя
планируем по праву.
Не беспокоит никого на деле,
как за уроном поспевать приплоду.
С чем только не идем мы на природу,

не заживляя ран у ней на теле...
Она с ее опушками,
с мисками,
с разливом вешним,
что гуляет по лесу,
произвела на свет
людей с мозгами.
Без умысла.
И не себе на пользу.

* * *

Тогда любилось —
словно пелось.
Теперь —
как пламя на золе...
Но эта плавность,
эта первость
воды прибылой
на заре.
Но это забыванье боли.
И эта зренья острота.
И не вздыханье,
а страда
на разминированном поле.
Клубятся облака
и полнят
глубины,
высоту,
глаза
и светом всем,
всем солнцем
помнят,
как не целована
краса.
На камни пены
поналепило.
Густы
белила омутов.
И сердце —
будто не любило.
И месяц на небе
медов.
И вы
еще ни о невесте
не знаете,
ни о вине.
И вы
ни без вести,
ни с вестью
не погибали
на войне.

* * *

Свет наготы твоей
как сном навеян.
Чист ослепительно.
Желан заранее.
И горячо его прикосновение,
скользящее несмело,
с замиранием.
И две луны
над темнотою плотной
круглы от полноты
весенне-вербной
и не чета заоблачной,
холодной,
от одиночества
ущербной.
Всё видится
закрытыми глазами,
всё любит —
руки, губы и колени,
дыханьем,
шорохами
и слезами,
улыбкой,
что как будто клонит к лени.
Прекрасно таинство,
что жизнь наполнит,
всем существом прильнувших,
клеткой каждой,
всей бережностью,
нежностью,
всей жаждой,
всем безрассудством,
что себя не помнит...
И эта близость,
где огонь так чуток,
так целомудренно
потемок таянье,
предчувствующих маленькое чудо
с большой тревогой
и надеждой тайной.

ТРАВУШКА ПРИМЯТАЯ

Слова В. Бокова

Музыка А. Жирнова

Травушка примята,
Клеверок примят.
Я ли виноватая,
Ты ли виноват?

Говорил мне: — Тонечка! —
Нежно в поле вел.
А потом тихонечко
В сторону ушел.

Тихо слезы девичьи
Долго я лила.
Не того царевича,
Значит, я нашла.

Я хожу у омета,
Там, где глубина.
Буду ли другому-то
Я теперь нужна?!

Травушка примята,
Клеверок примят.
Я ли виноватая,
Ты ли виноват?

УМЕРЕННО. ЛИРИЧНО

Травушка примята-я, клеверок примят.

Я ли ви-но-ва-та-я, ты ли ви-но-ват,
я ли ви-но-ва-та-я, я ли ви-но-ва-та-я,
ты ли, ты ли, ты ли ви-но-
-ват Го-во-рил мне:-То-нечка!
неж-но в по-ле вел. А по-том ти-хо-неч-ко
в сто-ро-ну у-шел, а по-том ти-хо-неч-ко,
а по- том ти- хо- неч- ко
в сто- ро-ну в сторо-ну, в сто-ро-ну у- шел.
Для окончания rit.
Ты ли, ты ли, ты ли ви-но- ват.

Трактовка исполнения припева в 4-й куплете

Бу- ду ли дру-го-му-то, бу-ду ли дру-го-му-то
я, ах, я те-перь, я те-перь нуж-на?!

Виктор Боков

РАЗГОВОР С КНИГОИЗДАТЕЛЕМ

— Поэзия приносит убыль! —
Сказал книгоиздатель с грустью.
— А радуга дает вам рубль?
Так что ж, ее и на небо не пустишь?

В ней пользы нет — она цветной обман,
Условная, ненужная материя.
Она не деньги — не пихнешь в карман,
Была и нет! Немногое потеряно.

А стало грустно. Луг повял травой,
Пастух убрал в шалаш рожок
заливистый,
И стало больше скорби мировой
Над стогом сена, над рекой извилистой.

Мы — радуги. Мы не пивная пена,
Мы бескорыстным пламенем чисты.

Мы над стихами гибнем постепенно
В горячем, вредном цехе красоты.

А наши гонорары так малы!
И можно ль оценить наш подвиг
честный?

Мы добровольно носим кандалы
И трудимся на каторге словесной.

Разящая, правдивая строка,
Добытая в словесных поединках,
Переживает годы и века
И ценится на наших книжных рынках.

Книгоиздатель милый, не грусти,
Издай меня, размножь мое искусство
И не забудь скорей перевести
Мне на сберкнижку, там не очень густо!

ШАЛЯПИН

Когда я слушаю Шаляпина,
Восторг и радость с ним делаю,
Я говорю: — О, как талантами
Богата русская земля!

И мало мне сказать, что нравится
Его неповторимый бас,
Мне через голос открывается
Черта существенная в нас.

Веселость, удал, бесшабашность,
Большой распев больших широт,
И ободрение: — Шагайте!
За горизонтом счастье ждет!

О, как нам всем Шаляпин дорог!
В нем нота каждая крепка.
Не он поет — поет пригорок,
Не он поет — поет река.

Поет народ, поет Россия,
Поют ручьи, поют овсы,
Поют-звенят дожди косые,
Поют шмелиные басы.

Светясь от солнечных накрапин,
Поет листва, а с ней и синь.
Поет земля, поет Шаляпин,
Он у земли — любимый сын!

ОБЕЛИСКИ

Уж сколько лет по-матерински
Скорбят седые обелиски,
А рядом в поле зреет рожь
И веселится молодежь.

Ну, кто ее за то осудит?
Кто кровь горячую остудит?
Пусть молодость поет и любит,
И пусть всегда, всегда так будет!

Где снайпер не давал промашки,
Смеются белые ромашки,

Где говорил всеильный тол,
Там дружное гуденье пчел.

Там я хожу и восклицаю
И откровенно отрицаю:
— Долой войну на все века! —
И рву ромашки для венка.

И возлагаю их к подножью,
И тишина стоит над рожью,
В овраге ручеек молчит,
И только жаворонок журчит!

Я — БАЛАЛАЙКА

Я — музыкальный инструмент.
Рукою тронь — и звук польется.
Его поймет в любой момент
Любая баба у колодца.

И даже глупому телку,
Бродящему по клеверку,
Как зов коровьего мычанья,
Понравится мое звучанье.

Я рос, как он, среди лугов,
Под радугой семиполосной.
Во мне такая же любовь
К просторам, к этой рани росной.

К родной траве, к родной земле
И к солнышку, что на челе
Хранит родительские пятна, —
На нем и это мне приятно!

Была мне музыкою мать,
С ее напевами простыми.
Я от нее стал понимать
Себя, людей и всю Россию.

Я — балалайка. Я звучу.
Душа моя на песни льется.
Я самый близкий брат лучу,
Который солнечным зовется!

УХА

Над озером костер дымится.
Огонь как гребень петуха.
В большой посудине варится
Благословенная уха.

Лавровый лист благоухает,
Щекочет ноздри и живот.
Костер тихонько потухает
И можжевелину жует.

— Снимай! Она уже готова.
Переваришь, тогда хоть брось.
Зови скорее рыболовов,
Чтобы блаженствовать не врозь!

Завернутая в телогрейку,
Под звон вечерней мошкеры,

Кастрюля, словно тело грека,
Изнемогает от жары.

— Раздеть ее! — звучит команда.
Уже теперь большая честь.
— В ружье, друзья! Ах, как повадно
Собратсья и всем сразу есть.

Четыре жителя планеты,
Сверхкандидатские умы,
Играют, словно в кастаньеты,
В цветные ложки Хохломы.

Сидят ученые гурманы,
Пируют, спорят рыбаки.
А к ним вечерние туманы
Ползут, как белые щенки.

ЕСЛИ БЫ ВСЕ БЫЛИ ПОЭТАМИ

Не всякий услышит,
Как звезды звенят.
Не каждый увидит,
Как солнце смеется,
Такое не каждому
Богом дается,
Иначе б рождались
Поэты подряд.

И что бы тогда
На земле получилось,
Какая бы каша
Кругом заварилась.
Любой графоман
Вместо дельного дела
Сидел бы,
Слова рифмовал
Обалдело.

Ладонями люди бы
Звезды ловили,
В колхозах не стали бы
Сеять пшеницы,
Тогда поезда
Никуда б не ходили,
Поскольку поэтами
Все машинисты.

Шахтеры не стали бы
Лезть в свои шахты,
Не думали б летчики
Ввысь подыматься,
Все люди витали бы

Где-то внештатно,
Земля не давала б
Ни мяса, ни масла.

С трибуны однажды
Я высказал это.
За окнами было
Хорошее лето,
Но люди заерзали
В креслах скрипучих,
Улыбки испуганно
В лицах застыли,
Как будто в каких-то
Неведомых тучах
Опасность зашла
И Земле пригрозили.

— Не бойтесь! — сказал я. —
Такого не будет!
Поэтов планета
Не очень-то любит,
Не очень-то щедро
Она их рождает,
А если родит,
То скорей убивает. —
И все разошлись
По домам без испуга.
Кто землю пахать,
Кто врубаться киркою.
И я упрекал себя:
— Что я так грубо
Нормальных земных
Неземным беспокою!

Александр Яшин

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Кто не видал,
Как в глубине дворов
Вдоль улиц старых и нередко грязных
Вдруг вырастает новый ряд домов,
На первый взгляд — громоздких,
несуразных.

Цветным стеклом,
Панелями слепя,
Вначале чужеродные как будто,
Среди строений с деревянным уютом
Они — что элеваторы в степях,
Что Гулливеры в гуще лилипутов.

С крылечками резными флигельки
В районах Кадашей или Таганки
В соседстве с ними —
Сущие времянки,
Всей их каминной славе вопреки.

СУХОЕ ВИНО

Он любил сухое вино,
всю жизнь только сухое —
натуральное,
кисловатое, как сама земля,
и окрыляющее, как ветер гор.

Сухие грузинские вина после войны
шли под номерами,
этикетки их напоминали солдатские
погоны;
с красочных молдавских этикеток
слетали длинноногие добрые аисты;
лучшее армянское
называлось золотой лозой — воскеваз.

Сухое — оно не дурманит голову,
не отяжеляет рук и ног
и в сердце вселяет любовь к людям,
а не злобу,
желание творчества,
а не отвращение от дел.

...Всю жизнь только сухое!
Но по нужде ему приходилось пить
все, что бог пошлет

Но вот их разбирают, как леса,
И узнается
Скрытое вначале,
Что по проекту новой магистрали
Те — во дворах — чудные корпуса
Давно на красной линии стояли.

Теперь
За великаном великан
Из тесноты сараев и заборов
Они выходят на передний план,
Преображая милый людям город.

Во двор выходит и мое окно,
Еще неясны для меня границы
Проспекта нового,
Но я давно
Живу на красной линии столицы.

и что поставят товарищи,
все — от самогонки до сучка,
от терпкого вермута в сельских чайных
до маслянистого, с глицерином
разливного портвейна
в городских забегаловках.

А когда жил в Заполярье,
приходилось пить даже спирт,
чтобы не замерзнуть на оленьих
перегонах, —
спирт легкий, как огонь,
холодный, как северное сияние,
и уже привык,
чтобы время от времени
что-то обжигало ему горло и душу
до слез,
до придыхания.

Так всю жизнь.
Хотя сердцем он был привязан
только к сухому
и любил лишь его,
как всю жизнь любят свою жену
и только ее одну.

ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ

Памяти Матвея Михайловича Денисова

Я сочиняю стихи про желтые листья.
Падают листья в речку,
в холодную просинь.
Может быть, это мои прощальные
письма?
Может быть, это моя последняя осень?

Я подбираю старательно
слово к слову:
«Речка — овечка — местечка...
дорогу — логу...»
А сенокосы
по речке Козловке
снова
Снег заметает, —
Опять — ни скоту, ни богу.

Веточный корм собирали
молодки, бабки.
Вброд по озерам осоку серпами жали.
Травку таскали домой
по охапке,
по шапке...

А заливные луга
кругом
стоят, как стояли.

Меня мужики называют
своим поэтом,
«Как же так?»,
«Ладно ли?» —
Пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?!
Я сочиняю стихи
Про желтые листья.

МЕДВЕДЯ МЫ НЕ УБИЛИ...

Феликсу Кузнецову

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том,
как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас.

Как вздыбился,
Зарычал он
И как он потом затих.
Охотничьего материала
Хватило еще на стих.

В журнале меня хвалили
За правду,
За мастерство...
Медведя мы не убили,
Не видели даже его.

И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты недостоверны, --
Тебя ж обвинят во лжи.

Николай Тряпкин

СНЫ

Как людей убивают?
Как людей убивают?
Никогда я не видел, как людей убивают.
Не крутился я в бандах, и на войны не брали,
И в застенки меня палачи не бросали,
И пред смертью не звал я молодого Орленка,
И на землю гляжу я глазами ребенка:

Борис Примеров

* * *

Одному,
Ото всех
На отшибе,
Прогоняя сомнения прочь,
Чарку свежего ветра испить бы
За здоровье крестьянских берез.
Только память не чарка,
Не грабли —
Заскорузлая пятерня,
Белый выдох березок и яблонь
С головой накрывает меня.
Белый выдох подобен разгулу,
Гулу, рвущемуся из-под копыт.
Трутся мерзлые звезды о скулы,
Во все стороны солнце летит.
Хоть и солнцем я за душу схвачен,

Хоть себя мне ни капли не жаль,
Все же в новом избытке дурачеств
Я последняя в мире печаль.
Нежной родиной я себя выстрадал,
И поэтому пыткой любви
Незакатное,
Близкое,
Чистое
От нечистого оторви!
Я дышу, словно русское поле
В шелкоперой траве,
И во мне
Столько радости,
Сколько боли
И на той
И на этой земле!

Алексей Марков

БАБУШКА

Бабушка моя в Москву
Прикатила из деревни.
Глаз веселых синеву
Окаймляет чепчик древний.
Входит в комнату она —
Потухает взгляд веселый!
Видит — голая стена
И углы повсюду голы!
«Ни иконы, ни портрета...
Как же это вышло вдруг?
Без портрета — что без света,
Без иконы — что без рук!..»

Норовит домой скорее,
Не желает и присесть.

Объясняю, как умею:
Мол, в душе идея есть!
Человеку или богу
Поклониться не спеши...

Но глядит бабуся строго:
— Внучек, внучек, не грехи!

Не понять былой России,
Замордованной стране,
Новой жизни без мессии,
Без иконы на стене!..

Анатолий Брагин

* * *

Далеко,
За горизонтом синим,
Разлеглась степная сторона,
Маленькая родинка России...
Для меня же родина она.

Я не помню трав ее пахучих,
Помню лишь
Столбы да большаки,
Где весной, как будто на липучке,
Жалобно жужжат грузовики.

Из грязи беспомощных,
Убогих
Выдирают братья-трактора.

Эх, дороги,
Русские дороги!
Хорошо вас знают шофера!

Вдоль дороги избы растянулись,
Как большой обоз перед мостом...
Помню я разгул веселых улиц,
А потом...
Что сделалось потом?

Мы ушли,
Вернее, убежали,
Разлюбив калитку и плетень.
Старики остались сторожами
Позабывтых нами деревень!

Виктор Козырев

* * *

Как только остывало небо
и шли туманы вразворот,
взяв теплую краюху хлеба,
мы ускользали из ворот.

О, те таинственные сборы!
Полузабытые следы...
Их помнят ветхие заборы
и все трубчевские сады.

Веселый месяц сыпал иглы
на загрузивших соловьих.
Мы выходили дерзко в игры
в пилотках выцветших своих.

И после, праздная удачу,
костры летали над водой...
Но, в голосах тревогу пряча,
нас звали матери домой.

А годы падали не просто,
забыта детская игра,
и выглядит довольно взросло
отчаянная детвора.

И пусть удача вновь не мимо,
но только жаль, идя вперед,
что голосом родным и милым
домой никто не позовет!

Виктор Емельянов

КРАПИВА

Тот не считается красивым,
В ком нет душевной красоты...

Смеялись розы над крапивой,
Кривя карминовые рты.
— Подумаешь, какая цаца! —
Сказала ей одна из роз. —
Кому нужна ты, разобраться,
А на меня великий спрос.
Я людям радость приносила,
Я на груди у них цвела...

— А я в войну людей кормила
И тем довольная была.

ХЛЕБОРОБЫ

Дождь накрапывает,
Тишина.
Лишь похрапывают
Он и она.

Уморились оба —
Не до любви.
Спят хлеборобы,
Дети земли.

Молодыми вы были —
Радость шла в стороне.

Сергей Хохлов

* * *

На опушке лошади пасутся,
Терпкие съедая щавеля.
И покуда люди не проснутся,
Ждут,
Ушами тихо шевелия.

Почему не кованы копыта?
На колеса не набито шин?..

ПОЛЕ

О поле,
Как ты одиноко!..
Глухой туман,
Осенний дождь.
Ты все до ниточки
Промокло —
Лишь только изредка
Вздохнешь.

И вид задумчивый,
Печальный.
И незлобивый,
Тихий нрав...
Ты научи меня
Молчанью,
Когда бываю я неправ.

Где-то не долюбили —
Долюбите во сне.

Недосказанное
Доскажите...
Сбудется,
Что не сбылось!

Вот ладони мои.
Возьмите,
Чтоб вам мягче
Спалось.

Лошадям не нравится
у жита
Хмурое урчание машин.

И стоят, и глаз в траву не прячут,
Очень умных,
Очень добрых глаз:
Лошади, наверно, ждут и плачут,
Думая по-своему о нас.

Владимир Фирсов

* * *

Я продолжаю вечное свиданье
С тобою,
Вечно юная земля...

Да не иссякнет
Грома клокотанье
И солнечная песенка шмеля!
И стук валька на речке в час рассвета,
И хруст косы, ныряющей в траву,
И гул машины,
И вода в кюветах,
Где небо обронило синеву.

Все в памяти. В глазах моей любимой.
Ведь жизнь проходит,
Как ни говори,
В голубоватой зелени озимых,
В брусничной розоватости зари,
В цветах, плывущих по июньским рекам,
И в горечи кукушечьей тоски...

Все — с человеком,
Ради человека.
Без человека это — пустыки.

ПОЛДЕНЬ

Был полдень сух и безмятежно светел.
Дремали клены в сонной тишине.
И вдруг неожиданно
Навалился ветер,
И кринки загудели на плетне.
Запел плетень.
И это было гимном
Языческому шествию грозы.
И пыль кружилась над дорогой дымно,
И звонко бились рыжие овсы.
И с первой каплей,
С первым громом —
Ливень
Ударил в огороды и сады.
Почти неуловимый запах лилий
На землю опустился с высоты.
И было видно,
Как ручьи бежали,
Скликакая непоседливых ребят,
Как у стогов
Пугливо кони ржали
И прятали под брюхо жеребят.
Но как-то сразу стало тихо-тихо,
Как будто и ни ливня, ни грозы.
Над снегом зацветающей гречихи
Остыли грома гневные басы.
Молчали вербы, и молчали клены.
И радуга,
Упавшая в Десну,
Глядела как-то очень удивленно
На пахнущую небом тишину.

* * *

Ожидает меня переправа
Над рассветным покоем реки,
Где склоняются горькие травы
И по пояс в воде
Тростники.
Где скупают забытые лодки.
И, покачиваясь в тиши,
Песню славки-черноголовки
Молча слушают камыши.
Что за песня!
Не знаю красивой...
Сохранили лесные края
Приворотное зелье России —
Песню славки и соловья.
Все во мне. До травиночки каждой...

Потому
Пронесу сквозь века
И трагедию песни протяжной
Работающего мужика,
И напев,
Проплывающий где-то
В загрустившей дали голубой
Паутинкою бабьего лета
Над нелегкою женской судьбой.
Это то,
Что не ради забавы,
Ради жизни
Завещано мне...
Ожидает меня переправа
И тревога
На той стороне.

* * *

Птицы жмутся к жилью человека.
Знать, во всем доверяют они
Человеку двадцатого века,
Человеку,
Что птице сродни.

Пой, малиновка, песню рассвета!..
Я по-своему тоже пою

В середине цветастого лета
Немудреную песню свою.

Я несу сокровенное слово
Благодарной природе на суд,
Позабыв,
Что опять птицеловы
Под полый свои сети несут.

МЫ

Не остались во мгле,
Не зачахли в пыли.
Мы идем по земле
Продолженьем земли.
Наши руки нежны,
Наши руки черствы.
Наши очи черны
И полны синевы.
Мы идем по стране,
Улыбаясь векам,
Улыбаясь весне,
Голубым родникам.
Мы проносим свою
Радость вечной весны
Светлой радугою
Посредине страны.
От полей и лесов —

Чистый ветер в лицо.
Провожая отцов,
Продолжаем отцов.
Как живые,
Они
Подымаются в нас,
Если — трудные дни,
Если — горестный час,
Если кто-то зовет
Нас на помощь, крича,
Если подлость живет
На земле Ильича!
Если трудно стране,
Мы ведем себя так,
Как отцы
На войне
В громе жарких атак.

Николай Браун

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Снег. Снег. На́ поле снег. Снег на лугу.
Лес утопает в снегу.
Все, что землю зовем:
Пашни, пригорки, песок, чернозем,
И ручейка родниковый алмаз,
И озерка синеокий овал,—
Все это скрыто, открыто от глаз,
Все это север, север сковал.
Кинул на реки наручники льда,
Кинул — и каменной стала вода.
Топнул о землю и, вьюгой пыля,
Дунул — и оцепенела земля,
Дунул, оплел паутиною снов
Корни деревьев, и трав, и хлебов.

Снег. Снег. На́ поле снег. Снег на лугу.
Ночи длинны. Звезды ясны.
Звезды лучами играют в снегу.
Сон. Сон. Сон до весны.

Сон, как волшебник, коснулся ствола
Дерева спящего — и поплыла
Песня кудесника соловья:
Щелканье, свист...

И лесные края —
Видится дереву — юной листвою
Плещут. И солнце над головой

Блещет.

Не веток ледышки стучат,—
Песни весенней коленца звучат.

Сон окунулся в притихший родник,
И хоть совсем родничок невелик,
Снится ему, что, сверкая, горя,
Мчится он в реки,
Струится в моря.

Сон прикоснулся к зерну — и росток
Землю пробил, и силен и высок,
Тянется к солнцу, чтоб зазвенеть
Колосом желтым, тяжелым, как медь.

В корни уснувшие трав и цветов
Входит кудесник с охалкою снов
И рассыпает их — и чудеса:
Ливни цветов окаймляют леса,
Рек берега и ручьев берега,
Льются в поляны,
Бегут на луга.

Сны — как весны молодые гонцы,
Даже скворешне приснились скворцы.
...Снег. Снег. Снега залегли.
Ночи темны. Звезды ясны.
Копятся, копят силы земли.
Сон. Сон. Сон до весны!

Сергей Викулов

АНИСЬИНО УТРО

(Глава из поэмы)

У Ани́сьи петух — поглядеть — красота.
Белобрысым, другим петухам — не чета.

Шпоры — ступит — звенят. Гребешок наизлом.
Вороненая сталь под багровым крылом.

Хвост-атлас напоказ. Воротник — золотой.
Жен — семнадцать, и все

у него под пятой!

На высоком насесте, под кровлей ржаной,
просыпается первым он, как заводной.
Громко крыльями бьет по своим галифе
и орет, ни в каком не повинен грехе,
песнь,

что предок еще при Горохе-царе
распевал на заре, распевал на заре...

— Ку-ка-ре-ку! — И все «населенье» двора
поднимается на ноги дружно: пора.

Поросенок в кутке — не чесался давно —
принимается холку тереть о бревно.

А корова, будя ширкунцом тишину,
сонной мордью шарит в кормушке по дну.

А ягнята — те матку толкать под бока,
дабы лишнюю каплю добыть молока...

Тишина... Но уже через четверть часа
двор, послушаешь, стонет на все голоса.

Как баржа-самоходка, корова орет,
поросенок визжит и корыто грызет.

Куры — снова на сносях — кричат за стеной:
— Кто последний в гнездо?
— Я... но двое за мной.

А овца: «бе» да «бе», — не найдя, что поесть,
норовит, как петух, в подворотню пролезть.

И Анисья встает, всполошась: — Проспала! —
и скорей за извечные бабьи дела.

Не прибравши волос, не умывшись со сна,
первым делом лучину щепает она.

Зажигает ее и сует под дрова —
чуть не в печке при этом ее голова.

И взвизгивается зверем огонь молодой..
— Пусть горит... — И босая бежит за водой.

Тащит ведра. И вот уж полным-то полны
придвигает ухватом к огню чугуны.

Крутобокая печь раздувает меха..
А хозяйка, пока не слышать пастуха,

хлебца корочку взяв, подоткнувши подол,
в сапожищах, с подойником мчит во двор.

Вжик да вжик!..

Поросенок встает на дыбки,
загородку грозя разнести на куски.

Но — подойник в коленях — Анисья сидит.
— Я те, морда! — ругается. — Я те, бандит!

— Чтоб ты сдох, пустобрех! — добавляет в сердцах.
Но уж это для красного только словца.

Потому как на деле хозяйка двора
и к нему — до ножа — неизменно добра.

А бранится — так что ж тут такого! Она
на такое хозяйство, как палец, одна.

Верка — старшая — внука уже родила,
и у Светки — два года как свадьба была.

Упорхнули птенцы из родного гнезда...
И Анисья, раскинув умом иногда,

вдруг поймет, что теперь ей —
одной-то в дому! —
убиваться, как прежде, совсем ни к чему.

Правда, худо ль, что в крынках всегда молоко...
Но уж больно сенцо добывать не легко.

Тут охапку да там... Да тайком, по ночам.
Прикипает все лето веревка к плечам.

Плюнуть вроде б на все...
Да ведь как без скота!
Не надежно: картина покуда не та!

Да и жалость в душе... И привычка притом.
Всю ведь жизнь со скотом! Всю-то жизнь со скотом!

И выходит, что прежде, чем резать, отмерь...
Ей, одной-то, и так прожилося бы теперь.

Ну, а внука, а Верку ужо с мужиком
чем поить, как приедут?
Парным молоком!

И Анисья несет добровольно свой крест.
Целый день на ногах. Даже походя ест.

Голова по утрам как свинцом налита.
Не житье с головою такой — маета.

Городских-то, случалось ей видывать, дам
распирает решительно к этим годам.

А она, словно жердь из осека, тонка:
юбку Веркину носит — и та велика!

...Только крынки расставила в кухне она,
глядь, пастух барабанит уже у окна.

— Слава богу, успела! — себе говорит.
И, взглянув мимоходом, как в печке горит,

через сени опять громыхает во двор
и с ворот широченных снимает запор.

Яркий свет ударяет корове в глаза,
выплывает она, как баржа из шлюза́.

Следом, кур распугнув, выбегает овца...
Постояла Анисья чуть-чуть у крыльца.

Выставляет из печки чугу́н и пестом
разминает картофель вареный. Потом

высыпает в ведро. Хлеба два-три куска
добавляет. И крынку еще молока.

И выносит во двор, ублажает хряка.
Курам что-то дает. Все как будто пока...

Закрывает заслонкою печку. И вот,
взяв лопату, Анисья бежит в огород.

Ах, а там, в огороде, хоть он небольшой,
молодеет и телом она и душой!

Там она между гряд ходуном, ходуном,
председатель — сама
и сама — агроном.

И работник — сама, наконец... Красота!
То проредит морковь, коль увидит — густа,

то польет огурцы, то с листа червяка
уберет — округляет капуста бока! —

то картошку пророе́т — теперь бы дождя! —
то росток оборвет с помидор, не щадя,

улыбнется, увидев на клевере пчел,
встанет рядом с пшеницею — вровень с плечом!

Для Анисьи понятия нет: не д о р о д...
Как прикинешь, взглянув на ее огород,

что получит иль может она получить, —
так поймешь, что не надо Анисью учить,
как к земле подойти...

Ту науку она
постигала горбом. И постигла сполна!

Дедко Вася — сосед, что живет через двор, — ей однажды сказал, навалясь на забор:

— За такой урожай, коли здраво судить, впору, тетка Анисья, тебя наградить.

И притом не значком, не медалью простой — первым орденом красным, звездой золотой!

И вздохнул, поглядевши в простор полевой, и поник почему-то седой головой.

Позавидовал, что ли, Анисье... Да нет, он и сам отродясь не бездельничал, дед.

Про награду-то в шутку, конечно, старик...
А и что?! — возгордилась Анисья на миг.
А и что! Поработала. Было делов.
В плуг, случилось в войну, запрягала коров и пахала! И жала серпом опосля..
И донине, поди, не впитала земля слез-то бабьих горючих...
А после войны?!
Да по совести ежели, Анисье б должны не одну звездку дать!
Дождайся, дадут...
Горобцов-то всего лишь два года как тут.

Хоть бы пенсию дал... На исходе года.
А звезда... Ни к чему ей, Анисье, звезда.

Не срамил бы на старости лет — и добро.
Ей неправое слово как нож под ребро!

Прислала как-то Верка посылку с мукой.
И случился как раз то ли праздник какой, то ли день выходной...
Ну, и к этому дню в простоте замесила Анисья квашню.

Накануне морошки она набрала.
Мягкой, сладкой в ту пору морошка была.

Так в пирог и просилась! Известно давно ж, что с морошкой ягодник вот как хорош!

— Угошу, — рассуждала, — Светланку с зятьком, коль заглянут... Проглотят ужо с языком!

Утром тесто на стол — началось колдовство.
Сразу в колоб скатала Анисья его,

после пальцами сильно прошлась по бокам, а потом — в две руки — по щекам, по щекам!

Отступилась. Муки на средину стола
раструсила щепотку и скалку взяла.

Р-раз — вперед, два — назад, три...
И нет колобка!

Разрумянилась даже Анисья слегка,

ощутила себя молодой-молодой,
той, какую была перед самой бедой,

не солдатской вдовой —
еще мужней женой,
и сединки у ней под платком — ни одной,

и девчушки малы еще, спят в пологу...
Пусть, не поздно, успеют еще к пирогу.

Хорошо на душе у Анисьи, светло.
Вот она намочила уже помело,

вот угли подмела на горячем поду...
А в избе, с настроеньем хорошим в ладу,

льется песня: динамик висит на стене...
Вдруг мотив обрывается, и в тишине

Горобцов начинает слова говорить:
— Надо больше косить... Надо лучше доить...

Надо меньше себе... До каких это пор?..
И опять про Анисью завел разговор.

Рот открыла она и стоит. А пирог
на лопате уже...
— Что ж ты раньше не мог?! —
закричала Анисья. — Не стыдно тебе?
Ишь напал, сатана! Да в моей-то избе!..
Я те вот побрешу! —

И в горячке она
подскочила с лопатой к динамику: — Н-на!!

Замер враз, отлетев на четыре шага.
На стене только гвоздь да клочки пирога...

— Ой, чего натворила-то, дура я, ой!..
Да зачем я пирог-то сгубила такой?!

На колени упала, морошку берет...
А петух под окном «кукареку!» орет,

причитаньем Анисьи в избе
всполошен...
Чувства юмора начисто был он лишен!

ОТ ЗАТЕМНЕННОГО ВОКЗАЛА

Слова К. Ваншенкина

Музыка Я. Френкеля

От затемненного вокзала,
Рыданьем сердце леденя,
Меня ты в бой не провожала, —
Ты и не знала про меня.

Там юность с юностью рассталась,
На плечи взяв тяжелый груз, —
Их связь недолгая распалась,
Как всякий временный союз.

В ту пору не было в помине
У нас ни жен и ни детей.
Мы, молодые, по равнине
Пошли сквозь тысячу смертей.

А жизнь текла средь зимней дали,
Где скрип колодцев и дверей,
В мужья не нас девчонки ждали —
Тех, кто воротится скорей.

Еще в ночи владели нами
Вспоминания одни,
Но за встающими холмами
Иные виделись огни.

...Щекочет губы чье-то имя,
Лицо колышется сквозь дым...
Так расставались мы с одними,
А возвращались мы к другим.

Moderato

От за-тем-нен-но-го вок-за-ла,
ры-дань-ем серд-це ле-де-ня,
ме-ня ты в бой не про-во-жа-ла,
ты и не зна-ла про ме-ня. Там
ю-ность с ю-ностью рас-ста-лась,
на пле-чи взяв тя-же-лый груз, —
их связь не-дол-га-я рас-па-лась
как вся-кий вре-мен-ный со-юз.
1.2.
1.3.
а воз-вра-ща-лись мы к дру-гим

Василий Федоров

* * *

Мир дремучий,
Мир такой горячий,
И огонь над миром
Так высок,
Что не отличить,
Где дым,
Где туча,
Где зола,
А где седой песок.

В эту
Мировую непогоду
Мне бы
Отряхнуться добела —
Так, как лебедь
Пасмурную воду
Стряхивает
С белого крыла.

Молодость
На горести поката:
Распрявился —
И душа чиста.

Юного,
Меня легко когда-то
Поднимала в небо
Красота.

Нынче
Не до легкого подъема,
Крылья песен
Что-то тяжелы.
Слишком много
В наших водоемах
Накопилось
Всяческой смолы.

И лечу
Уже не я, а годы..
Мне бы
Отряхнуться добела —
Так, как лебедь
Пасмурную воду
Стряхивает
С белого крыла.

* * *

А я когда-то думал,
Что седые
Не любят,
Не тоскуют,
Не грустят.
Я думал,
Что седые,
Как святые,
На женщин
И на девушек глядят,
Что кровь седых,
Гудевшая разбойно,
Как речка,
Напоившая луга,

Уже течет
И плавно
И спокойно,
Не подмывая
В страсти берега.

Нет,
У седой реки
Все то же буйство,
Все та же быстрина
И глубина...
О, как меня
Подводит седина,
Не избавляя
От земного чувства!

* * *

У моей
У любви,
У страсти
Больше нет
Над тобою власти.

Власть ушла
В расцвете,
В богатстве,
Как уходит власть
В государстве.

Власть ушла,
И люди смеются:
Дескать, свергнут
Без революции.

Ты в каком-то
Чужом режиме,
Как чужая
Ходишь с чужими.

Не боишься ты
Взгляда злого,
Не томишься в любви
От слова.

Мне теперь
И любовь
И дружба —
Как премьеру
Простая служба.

Ирина Снегова

* * *

Чем меньше женщину мы любим...

Пушкин

Опровергаю. Любим за любовь.
В ней пагуба, в любви, а не
в притворстве.
Любовь идет к любви. На трубный зов.
Любовь разит любовь. В единоборстве.
А равнодушие — что игра его!
Для девочек опасна, не для женщин..
Сквозь бедность равнодушия твоего
Косит любовь зрачком своим зловещим.

Валентина Творогова



Я вся какая-то другая,
Я прорастаю новизной.
И это новое пугает
И что-то делает со мной.
Могу не верить и смеяться,
И ничего не понимать,
И ничему не удивляться,
И чьи-то плечи обнимать.
От жизни никуда не деться.
Но что в ней то, а что не то?

Я просто выросла из детства,
Как вырастают из пальто!
Я не могу увидеть выход:
Я детство, глупая, сняла,
А зрелость не дают «на вырост»,
А я для зрелости мала.
Я очень многое достану
И очень многим заплачу,
Пока мне в самом деле станет
Большая зрелость по плечу.



Наверное, я сильная... Наверное.
А ты внушаешь мне, что я слаба.
Что у меня совсем обыкновенная
Беспомощная женская судьба.
Что мне не бунтовать и не смеяться,
Любить, не выбирая, а любя,
Что мне всего пугаться и бояться,
Что мне искать защиты у тебя.
Наверное, я слабая... Наверное.
Но только я дождусь такого дня,
Когда ты от тревог и от неверия
Придешь искать защиты у меня!

БЕРЕЗКИ ПЛАЧУТ НА ДОЖДЕ

Во всех стихах березки плачут,
Березки плачут на дожде.
Дождинки суетливо скачут,
И листья плавают в воде.
А я хотела бы иначе.
Но что я сделаю? Везде
Березки в самом деле плачут,
Березки плачут на дожде.

Ольга Фокина

* * *

Песни у людей
Разные,
А моя — одна
На века:
Звездочка моя
Ясная,
Как ты от меня
Далека!

Поздно мы с тобой
Поняли,
Что вдвоем — вдвойне
Веселей
Даже проплывать
По небу,
А не то что жить
На земле.

Облако тебя
Трогает,
Хочет от меня
Закрыть...

Чистая моя,
Строгая,
Как же я хочу
Рядом быть!

Только для тебя
Я не бог,
Крылья, говорят,
Не те,
Мне нельзя к тебе
На небо —
А-а-а-а —
Прилететь!

Бродят за тобой
Тученьки,
Около кружат
Они...
Протяни ж ко мне
Лучики,
Ясная моя,
Протяни!

* * *

Ты давно пытался выпытать,
Давно хотел узнать,
Что такое мною выпито,
Что мне мешает спать...

Пред тобою я — чиста-бела,
И вся моя вина:
Я не выпила, не выпила,
Не выпила вина.

А чтоб не слыть гордыней-важенкой,
Людей не обижать,
Подсластила губы браженькой
Из медного ковша.

Оказалась не простой она,
Та брага, на беду,
На меду была настояна,
На чистом на меду...

Я тебе пишу, тебе пишу,
Когда ты далеко.
Я тебя ищу, тебя ищу,
Когда мне нелегко.

Я тебе верна, тебе верна,
Как милые верны,
Коль не дует ветер с северной
Родимой стороны.

А как потянет ветер сиверко,
Закружится снежок,
Попрочнее припаси аркан,
Покрепче батожок.

Убегу — кричи по имени,
Все блага обещаю
Да лови меня, лови меня,
С дороги возвращай!

Та дороженька не близкая,
И вся дорожка та
Горьким горюшком повыстлана,
Слезами залита.

Только мне она, дороженька,
Дороже всех дорог...
Там живал один хорошенький,
Веселый паренек.

Ничего с меня не требовал
И мне не обещал,

ОСТРОВОК

Много ли надо для островка?
Клок осоки да горсть песка.
Горсть песка да осоки клок —
Вот и весь островок.
Речка Содонча, ой, бойка!
Так и рвет островку бока,
Так и гложет его края
Немутнеющая струя.

А налимы и пескари
Нынче тоже не дикари:
Роют норы, жуют песок,
Точат остров наискосок.

Каждый год с приходом весны
Берега для речки тесны.
Каждый год ему, островку,
С головой уходить в реку.

Ох и злится вода! Сверлит!
— Сгинь! Рассыпья! — ему велит.
Льдины мимо не проплывут —
Обязательно цапапнут.

А уж если случится плот,
Непременно, как бык, боднет
Да уцепится животом —
Прочь пол-острова за плотом!

Лишь из ковшика из светлого
Той брагой угощал.

Для него-то, для хорошего,
Ни капли не скорбя,
Не воротишь — позаброшу,
Позабуду я тебя...

Оказалась не простой она,
Та брага, на беду,
На меду была настояна,
На чистом на меду...

Кустик рос — и того лишишь:
С корнем вырвет... Такая жизнь!

Но взгляни: опала вода —
Островок стоит, как всегда.
Стрекоза над речкой дрожит,
Мирно-мирно вода бежит.
И осока шумит, как лес,
И кусточек жив, не исчез.
И песком, чтоб горел как жар,
Чистит девочка самовар.
И купает его в реке
И играет на островке:
Бросит в воду песчинку горсть —
Все песчинки мгновенно врозь!
Бросит пригоршню, бросит пять,
Но ровнехонько дно опять.
Смотрит девочка на реку,
Удивляется островку:
— Как ты вырос и как ты смог
С речкой справиться, островок?
Научи меня! Научи! —
Но в ответ лишь вода журчит.
...Я бы тайну открыть смогла, —
Вместе с островом я росла,
В той же речке... и потому
В жизни мне, как в реке — ему.
Но девчонку спугнуть боюсь
И пока в кустах хоронюсь.
Подружился — я ей спою
Тайну острова и мою.

Владимир Карнеко

* * *

Нет, все, что было между нами,
Едва ли в памяти твоей
Сотрется временем...

С годами
Ты будешь тосковать сильнеей.

О той, о самой первой встрече
В твоей нетронутой судьбе,
Когда почти что сказкой вечер,
Мечтою виделся тебе,

Когда глаза в глаза глядели,
И стали лишними слова,
И от тревожного веселья
Вдруг закружилась голова,

Качнулся мир, и перед нами
Померк далекий звездный свет...
Не лги, я знаю, что с годами
Неизгладим той встречи след.

Он будет жить в тебе упрямо,
Пусть ты — с другим, и день от дня
Привычным станет слово «мама»,
Детей шумливая возня, —

Но никогда, как ты ни требуй,
Ни дни, ни годы не сотрут
Тех, погасивших звезды в небе,
Остановившихся минут.

* * *

Мне снился сон: ты — уходила...
Вот так уходят корабли.
Еще все было, было, было...
Но море тайно от земли
Воды полоской отделило

Корабль.
Еще все было, было,
Еще слова сказать могли,
Еще любила — как любила! —
Еще моя — ты уходила
От не простившейся земли.

Валентин Сорокин

НАДЕЖДА

По площадям, ветрами выжженным,
Сквозь торопливый стук колес,
Я шел усталый и обиженный
И на ладони сердце нес.

А день летел, разбужен птахами.
Горнист у берега трубил.
— Вы поглядите! — люди ахали.—
Он самого себя убил!..

Но я-то знал, не все потеряно.
Коль поскользнулся я, как на льду, —

Ты осторожно и уверенно
Его подхватишь на лету.

А ты, во мне разубежденная,
В себе, в проснувшейся красе,
Прошла слепой, и отчужденною,
И равнодушною, как все.

Ты вновь меня во всем уверила.
Я славлю искренность твою.
Но понимаешь, там, у берега,
Я до сих пор еще стою...

Дина Терещенко

* * *

Говоришь — омут.
Говоришь — осудят.

Омут не омут, злословят люди —
немолодая женщина,
сердце свое отдала молодому,
навечно.
Навечно?
Слово какое-то мемориальное.
Разве же сердце можно отдать
или взять?
Просто оно — башмачок хрустальный.
Кому-то его найти.
Кому-то его потерять.

* * *

Ты не верь отражению зеркал,
хоть и видели они много.
Целый мир нам становится мал,
если вдруг разошлись дороги.
А дороги твои не ко мне,
а ко мне только стежка короткая.
Так по чьей же, по чьей вине
в океане тонула лодка?
Были ночи мои тихи,
и легко было мне и спокойно.
Ты пришел, как приходят стихи,
поезда, телеграммы и войны.
Я боюсь, что опять ко мне
ты подспудной бедой нагрнешь.
На войне как на войне —
не убьешь,
обязательно ранишь.

Ирина Волобуева

КОНЦЕРТ

И снова скрипка вкрадчивой повадкой
Вдруг всколыхнула память в глубине...
Теперь я знаю: это ты украдкой
Все подсылаешь музыку ко мне.

Ты сделал так, чтобы и этим скерцо
Смогла печаль, с внезапностью луча,
Раскрыть мое замкнувшееся сердце
Звучанием скрипичного ключа.

Чтоб с гордостью моею непокорной
Схватиться насмерть, грянув как гроза,
То взмыть волной, подкатывая к горлу,
То обжигать мне нежностью глаза.

То вдруг затихнуть.

То на всю разлуку
Опять трубить победною трубой.
Не радуйся!

Умолкнут эти звуки,
И мы еще поборемся с тобой!

* * *

Наверно, я не так на свете жил,
Не то хотел и не тому служил.
А надо было просто жить и жить.
И никуда особо не спешить.
Ведь от моей несбывшейся мечты
Зияет в сердце полость пустоты.

Я так любил. Я так тебя берег.
И так ничем тебе помочь не мог.
Затем, что просто не хватало сил.
Затем, что я не так на свете жил.
Я жил не так. А так бы я живи —
Ты б ничего не знала о любви.

* * *

Освободите женщину от мук.
И от забот, что сушат, — их немало.
И от страстей, что превращают вдруг
В рабыню ту, что всех сама пленяла.

А потому от выбора судьбы.
Не вышло так?.. Что ж!.. Можно жить
иначе...

От тяжести бессмысленной борьбы
И щедрости хмельной самоотдачи.

От обаянья смелости, с какой
Она себя, рискуя счастьем, тратит.
Какая смелость может быть у той,
Что все равно за смелость не заплатит?

Откуда трепет в ней возьмется вдруг?
Какою силой в бездну нас потянет?
Освободите женщину от мук.
И от судьбы... И женщины не станет.

ВОСТОЧНЫЕ СТИХИ

Кайсыну Кулиеву

Та женщина явилась предо мной —
Вся деловитость, вся — как нынче надо.
А ты сказал:

— Ее бы видеть в зной
В саду, в горах, с корзиной винограда...

Там глушь? К лицу ей только будет
глушь.

Где все понятно, все давно известно,
Все — просто жизнь: дом, дети, сад
и муж —

Ее призванье, облик, дом и место.

А чем она живет, живя другим?
К чему ей фильмы, где тоска по страсти
И важный муж с занятием немужским?
Жизнь!.. Что за жизнь!.. Ни красоты,
ни счастья...

...Ты говорил... И речь была стройна,
А я молчал, хоть спорщик я завзятый.
Та женщина — мне нравилась она —
Была нежна... Пускай тяжеловатой

Казалась поступь... Спорить я не стал
А с детских дней в другое верю прочно,
И все, о чем я с детских дней мечтал,
Несовместимо с лирикой восточной.

Не запирать, а выводить я рад...
Да. Но теперь, бог весть с какой
причины,

Закрыв глаза, я видел этот сад,
Ее, на голове ее корзину...

И все забыл...

Средь плотной тишины
Шла вверх она, шла ровно, не горбатясь.
И стали ноги сильные стройны,
И вдруг исчезла вся тяжеловатость.

Все к месту здесь. Все та же и не та,
Она прошла по склону вверх куда-то.
И понял я, какая красота
Здесь в ней таится, в чуждый облик
вжата.

И понял я, что в чем-то ты был прав.
Прав если не совсем, то хоть отчасти.
И грустен стал, печально осознав,
Что я отнюдь не обладатель счастья.

Та женщина явилась предо мной —
Вся деловитость, вся — как нынче надо.
Но все равно — в горах, босая, в зной
Она несет корзину винограда.

Юрий Щелоков

СОПЕРНИЦА

В тумане томном и горячем
Со всех доносится сторон
И женский смех,
И визг девчачий,
И шаек приглушенный звон.

С покатых плеч спадает пена,
Кипит веселый банный труд:
Не по-мужски, не так отменно,
Но все ж добротю спины трут.

А ты все хмуришься, Авдотья,
Боль неумную тая:
Во всей красе своей напротив —
Она, разлучница твоя.

«Ах, вовсе б даже не глядела», —
Себе ты в ревности твердишь,

Да все украдкою, несмело
Ты на соперницу глядишь.

Проникнув в тайные чертоги,
Пристрастно разбирает взгляд
И грудь высокую, и ноги —
Все сверху донизу подряд.

Изъяны все отыщешь сразу
Ты с торжеством наивным,
но

К душе непрошеному глазу
Нигде пробиться не дано.

А может, там, а не снаружи
Искать бы силу надо ту,
Что вдруг смогла обезоружить
Твою, Авдотья, красоту.

Светлана Кузнецова

* * *

Через печаль, через сумятицу снов,
Губы кусая, теперь не кричу о любви.
Я отхожу от каких-то своих основ,
Я обжигаю о новое руки свои.
Как горячо! Я его удержать не могу,
И застывают моторы на полном бегу,
И реактивные лайнеры стынут недвижно

в ночи...
Боль моя, сердце, сильнее над ними
стуци!

Лебеди к северу, лебеди к дому летят.
Лебеди гнезд, лебеди счастья хотят.
Я закрываю глаза. Я на севере вижу
костры,

Красные тени подвижны, длинны
и остры.
Красные тени колеблет весна на воде...
Что я отвечу друзьям на пристрастном
суде?

...Белые лебеди слишком белы для меня.
...Черные лебеди слишком черны
для меня.

* * *

Застелю я стол черной скатертью.
Прогрущу от семи до семи...
А ведь я из семьи золотоискателей.
Я из очень хорошей семьи.

Видно, мне не напрасно на долю
досталось
Это счастье — не счастье и угол — не дом,
Я не зря из семьи, которой давалось
Все в жизни с большим трудом.

Пароходы и пристани, села и прииски,
День средь ночи и ночь среди белого
дня.

Смех сквозь слезы, тоска, прибаутки
и присказки,
И враги, и друзья, и большая родня.

Нет родни моей. Вымерла, не осилив
эпохи.
Ничего не завещано, не оставлено мне,
А дела мои вовсе не так уж и плохи,
Налегке даже легче бродить по стране.

Дина Злобина

СОЛОВЕЙ

Глухой, как омут,
и глубокий,
Залетный баловень ветвей,
Пугливый,
как порыв осоки,
Был горлом страсти
соловей,
От взглядов листьями укрытый,—
И в пашнях,
где туман вставал,
Звучал то голос позабытый,
То «вал девятый» бушевал,
Рассвет и жуть сшибая лбами,—
И ветлы бились в лапах зла,
И телеграфными столбами
Весна девичий смех гнала
Все мимо сел,

Все мимо, мимо,
Туда, где лань сошла к реке,
А он все пел неумолимо
На человеческом языке,
Высвистывал и плакал ноты,
И трели сыпались в туман,
Подобренные, как пилоты,
Рванувшиеся на таран
В спаленном и желанном небе,—
И в догоранье гордых нот
Светло аел восхода гребень
Над прорвой судеб и забот,
То изводя туманы в хлопья,
А то росой рыдая вслух,—
И, не жалея крыльев, хлопал
Восходу, кланяясь,
петух.

Майя Румянцева

* * *

Дай явь, как сон,
Ворвись ко мне,
За все разлуки
дай награду.
Как на ворованном коне
Явись
с глазами конокрада.
Мне дед рассказывал, как он
На тройке
похищал невесту.
И только — стон,
И только — звон,
И рысакам в упряжке тесно.
Ведь увозили же тогда,
И в спину пусть
летят проклятья,
И пусть на день,
Не навсегда,
Но увези меня... для счастья.
Я перепутаю часы,
Я перепутаю все даты.
Я буду путать
явь и сны
И все восходы и закаты...
Дрожит земля,
Дрожат леса,
И все меняется на евете.

Дай удаль мне,
И дай глаза,
И день один
из тех столетий,
Когда крадут
своих любимых,
В тулупы рыжие
их прячут.
Когда любовь — пролетка
синяя,
Перед которой
гривы
скачут...
Нам не хватает той,
старинной,
В метель украденной
любви.
Живем
размерно и чинно,
До встреч
вычеркивая дни.
И ты меня не увезешь,
И я, пожалуй, не уеду...
А тройка...
Тройка — это ложь,
И я давно
Не верю
Деду..

Яков Белинский

СОПЕРНИКИ

Попробуй разобраться, где уж тут.
Но верю времени приметам.
От вратарей уходят девушки
к почти непризнанным поэтам.
Девчонки верят затаенно
в бессмертье строф, сводящих губы,
а грубый грохот стадионов
оставили подругам грубым.
Забыв вратарь, пускай он бронзов,
пускай к ногам, обутым в бутсы,

летят растрепанные розы
и оглашенно вопли льются.
Поэт уводит тихо за руку
любимую к пейзажам новым,
и та глядит в глаза очкарику,
живет и дышит каждым словом.
И стих звучит, волнением сдавленный,
и взрывом — в небо! — рвутся ветки...
И горбится вратарь прославленный
и вынимает мяч из сетки.

ПОЭТЕССЫ

С улыбкою гляжу на поэтесс.
В них что-то неестественно-святое,
и это неуклюже-неземное
у глупых вызывает интерес.

Худущие, издерганные, злые,
постигнув мир не сердцем, не умом,
они — не просто стих,
они — стихия
на голой сцене, в платье простом!

И отдаваясь славе на съеденье,
и отдаваясь аханью толпы,
они летят в провал стихотворений...
Им отдохнуть, им подлечиться бы!

Детей ласкать, в семействе верховодить.
Какое там! Несчастливым не везет.
По воздуху, непонятые, ходят.
— О воздух! О земля! О небосвод!

Склонясь к столу завистливо и грустно,
готовые друг дружку закусать,
они даруют истину искусства,
когда мужчинам нечего сказать.

* * *

Когда косынкой землю ночь повяжет
и сонная над миром благодать,
из-под седых обломков фюзеляжей
они выходят звездами дышать.

Да, все как есть, как были, как дышали
когда-то в разных русских городках,
и все как есть они штурвал держали
на «Муромцах», «Эр-пятых», «ишаках»...

Еще в петличках, в полевых погонах.
На гимнастерках — стертые кружки.
В забытых шлемах
и в скафандрах новых
поэскадрильно
строятся полки.

Ты тихо стой. Здесь всё у них —
как будто.

На вечер встречи к мертвым ты пришел,
к выпускникам Иркутска, Оренбурга —
всех наших старых, добрых летних школ.

— А как зовут вас, лейтенант?
— Не знаю.

Я так давно, наверное, убит,
что в самой незабывчивой Рязани,
пожалуй, окончательно забыт.

...Гуляют штрафниками офицеры,
покуда зори сны не замели,
и звезды неба встанут из фанеры
над почестями сгорбленной земли.

Да, у природы старые заботы,
и утро опускается вдали
так плавно, как посадка самолета,
когда он чуть касается земли...

ОГНЕННЫЕ ГОДЫ

Слова Евг. Долматовского

Музыка В. Соловьева-Седого

Вспомни, друг, соратник верный,
Сражения былые.
Вспомни, вспомни сорок первый,
Страдания России.
Полыхал закат багровый,
Героев смерть косила.
По земле, политой кровью,
Ушли мы в глубь России.

Припев:

Мы никогда и нигде
Не уронили честь солдата,
Бывалые ребята,
Товарищи в беде.
Помнят всегда и везде
Победный год наш сорок пятый,
Как водружен алый флаг,
Как водружен был алый флаг
В Берлине на рейхстаг.

Мы прошли путем суровым
Сквозь пули и осколки
И в дыму сорок второго
Дошли до самой Волги.
Но настал конец терпенью,
Конец разлуке долгой,
В сорок третьем в наступленье
Рванули мы от Волги.

Припев.

А в году сорок четвертом
Границу брали с ходу,
Шли в атаку шагом твердым,
Неся друзьям свободу.
Мы в броне уральской стали
Прошли огонь и воду,
Пол-Европы прошагали,
Неся друзьям свободу.

Припев.

В ТЕМПЕ МАРША

Вспомни, друг, со-ратник вер-ный сраже-ния-
-я бы-лы-е. Вспомни, вспомни со-рок пер-
-вый, стра-да-ни-я Рос-си-и. По-лы-
-хал за-кат баг-ро-вый, ге-ро-ев смер-ть ко-си-ла,
по зем-ле, по-ли-той кро-вью, ушли мы
в глубь Рос-си-и. Мы ни-ког-да и ни-где
не-у-ро-ни-ли честь сол-да-та, бы-ва-лы-
-е ре-бя-та, то-ва-ри-щи в бе-де.
Помнят всег-да и все-де по-бед-ный
год наш со-рок пя-тый, как водру-жен а-лый
флаг, как вод-ру-жен был а-лый флаг в Бер-
-ли-не на рейх-стаг.

*) Кор тачет при последнем куплете.

Евгений Евтушенко

МОЯ ГРУППОВЩИНА

Я не имею глупости в излишке
считать борьбою чьи-то там борьбишки,
когда, затеяв серенький разлад,
наохлившись орлино, воробьишки
вокруг навоза времени галдят.
Их вспышки — это серенькие вспышки,
и у любого — в сереньком умишке
провинциально серенький разврат.
А ну их всех — ни дна им, ни покрышки!

Они друг с другом спорят конвульсивно.
Они клюют друг друга агрессивно.
Но чем же отличаются они?
Реакционно или прогрессивно —
чирикание чириканию сродни.

Они порой в чириканьи басисты.
Они непримиримы, как расисты.
У них свои и сферы, и круги.
Но любят кашу с маслом «прогрессисты»,
как и прогресса злобные враги.

О, «прогрессистов» светлая идейность!
Пусть завопят, что я их предал, дескать, —
я вижу сквозь дешевую их дерзкость,
как, прячась в гимназический жаргон,
позорно затянувшаяся детскость
покрыта подозрительным жирком.
Они, топорщась, встают сердито.
Они вещают горько и разбито,

но заниматься устроением быта
не забывают под трагичность фраз,
и выглядит все это слишком сыто,
а сытая трагедия — есть фарс.

Они влачат интриги, как вериги,
они пророчат веянья и сдвиги,
но никогда, породюю мелки,
привыкнувши в карманах делать фиги,
не вынут из карманов кулаки.

Я в говорильню эту — ни ногою!
Мне есть о чем поговорить с тайгою,
и на меня нисходит благодать
среди людей, в интригах неуклюжих,
чьи руки служат не для фиг досужих,
а чтобы пахнуть медом свежих стружек,
соображать в сетях, моторах, ружьях,
и ватники скидать к ногам подружек,
и пить из алюминиевых кружек,
а если надо — так и в морду дать!

Мне не по нраву в сытой бытовщине —
играющей в идейность хуторщине,
а мне по нраву — у костра в лощине,
а мне по нраву — по Печоре плыть —
хочу я быть с народом в групповщине,
хочу с природой в заговоре быть!

Нарьян-Мар

БАЛЛАДА О НЕРПАХ

Нерпа-папа спит, как люмпен.
Нерпа-мама сына любит
и в зубах, как леденец,
тащит рыбину в сторонку
кареглазому нерпенку
по прозванью «зеленец».

Нерпы, нерпы, вы как дети,
вам бы жить и жить на свете,
но давно в торговой смете
запланированы вы,

и не знают нерпы-мамы,
что летят радиogramмы
к нам на шхуну из Москвы.

Где-то в городе Бостоне
на пушном аукционе
рассиявшийся делец
сыплет чеками радушно,
воскликая: «Мир и дружба!
Мир и рашен зеленец!»

Чтоб какая-то там дама —
сплошь одно ребро Адама —
в мех закутала мослы,
кто-то с важностью на морде
нам вбивает вновь по Морзе
указания в мозги.

Нерпы, нерпы, мы вас любим,
но дубинами вас лупим,
ибо требует страна.
По глазам вас хлещем люто,
потому что вы — валюта,
а валюта нам нужна.

Нерпы плачут, нерпы плачут
и детей под брюхо прячут,
но жалеть нам их нельзя.
Вновь дубинами мы свищем.
Прилипают к сапожищам
нерп кричащие глаза.

Но небось охота рыбам
не добычей быть, а прыгать
над волнами, по волнам,
а вы ловите их, нерпы...

В мире все закономерно:
рыба — нерпам, нерпы — нам.

Ну а нерпы плачут, плачут...
Если б мир переиначить
(да, видать, не суждено),
мы бы, нерпы, вас не били,
мы бы с вами водку пили
да играли в домино.

Все законно! План — на двести!
Нами все довольны в тресте.
Что хандришь, как семга в тесте?
Кто с деньгами — не хандрит,
Можешь ты купить с полочки
телевизор самый лучший —
пусть футбол тебя бодрит
в дальнем городе Мадрид.

Но с какой-то горькой мукой
на жену свою под мухой
замахнешься ты, грозя,
и сдадут внезапно нервы —
вздрагнешь: будто бы у нерпы,
у нее кричат глаза...

Северное море

НЕРАВНОДУШНАЯ ПРИРОДА

Ну разве может быть у шкурника,
у прохиндея, торгаша
душа бродяги и ушкуйника —
исконно русская душа?

Но за водчонкой и закускою,
на хлеб насыпавши сольцы:
«Люблю природу нашу русскую!» —
вздыхают часто подлецы.

И едут к зарослям и порослям,
все вздыхая о Руси,
чтоб отдохнуть от прежних подлостей,
для новых — силы обрести.

Но, подозрительно зажавшаяся,
природа чувствует всегда

тупых, завравшихся, зажавшихся
и гневно прячется в себя.

Когда, лоснясь, охотой балуется
самоуверенный долдон,
цветы ему не улыбаются,
хоть он в обратном убежден.

Когда подлец с невинным спиннингом
фальшиво песенки мычит,
то лес глядит угрюмым схимником,
лес изучающе молчит.

Они к природе обращаются,
ну а не ведают о том,
что вся природа отвергается
от них с презреньем и стыдом.

ЛЕРМОНТОВ

О ком под полозьями плачет
сырой петербургский ледок?
Куда этой полночью скачет
исхлестанный снегом седок?

Глядит он вокруг прокаженно,
а рот ненавидяще сжат.
В двух карих зрачках пригвожденно
два Пушкина мертвых лежат.

Сквозь вас, петербургские пурги,
он видит свой рок впереди
еще до мартыновской пули
с дантесовской пулей в груди.

И в полночь — от света, от черни,
от впавших в растленье и лень

несется он тенью отмщенья
за ту неотмщенную тень.

В нем зрелость не мальчика — мужа,
холодная как острие.
Дитя сострадания — муза,
но ненависть — нянька ее.

И надо в дуэли доспорить,
хотя после стольких потерь
найти секундантов достойных
немыслимо трудно теперь.

Но пушкинский голос гражданства
к барьеру толкает: «Иди!»
...Поэты в России рождались
с дантесовской пулей в груди.

ВЗДОХ

Он замкнут,
старый друг мой,
замкнут.

Он внутрь себя собою загнан.
Закрыл он, будто бы колодец,
глубины темные тоски,
и мысли в крышку ту колотят
и разбивают кулаки.

Он этих мыслей не расскажет,
он их не выплачет навзрыд,
и все в нем глухо нарастает,
и я боюсь,

что будет взрыв.

Но взрыва нет,
а только вздох,
и вздох —

как слезы бабьи в стог,
как моря судорожный всхлип
у мокрых сумеречных глыб.

Я раньше был открыт-открыт,
ни в чем себя не сдерживал,

за что и был судьбой отбрит,
как женщиной насмешливой.
И я устал.

Я замкнут стал.
Я доверяться перестал.
Себя порою во хмелю
почти на взрыве я ловлю,
но взрыва нет,
а только вздох,
и вздох —

как слезы бабьи в стог,
как моря судорожный всхлип
у мокрых сумеречных глыб.

Мой старый друг,
мой нелюдим,
давай, как прежде, посидим,
давай по чарочке нальем,
давай вздохнем —
уже вдвоем...

ПАМЯТИ ПОЭТА КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

Я никогда не забуду про Ксюшу,
Ксюшу,
 похожую на простушку,
с глазами косившими,
 рябоватую,
в чем виноватую?
 Виноватую
в том, что была рябовата,
 косила
и некрасивые платья носила...

Что ей от нас было, собственно, надо?
Доброй улыбки,
 стакан лимонада,
да чтоб стихи хоть немножко печатали,
и чтобы приняли Ксюшу в писатели...

Мы лимонада ей, в общем, давали,
ну а вот доброй улыбки —
 едва ли,
даже давали ей малые прибыли,
только в писатели Ксюшу не приняли,
ибо блюстителю наши моральные
определили —
 она ненормальная...

Люди,
 нормальные до отвращения,
вы —
 ненормальные от рождения.
Вам ли понять,
 что, исполнена мужества,
Ксюша была беременна музыкой?

Так и в гробу наша Ксюша лежала.
На животе она руки держала,
будто она охраняла негромко
в нем находящегося ребенка...

Ну а вот вы-то,
 чем вы беременны?
Музыкой, что ли,
 или бореньями?
Что вы кичитесь вашей бесплотностью,
люди,
 беременные бесплодностью?
Вам не простится
 за бедную Ксюшу.
Вам отомстится
 за Ксюшину душу.

Владимир Соколов

* * *

Когда смеются за спиной,
Мне кажется, что надо мной.

Когда дурное говорят
О ком-то, ясного яснее,
Потупив угнетенно взгляд,
Я чувствую, что покраснею.

Да, да. Как будто что украв,
Как будто жду разоблаченья,
Как перекрасившийся граф,
Скрывающий происхождение.

А если тяжкий снег идет
И никому в метель не выйти,
Не прогуляться у ворот,
Мне хочется сказать: простите.

Но я хитрец. Я берегу
Сознание того, что рядом
На москворецком берегу
Есть дом ее с крутым фасадом.

Она, не потупляя взгляд,
Когда метель недвижно ляжет,
Придет ко мне и тихо скажет,
Что я ни в чем не виноват.

* * *

Художник должен быть закрепощен,
Чтоб ощущал достойную свободу,
Чтоб понимал когда и что почем
Не суете, а доблести в угоду.

Художник должен быть закрепощен,
Как раб труда, достоинства и чести,
Ведь лишь тогда, питомец мира, он
Как слово точно взятое — на месте.

Художник может быть раскрепощен,
Когда мальчонка ритмы отмеряет
Своей ручонкой — явь его и сон.
Но он тогда от счастья
Умирает.

Художник знает музыку и цвет,
Он никогда не бог и не безбожник.
Он только мастер, сеятель, поэт.
На двух ногах стоит его треножник.

Одно замечу, обрывая стих,
Хоть в нем одном и участь и отрада,—
В монархии подобных крепостных
Царей-освободителей
Не надо!

* * *

Время движется, трудится маятник,
Как рабочий, как молот его...
Заказал бы я сам себе памятник,
Чтоб не мучить потом никого.

Время движется, серп его трудится,
Травкосит как надо коса.
Я уверен — мечта моя сбудется.
Будет утро и будет роса.

Очевидно, у нашего племени
Молодой всесоюзной крови
Впереди еще множество времени.
Только делай и только живи.

Так и делаем. Мается маятник.
Молот бьет. И работает серп.
Заказал бы я сам себе памятник,
Да надеюсь на общий. На герб.

НА РОДИНЕ

Белая зима. Белая зима.
Синий воздух. Синие следы.
Я сойду от радости с ума,
Поумнев тем самым.
Белые дома. Серые дома.
Блестки ослепительной слюды
На пути на санном.

Я давным-давно не был у себя,
В приозерном нашем Лихославле.
Кочевал, минуты торопя,
По большим дорогам.
Дальние пути. Родина, прости.
Преданность и нежность не ослабли.
Думалось о многом.

Алексей Смольников

* * *

О, как трудно жилось тебе, сердце!
Что же с нами творилось в пути?
Точно пленник, ты билось за дверцей,
Как в изгнании, жило в груди.

И корили тебя, и ругали,
От себя отлучали, скорбя.
Невниманьем тебя уязвляли
И в беде оставляли тебя.

А бывало, и наземь бросали,
Чтобы разом все счесть свести.
И не биться тебя принуждали,
А могло ль ты не биться в груди?

Как с дурнушкой, что выданья ради
В свет выводит родитель иной,

ВЫСТРЕЛ НА МАШУКЕ

Покоя мне тот выстрел не дает!
В крови твой лист, оборванная повесть...
Как ни крути, но где стреляют в совесть,
Там, без сомненья, совесть не в чести.

Покоя мне тот выстрел не дает!
Уходят неотмщенными убийцы.

Белая зима. Серые дома.
Синий март в каком-то пьяном снеге.
Все, что было сердца и ума,
Я привез отчизне.
Рельсы. Переезд. Запах наших мест.
Гарь. Навозец. Сани да телеги.
Мне не хватает жизни,

Чтобы оплатить синь твою и хлеб,
На которых я выросал и креп.
Трактор. Девки. Парни.
Рельсов перегуд. Школьники бегут.
Дух весны над звоном их судеб.
Дух хлебопекарни.

Приукрасив тебя, припомадив,
Выходили на праздник с тобой.

В дни торжеств, точно боги, с трибуны
Не к тебе обращались, к уму —
Будто пасынок ты неразумный
И с тобой говорить ни к чему.

А когда ты в комочек сжималось
От бесчестья и боли такой,
Как больному, тебе улыбались
Люди, жившие рядом с тобой.

И годами ты в клетке стучало,
Называемой клеткой грудной.
И не многих на свете смущало,
Что лишь медики знали с тобой.

Уходят на виду, не пряча лица,
И некому пощечины влепить!

Покоя мне тот выстрел не дает.
Уж звук его давно затих, да эхо
Вторую сотню лет стоит, как веха.
Щемит в груди вторую сотню лет.

Вадим Семернин

С. С. ПРОКОФЬЕВ

Уже к постели был прикован
И по рукам
 и по ногам —
Сергей Сергеевич Прокофьев
Молчал спокойно,
 как орган...

Потом случилось — как начало,
Как ненаписанный концерт:
С минуту
 музыка звучала...
И все оборвалось в конце.

Его кладут в футляр, как скрипку.
На крышку черную
 с угла,
Как будто грустная улыбка,
Мимозы веточка легла.

Цветы! Ты их достань попробуй,
Пробейся сквозь поток толпы!..

Ведь вся Москва
 другому гробу
Несла торжественно цветы.

И все же с самой ранней рани,
Чуть сгасли звездные угли,
Ему
 и флоксы и герани
С квартир московских понесли.

Все было правильно
 и просто...
Оркестры пели о другом.
А здесь один печальный Ойстрах
Водил над скрипкою
 смычком...

Как шторы,
 тени провисали.
Молчал спокойно великан,
Как в опустевшем
 темном зале
Забытый публикой орган.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АНЦИФЕРОВА

Все кончилось,
 как камень канул в реку...
Крепились шахты из последних сил.
Как будто ты ушел от нас по штреку
И незаметно лампу погасил.

Литинститут, как старец,
 в непогоду
Теперь еще и по тебе грустит...
Ты очень редко выдавал породу —
Анциферовский больше антрацит!

Мы о труде писали часто очень,
О том, что труд полезен и здоров.
А ты,
 как тачку, жизнь катил к рабочим,
Собой не утруждая докторов.

И я не верю,
 просто не приемлю
Той беспощадной правды без добра:
Что ты спустился навсегда под землю
И ни строки не выдашь на-гора!..

Анатолий Поперечный

* * *

Не дровосек и не рыбак,
Но по себе руби ты дерево,
Но по руке весло вымеривай.
В рисковом деле только так.

Мне в жизни крепко не везло,
Мне попадало от ремесел:
В ладонь въедалось мне весло,
Мне гнуло спину ремесло,
И я весло однажды бросил.

Я рыбу красную глушил,
Ее в корзинах алой ранью
По шатким сходям выносил,
Как будто солнцу на закланье.

Меня стихия лет несла,
Мной жизнь невесело играла.
Я шел на поиск ремесла,
А ремесло меня теряло.
И был обычен поиск тот —
Без страха и без покаянья.
Был горек,
но не сладок
пот,
И значит, не было призванья...

А жизнь звала за перевал,
За тридевять земель,
далече,
И замечал народ при встрече,
Что парень вроде крепче стал
И шире в мир раздались плечи.

Так, значит, все же неспроста
На веслах нагулял мозоли
И слеп от пота и от соли
Под ношей тяжкого труда...

И если слово проросло
Под вздохи рыб и всплески весел,
Не осудите, люди, зло,
Что ремесла-то я не бросил;

Что было все —
сомненья,
страх,

Восторг, и боль,
и покаянье.
Но чуял запах я в словах
И видел в том свое призванье...

И все ж, в смятенье,
по ночам
Я слышу их, уключин звуки,
По веслам сохнут мои руки,
И грудь тоскует по ветрам!

Анатолий Жигулин

ТЕБЕРДА

Теберда, Теберда!
Голубая вода!
Ледяная вода
Из домбайского льда.

Никогда я не видел
Воды холодней,
Ничего не встречал
Крепче этих камней,
Что упрямо и трудно
Шлифует река,
Отражая в воде
Облака...

А над речкой
В зеленых долинах живет
Молчаливый
И гордый народ.

Сколько лет
От родимой земли вдалеке
Их катала судьба,
Словно камни в реке?!

Потому холодна
И прозрачна вода.
Видно, в ней растворилась
Печаль и беда.
Навсегда.

ПОЕЗД

Мела пурга, протяжно воя.
И до рассвета, ровно в пять,
Нас выводили под конвоем
Пути от снега расчищать.

Не грели рваные бушлаты.
Костры пылали на ветру.
И деревянные лопаты
Стучали глухо в мерзлоту.

И, чуть видны в неровных вспышках
Забитых снегом фонарей,
Вдоль полотна чернели вышки
Тревожно спящих лагерей.

А из морозной,
Черной чащи,
Дым над тайгой распластав,
Могучий,
Огненный,
Гудящий,
В лавине снега шел состав.
Стонали буксы и колеса,
Густое месиво кроша.

А мы стояли вдоль откоса,
В худые варежки дыша.

Страна моя!
В снегу по пояс,
Через невзгоды и пургу
Ты шла вперед, как этот поезд —
Дорогой трудной
Сквозь тайгу!

И мы
За дальними снегами,
В заносах,
На пути крутом,
Тому движенью помогали
Своим нерадостным трудом.

В глухую ночь,
Забыв о боли,
Мы шли на ветер, бьющий в грудь,
По нашей воле
И неволе
С тобой
Делили
Трудный путь.

Татьяна Глушкова

ЗИМА

Серебряное Подмоскowie:
деревья, поезда, снега.
Зимовье, белое тосковье,
льняные, хрусткие снега.

Но даже в белом — озаренье,
поляна круглая — в обхват;
как белые стихотворенья,
березы белые стоят.

А я все варежкой — по елям,
по смугло-розовым бокам.

— Скажи, куда же мы поедем,
да чтоб дорога далека?

Да чтобы спутанные рельсы
вдруг санным падали путем,
да чтобы — степью, чтобы — лесом
на рыжей лошади верхом.

Но нет, я только у порога,
треплю горошковый платок,
и час глухой, и дом порожний,
а конь ведь — только Горбунок!

ИЗ «ПУШКИНСКОЙ ТЕТРАДИ»

И поделом! И поделом!
Он это знал, когда смеялся,
когда за праздничным столом
с хрустальной чашей подымался.

Он знал свой час, он знал в тот миг
(зачем влекла его опасность?),
когда он к женщине приник,
что всех враждебней и прекрасней.

Она была как облака,
глядела длинными глазами,
его тоска — ее рука
его словами и слезами

еще влажна, еще жива,
еще отыщет постоянство,
и пощадит ее молва —
и лебединость, и лукавство.

Он знал: ему не получить
охранных грамот и прощенья,
когда слагал в своей ночи
жестокосердцу восхваленье.

Он видел: взмоет воронье,
когда, взволнованно-спокойный,

так высоко и так достойно
ронял достоинство свое.

И пробил час, и засверкал
прощальный луч, и свет, и иней.
Он мстил, и гибнул, и страдал,
и был сражен. Он сам повинен.

А ты все ищешь на снегу
проталину его дыханья...
А ты все ищешь на снегу
причину странного незнанья...

Зачем поэты так добры?
Зачем вверяются неверным?
Зачем смешны? Зачем щедрый?
Зачем заклеены доверьем?

И каждому — короткий век,
и тот как будто в долг отпущен,
и бесконечный человек:
«Дай слово. Ты мне веришь, Пушкин!»

Но, слыша шорохи беды,
мы глухи, слабы, своенравны,
и, кожей белою бледны,
мы всё доверчивы, как мавры.

Артур Корнеев

ПОРТРЕТ ОТЦА

Я рос в семье многострадальной.
Лишь с фотографий на стене
Сквозь фантастическую дальность
Мужчины улыбались мне.
Один плечист. В петлицах шпалы.
И ярк блеск бесстрашных глаз.
Другой — такой же добрый малый,
Каким я выгляжу сейчас.
Один пропал в военной вьюге,
Судьба другого — горше нет...
Я помню день, когда в испуге
Его мы спрятали портрет.
Тогда холодной пустотою
Дохнула черная гроза,
Тогда блеснула надо мною
Мир отразившая слеза.
Я рос в семье сердечно русской,
Где все доверено вполне
Мирской, не ведающей русла,
Неунывающей волне.
Где жизнь — с полочки до полочки.
Была беспечная нужда
Враждебна тем благополучью,
Что не таилась никогда.
И в этом главная причина
Того, что дальняя родня —
Благополучные мужчины
Брались воспитывать меня.
Меня учили с укоризной,
А я глядел не просто так
Туда, где правильно призмой
Лежал мой каменный барак.

Меня учили и не знали,
Что в каждой драке, как в бою,
Я преднамеренный экзамен
На званье смелого сдаю,
Что в детском сердце
Рваной раной
Носил единственный секрет,
Что должен поздно или рано
Прочесть я спрятанный портрет
И, все узнав, ответить: кто я?..
Готов ли в настоящий бой?..
...Я не обижен был судьбою —
России,
Родины судьбой.
Имел я праведное право —
Уже в цеху встречая мать,
Пускать станок,
Железо плавить,
Высокой мудрости внимать...
Я к свету шел,
Я годы помнил,
И все усиливался свет,
И грянул день,
Когда я поднял
Из мрака долгого портрет!
Украсил лентой ярко-алой,
Сказал негромко,
В первый раз:
Он был такой же
Добрый малый,
Каким я выгляжу сейчас.

Владимир Туркин

ВЕТЕР

Все, что живет, — все спарено на свете.
Гром с тишиной и те живут вдвоем.
Кочует по планете только ветер
В могучем одиночестве своем.
То вверх стрелой,
То пластуном по кругу,
По крышам, по перронам, по лесам...
И он давно б нашел свою подругу,
Да кто она — так и не знает сам.
Ему наивно кажется порою,
Что среди долгой вековой возни
Она уже однажды под горою
Явилась, но исчезла, черт возьми!
Увидел, размечтавшуюся к ночи,
Девчонку у открытого окна,
Откинул локон, заглянул ей в очи.
Ладонью заслонилась... Не она.
Ощупывает травы по лощинам,
Деревья отгибает и кусты,
И под ноги соперникам мужчинам
Срывает камни с гордой высоты.
На облака накинется — и в клочья! —
Не прячут ли они его судьбу?..
И вот, вконец измучившийся, ночью
Проникнет в деревенскую избу,
Всё — от порога к лавке — по-собачьи
Обнюхает... Но, выгнанный людьми,
Он в тундру уползет. И там — заплачет.
Навзрыд заплачет. О своей любви.
Потом вернется к людям — разозленный
Замесит море, скомкает волну,
Чтобы, как скульптор, из воды зеленой
Неповторимо вылепить одну:
«Явись реальной! Плачь иль улыбайся!
Возникни ощутимой — будь жива!»
И море растекается сквозь пальцы
И обшивает берег в кружева,
Как будто бы приданое готовит
К ее приходу в этот белый свет...
Но в сотый раз приданое утонет,
Уйдет в песок,
В босой девичий след, —
А ветру вновь искать одну из женщин
И вновь рыдать...
Откуда знать ему,
Что он с капризной вечностью обвенчан.
С зовущей всех.
Неверной никому.

* * *

Надо сразу старым бы родиться.
В старую бы женщину влюбиться,
Кольца обручальные надеть
И от года к году молодеть.

Надо сразу старым бы родиться,
Чтобы ничему не удивиться.
Удивляться ж,
По ступенькам дней
Опускаясь к юности своей.

Надо сразу старым бы родиться.
Лишь потом ребенком обратиться:
Маму беззащитно обнимать,
В мире ничего не понимать.

Надо сразу старым бы родиться,
Чтобы знать, как жизнью насладиться.
Сверху вниз познав все наслажденья,
Умереть.
...В предчувствии рожденья.

* * *

А все во мне как дно морское.
Не видно — что там в глубине.
Не прочитаешь,
Не раскроешь
Морские тайны по волне.

Слова,
Как волны в час раздолья,
Рябят бумажное стекло,
Не выражая сотой доли
Того,
Что на сердце легло.

* * *

И все же океан я не люблю.
Не потому, что перед ним робею.
Пускай он остается колыбелью
Бегущему куда-то кораблю.

Но мне он представляется вельможей,
Отъевшимся за счет речных щедрот:
Колышется,
А двигаться не может,
Тогда как реки —
Двигутся вперед.

* * *

Сейчас обязан думать человек,
Придет ли к людям XXI век.
Иль в полыханье атомной зари
Настольные сгорят календари,
И клинопись в пещерной тишине
Сползет
Слезой
Горящей
По стене.

Сегодня должен думать человек,
Придет ли к людям XXI век.
Иль марсианин впишет в свой дневник,
Как по вселенной прокатился крик

И он увидел искаженный лик
Земли,
Что, содрогаясь и звеня,
С распущенными косами огня,
Упала в бездну,
В вековую даль,
С хвостом
Орбиты,
Скрученной
В спираль.

Сейчас обязан думать человек,
Чтоб он пришел к нам — XXI век!

ЗВЕЗДОЧКА

Слова А. Жарова

Музыка К. Листова

1

В пламени сражений
за родную власть
На армейском шлеме
звездочка зажглась.
И на бескозырке
в тот же самый миг
На морском просторе
свет ее возник...

МАРШЕОБРАЗНО

1. В пла-ме-ни сра-же-ний за род-ную
власть на ар-мей-ском шле-ме
звез-доч-ка заж-глась. И на бес-ко-

2

Закачались тени,
задрожала мгла.
Звездочка сияла,
звездочка росла.
Смело сокрушая
лютую беду,
Мы несли по свету
красную звезду.

зыр-ке в тот же са-мый миг
на морском про-сто-ре свет е-е воз-
ник! Эх, на мор-ском про-

3

На войне гражданской
и в большой войне
Звездочка светилась
с солнцем наравне.
В ней — отчизны слава,
и народа честь,
И моя, товарищ,
капля крови есть.

сто-ре свет е-е воз-ник
e!

4

С ней мы победили
злобного врага.
Сила нашей правды
миру дорога!
С нею отстояли
счастье мы свое.
Сам товарищ Ленин
зажигал ее.

Геннадий Колесников

ПРЕДАННОСТЬ

Пропахла рыбой,
Словно невода,
Косматая
У деда борода.
И, как в ракушках,
У него в ушах
Гуденье рек
И шорох камыша.
Выходит дед
К раскатистой реке,
И трость дрожит

В его сухой руке.
Тужурку сняв,
Он лодку здесь смолит
И льдинам вслед,
Прищурившись, глядит.
Глаза его
Слезятся на ветру,
В них — синий дым,
Как в поле поутру.
И, словно белый пламень
Над костром,

Бушуют кудри
Над высоким лбом.
Не верит дед
Ни в черта,
Ни в Христа!
Ему осталось
Десять лет до ста.
Старик смолит,
Смахнув ладонью пот,
Хоть никуда
Уже не поплывет.

СЧАСТЬЕ

Мне месяц
Строил рожки.
Вот чудак,
Опутывал
Серебряными путами.
Трава была удобной,
Как гамак.
Я засыпал...
И снилось мне,
Как будто бы
Идет по Волге женщина,
Одна.
Ночной туман
Обнял ее за талию.
Идет она,
Безмолвна
И бледна,
И веет от нее
Тревожной тайною.
Мерцают косы,
Слышен тихий плеск,
Идет она,
Загадочна,
Божеественна,
В глазах ее —
Холодный,
Синий блеск,
И вся она
Прозрачна
И торжественна.
И грудь ее
Ветрам оголена,

И бровь ее лучистая
Изломана.
Наверное,
Такая, как она,
Никем еще
На свете не целована.
Кричу ей: «Кто ты?
Как тебя зовут?
Не мне ль тобой
Свидание обещано?» —
«Я по ночам
Всегда гуляю тут.
Я Счастье», —
Тихо отвечает
Женщина.
Я руки протянул...
Какой обман!
Открыл глаза:
Сверкали росы светлые.
Сквозь пальцы
По рукам скользил
Туман,
В реке качались
Звезды предрассветные.
Уселась на травинку
Стрекоза.
Я понял, глядя,
Как она качается,
Что счастье — это
Открывать глаза
И чувствовать,
Как солнце поднимается.

СЛИТКИ СОЛНЦА

Я вор!
Открыто в этом признаюсь.
И грабежи мои неисчислимы.
Я с детства грабил яблони
и сливы.
И наказанья,
право,
не боюсь.
Напевы птиц украл я у лесов,
У дымных трав — душистый,
вкусный запах.
В меня палили грозы дружным залпом,
Пугали по ночам глазища сов.
...Дрожали звезды синие в реке,
Березы облетевшие молчали,
И я украл у тех берез...
печали
И скрылся,
не замеченный никем.
Совсем недавно,
в утренний мороз,
Я из соснового густого бора
Унес дыханье юности и бодрость,
И смех сосны,
и звон снегов унес!
Ты — мой судья.
Приди и конфискуй.
Я все отдам:
дожди
и слитки солнца,
Все,
что запрятал я в глубинах сердца,
Отдам тебе за первый поцелуй.

РЕЧНОЙ ТРАМВАЙЧИК

Трамвайчик радиолою гремит,
Он по реке плетется по-обозьи.
Трамвайчик тем на Волге знаменит,
Что сроду знаменитостей не возит.
Он предлагает жесткую скамью,
Прохладный ветер и (бывает) пиво.
Он предлагает палубу свою
Не для проказ любовных, не для пира.
А для чего пластинки крутят тут?
Чтоб было веселее пассажирам,
Чтоб про еду забыл, кто очень худ,
Про духоту забыл, кто очень жирный.
Там, на пластинке, дует негр в трубу,
Здесь, на скамейке, грудь мусолит
мальчик.

В такой музыке просто ни бум-бум
Ни мальчик, ни мамаша, ни трамвайчик.
А мимо проплывает пароход,
Такой большой, блистающий и важный,
И кто-то написал на нем
«ОТВАЖНЫЙ».

Как щедро кто-то слово раздает.
«ОТВАЖНЫЙ» во всю Волгу наследил,
А наш трамвайчик маленький качает,
Как будто он за это отвечает,
Как будто он виной волненью был.
Пыхтя, проходит рядышком баржа,
Селедкой от нее несет, бензином,
Трамвайчик обозвала образиной,
Прикрикнув на него, как госпожа.
Прищутив глаз, глядели маяки,
Трамвайчик волны к берегу прижали,
Ему навстречу глиссеры бежали
И тоже мимоходом обижали,
Как будто было мало им реки.
Вдруг впереди на солнце замелькал
Бумажный полутонущий кораблик.
Трамвайчик загудел: «С дороги, карлик!
А ты, паршивец, как сюда попал?
А ты зачем реке огромной нужен?
Твоя судьба — тонуть не здесь, а
в луже».

Бумажный что-то спорить с ним не стал,
Тонул надменно, даже нос задрал.

А я, щекой упав на кулаки,
Припомнил тихий свет твоей улыбки.
Играли блики. И казалось, рыбки
Выпрыгивают стайкой из реки.

МОРЕ

Страшно хочется моря!
Чтоб меня буревестники звали,
Чтоб гудело в ушах
И слезило в глазах

от ветров.

Страшно хочется моря!
Чтобы руки по травам скучали,
Чтоб у самого солнца
Услышать во сне

петухов.

Страшно хочется моря!
Как ракушке, украсившей столик,
Не хватает теченья
И светом пронизанных струй.
Страшно хочется моря!
Где под чайками плачет и стонет
Отсигналивший, старый,
Пароходом покинутый
буй.

Страшно хочется моря!
Где запутались радуги в пене,
Где от звезд по ночам,
Как от счастья, кружит
в голове.

Страшно хочется моря!
Чтобы мышцы в работе запели,
Чтоб соленые сети
Горели от рыб
в синеве!

СЛЕПОЙ ЖУРАВЛЬ

Про эту ночь не вспомнить не могу,
Я в эту ночь раздумьями был ранен.
Мы жгли костер на темном берегу,
Окружены травой и комарами.
Шуршал огонь. Вдали мигал маяк.
Легенду мне рассказывал рыбак:
«Из жарких, из чужих далеких стран
Слепой журавль в Россию возвращался.
И ливень нависал над ним, и страх,
Но он летел, с дороги не сбивался.
Летел один, отстав от стаи, слеп,
Дуплетами гроза в него палила!
Сырое, страшно темное, как склеп,
Чужое небо на него давило.
Ему в пути ни солнце, ни звезда
И ни моря, ни реки не светили,
Под ним перекликались поезда,
Над ним тревожно самолеты выли.
А он летел, в пути со стоном пел,
И в той печальной песне журавлиной —
Весенний луг на солнце зеленел,
А к лугу конь склонялся желтой гривой.
Летел журавль из последних сил.
Отстукивало сердце километры.
И вот почуял он родную синь,
И вот березами запахи ветры.
И он родное озеро нашел,
Узнав его по голосу, спустился,
На берегу дыханье перевел,
Над рябью наклонился и напился.
Незрячим оком дали оглядел
И вдруг от света родины прозрел!»

Рыбак умолк. А я себя спросил:
А смог бы я, как птица из рассказа,
По голосу узнать родную синь?
Найти дорогу к Родине безглазым?
И сам себе ответил: смог бы, смог!
Чтоб отыскать из всех земных дорог
Дорогу к Родине — достаточно мне
сердца.

Николай Старшинов



Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.

П. Коган

Обожаю круги и овалы —
Мне от них не уйти никуда.
Помню, камушек бросишь, бывало, —
Вся кругами займется вода.

Отсчитав хлопотливые сутки,
Новый круг начинают часы, —
На овальном листе не забудки
Блещут круглые капли росы.

А колечки волнистого дыма,
А годичные кольца стволов?..
О овальные плечи любимой,
Слава богу, что вы без углов!

И, конечно, поэту, что с детства
Только угол один рисовал,
Был в его угловатое сердце
Замечательно вписан овал.

Без овалов природа — ни шагу,
Вот ее вековая резьба:
Видишь круглые бусинки ягод
И овальную шляпку гриба.

И к чему она ни прикоснется,
Постарается сгладить углы.
И родная планета, и солнце,
Как зрачки моей милой, круглы.

ПОСЛЕ РЫБАЛКИ

Застигнутые тьмой,
Угомонились галки.
И сам я по прямой
Иду домой с рыбалки.

Оврагами иду
И слышу песню птичьую.
И сам я на ходу
Тихонечко мурлычу.

Пускай, оставив дом
Еще порой ночью,
Промок я под дождем
И побурел от зноя.

Пускай на дне мешка
Нет ни единой рыбы, —

Тебе, моя река,
Я говорю: спасибо!

За шум твоих осок,
Сулящий непогоду,
И просто за песок,
За солнечную воду,

За ноги в стынь-росе
И за самозабвенье.
За всякие и все
Счастливые мгновенья.

...Луна, как лещ, кругла, —
Ни облака, ни ветра.
И тень за мной легла
На четверть километра.

Павел Радимов

ВАСИЛЬКИ

Каждый день на другой не похож.
Зацвела колосистая рожь.

Тянет маревом теплым над паром.
Жаворонок в лазури недаром

Говорливо поет свысока,
В речке клонит листом осока,

И на отмели, где кулики,
Дар девчонок, лежат васильки.

АБРАМЦЕВО

Растет на пригорке калина
И белым осыпана цветом,
И звонкая солнечным летом
Послышалась песня мне где-то.

И как не запеть, по дороге
Бродя с пешеходной котомкой,
Любуясь родною сторонкой,
Где ветер летает не строгий,

Где речка под берегом бьется
Струей золотой говорливой.
«Абрамцево» местность зовется,
Там в зной колыхаются ивы.

ЗАПЯСТЬЕ

Я в лес вступил, и шумный гомон
Меня приветствовал листвою,
Я понял все: я снова дома
И свод на небе голубой,

И солнце светит как обычно,
И в тихом серебре река,
Подругу чибис кличет зычно,
Над осокóй два кулика.

Мой край, любовь моя и счастье
И легкой лентой облака,
Ручей свернулся, как запястье,
Даль синеока, высока.

Дмитрий Голубков

ВЕСЕННИЙ РУЧЕЙ

Мчит
Шумнее электропоезда,
С каждым часом все горячей,
И в обвисшем овраге роется
Оглушенный собой ручей.

Он спешит.
Он трубит воинственно,
Оголенным ольхам грубя.
Он расходится.
Он воистину
Ощущает морем себя!

И куражится он,
И бесится,
Гомоня в лесу до утра...
Он зачахнет через полмесяца,
Но сегодня —
его пора!

Григорий Корин

ПОДСНЕЖНИКИ

Я учу находить подснежники
Мою дочь.
И злюсь и ворчу.
Отучаю ее от поспешности
И внимательности учу.
Хлопочу я
Над грудой валежника,
Изо всех
Я стараюсь сил.
А она набирает подснежники
Там, где лес я зря ворошил.
Все кругом своим ором наполнила,
И бегом,

И вьюнком,
И волчком
По корням,
По валежинам солнечным —
От цветка
За другим цветком.
Меж стволами,
Как в уличной сутолоке,
Я за ней поспеваю едва,
Освещают тропу мне в сумерках
Две руки ее —
Два торжества.

Антон Пришелец

АПРЕЛЬ

Я б хотел, чтобы мы
Никогда не старели,
Чтоб гремели
И пели,
Как реки в апреле!

Чтобы черт,
Несмотря на волос серебро,
Не давал бы покоя,
Толкал под ребро:

— Видишь, друг,
Что вокруг
И лучи,
И ручьи,
И грачи?
Будь со всеми,
Как все.
И свети!
И сверкай!
И кричи!
И на всех поворотах,

В любую минуту,
Как любимой в лицо,
Улыбайся кому-то.

Жди удачу во всем,
Неудачи не жди —
Никаких неудач
Не пророчь впереди!

А года — что года?
Мы не красны девицы.
Жизнь всегда молода,
Может все еще сбыться.

Стоит жить!
Будем жить!

В сентябре ли,
В апреле,
Я хочу,
Чтобы мы
Никогда не старели!

Иван Лыцов

* * *

Поуронили
 слово русское!
А то, которое в ходу,
Оно в плечах такое узкое,
Что не узнать и на виду.
Им не ожечь
 и не обрадовать,
Мужской не высечь им слезы.
Такою речью лишь
 обкрадывать
То плеск грозы,
 то блеск лозы!
И сами ж по-сиротски плачемся,
Что не читает нас народ,
Хотя с лихвою им оплачиваемся
И в урожай,
 и в недород...

А там, где о метро не слышали,
Да, там,
 пугая детвору,
Ночами сполохи над крышами
Ведут звонливую игру.
Там бабы носят юбки сборочкой,
И, как волшебник, разнолик —
То плавный,
 то скороговорочкой, —
Живет великий наш язык!
Одно из двух:
 иль мы не русские,
Иль обронили где слова,
Пока пути-дороги труские
Не привели к тебе,
 Москва...

ТУНДРА

Тундра — девушка-печальница,
Плечи круглые в снегу.
Тундра — девочка-молчальница
На студеном берегу.

Плат себе в березки вышила,
Куропатки — на кайму.

Ты к кому на Север вышла?
В море самое — к кому?

С небом хмурым перевенчана,
Вся продрогшая насквозь,
Ты уйди в луга заречные,
Бела тела не морозь...

КРУЖЕВНИЦА

Прилетали стрекозыньки —
Их брала,
Золотым по белому
Шитво вела,

Перепелки в небушке
Мяли синь,
Лопушки жгли лапушки
О теплынь,

Ручеек позванивал-
Напевал,
Ветерок повеивал-
Навевал, —

Все, что любо душеньке
С давних пор, —

Все брала в рединочку
На узор.

— Ой, не сдуй на кружево:
Упорхнет,
Копошуна-шмелика
С трав смахнет.

Сострекочет стрекотом
Стрекоза,
Вскинется серебряшком
Вся лоза.

Или там, где лилия
Льнет к волне,
Роска сбелу сронится
В тишине...

РЕЧЬ О КАСПИИ

Почему-то люблю я Каспий
Больше всяких других морей:
Независим он, как не каждый,
Горьковатой волной своей!

Грубоватый, сутуловатый,
Он, как Шолохов, не кичлив,
От столичных далековатый
Суеящихся величин.

Иногда лишь в столицу тихо
Теплоходом придет. И то

Долго Волгу он мастерику
Благодарствует все за то.

И опять на века работа
В стороне своей ветровой!
«Тихий Дон» свой без окорота
Пишет нефтью он игровой,

Пишет пляскою сельди в трюме,
Зорким катером сторожевым...
Я люблю его — и угрюмым,
И подвыпившим, и иным!

Юрий Панкратов

БРАКОНЬЕР

Не задетый полуденным летом,
нелюдимый, непрощеный, пеший,
человек пробирается лесом,
как пришедший из прошлого леший.

А над ним, как сверкающий лемех,
как холодный глоток молока,
проплывает взволнованный лебедь,
задевая крылом облака.

Рядом с озером, возле дороги,
за тропинкой, упавшей в карьер,
утопая в походной дерюге,
подымает ружье браконьер.

Пожелтевший, как бронзовый желудь,
ствол берданы дрожит на весу —
стукнул выстрел, сухой и тяжелый,
словно сук обломился в лесу.

Одуванчика марлевый венчик
разметала глухая гроза —
замолчал оглушенный кузнечик,
затрещала крылом стрекоза.

Но все так же, нетронутый градом,
белый лебедь плывет наяву...

Браконьер подозрительным взглядом
не мигая глядит в синеву.

Вдруг зрачок браконьера очнулся —
из-под шапки, густой как парик,
он увидел, что лебедь качнулся,
головой на землю поник.

И, мелькая, как сонная спица,
с высоты равнодушных небес
опускается мертвая птица
на дорогу, на реку, на лес.

Но, крылом облака пробивая,
обожженные яркой зарей,
он, себя как вино проливая,
все летит над притихшей землей.

Как грядущего подлинный лепет,
как седая судьба по руке,
в синеве пролетающий лебедь
отражается в звонкой реке.

А зеленая и зоревая,
о весне вспоминает река,
перебитым крылом задевая
проплывающие облака...

Инна Лиснянская

ПРИРОДА

Плебейские глаза.
Библейская слеза
Огромнее,
Чем озеро большое.
Природа,
Я твоё дитя,
Цивилизацией больное.
Природа,
Я — твоё дитя —
Все мышцы отдала машинам,
Ее рекламам и витринам,
И значит,
Я — уже не я.
И все же
Ты меня прими!
Быть блудной дочерью

Легко ли?
Росой молочной пройми
В глухом лесу,
Во чистом поле.
Твоя упругая смола
Как бы сосок коричневатый.
И снова,
Видишь,
Я мала,
Как некогда
И как когда-то...
Но знаешь все ты наперед
Своим первостепенным чувством,
Что дочь твоя,
Едва очнувшись,
В цивилизацию уйдет.

* * *

Умирала я —
Не умерла.
Ничего не пошло мне в науку.
Жизнь моя —
Эх, была не была —
По второму пускается кругу.
Мои окна, как прежде,
Глупы, —
Все пытаются с линзами спорить.
Мои сети,
Как дети, глупы, —
Все пытаются выловить море.

А оно
Как слеза меж ресниц,
Меж искусных капроновых нитей...
Ах, не надо мне больше больниц,
О больницах мне не говорите!
Я вернулась к прекрасной тщете:
Ловля моря —
Не злобное дело.
Я ушла из смертельных сетей,
Потому что
Я моря хотела.

Наталья Бурова

* * *

Правы соцветья — надо повторять
Торжественную красоту открытий,
Щедротами бесплодье укорять,
Традиционных жаждя событий.

Алеют вишни, чистым янтарем
Просвечивает солнечная спелость.

Мы от природы зрелое берем
И собственную торжествуем зрелость.

Что из того, что обусловлен путь
Непостоянством радостей и звуков, —
Ведь мы познаем всю земную суть
Плодами лета и глазами внуков.

Дмитрий Благой

ПРИБОЙ

Неукротимо споря
С неотвратимой судьбой,
Сонату ветра и моря
Разыгрывает прибой.

Дик, всклокочен, огромен,
Клавиши скал дробя,
Гремит, но глухой Бетховен
Сам не слышит себя.

Семен Липкин

У МОРЯ

Шумели волны под огнем маячным.
Я слушал их, и мне морской прибой
Казался однозвучным, однозначным:
Я молод был, я полон был собой.

Но вот теперь, иною сутью полный,
Опять стою у моря, и опять
Со мною разговаривают волны,
И я их начинаю понимать.

Есть волны-иволги и волны-прачки,
Есть волны-злыдни, скальды, колдуны.
Заклятьями сменяются заплачки
И бранью — стон из гулкой глубины.

Есть волны белые и полукровки,
Чья робость вдруг становится дерзка,
Есть волны — толстозадые торговки,
Торгующие кипенью с лотка.

Одни трепещут бегло и воздушно,
Другие — тугодумные умы..
Природа не бывает равнодушна,
Всегда ей нужно стать такой, как мы.

Природа — переводческая калька:
Мы подлинник, а копия она.
В былые дни была иною галька
И по-иному думала волна.

Валентин Ермаков

ОПЯТЬ ЛЕТАЮТ МАЙСКИЕ ЖУКИ

Опять летают майские жуки.
Сейчас ворвется Витька — и с порога
Затарактит: «Ты что сидишь? Ты что,
Не видишь, что жуки уже летают?!
Бежим к оврагу веники ломать!»

Мы пролетим сквозь реденький березник.
Ломать его — напрасно время тратить:
Листочки — как копейки, даже мельче.
Помчимся на черемуховый цвет.

Два веника — букета два тяжелых.
Теперь скорей на корточки, чтоб небо
Экраном засветилось, на котором
Жуки — как самолеты-бомбовозы,
Летающие на мирную Москву.

Сидим — не шевельнемся. Мы в засаде.
В тропинке мягкой пятки утопают.
Дымком пахнуло: где-то мусор жгут.
Корова промывала: заблудилась.

Глеб Еремеев

* * *

Я бы, верно, так и не ступил
в росный край поэзии ни шагу,
если бы не пил густую чагу
и туманы жидкие не пил.

Если бы до синего рассвета
у костра со старым лесником,
обжигаясь дымным кипятком,
не подслушивал дыханье лета.

В ЛЕСУ

В ночном лесу при ветерке
я распознать могу по скрипу
суровый дуб, седую липу,
осину, дрожкую в тоске.

Грибным туманом, влажной прелью
в лицо пахнет из темноты,

А вот поплыл с районной танцплощадки
В сезоне этом самый первый вальс.

— Эй, Витька, друг! Раскрой глаза
пошире.
Заслушался?.. Гляди, жуков-то сколько!
Ты что, уснул?!

Да, ты уснул навечно.
Ты на немецкой мине подорвался,
Когда мы собирали колоски.

Твоя могила странная — в саду.
Яичной разноцветной скорлупою
Она цветет под вишней... Мать стара:
С меньшим расстаться не хватило духу —
За домом приютила. Кто осудит? —
Двоих для фронта, одного — себе.

А на земле такая красота,
Что по спине мурашки пробегают.
Вставай скорей! Ты что лежишь? Ты что,
Не слышишь, что жуки уже летают?!
Бежим к оврагу веники ломать!

А потом бы всех дорог и троп
не прошел родным рассветным краем,
где мешается с грачным граем
мотоцикла бешеный галоп.

Если бы... да сколько этих «если» —
пройденных дорог и прошлых дней.
На земле все песни бы исчезли,
если их творить не вместе с ней.

и крупную росу кусты
осыпают на меня капелью.

И запахи, и звуки все
меня как будто вдруг позвали,
и я забуду их едва ли,
и весь до сердца я в росе.

Михаил Скуратов

ОБЛЕПИХА

Облепиха, облепиха,
Ягодка Сибири!
За тобой парнишкой лихо
Брел в таежной шири.

На кустах растешь ты рясно,
Цвета янтаря,
Духовитой, ананасной, —
Вплоть до января.

И подернута морозцем —
До чего ж вкусна!
Объеденье — да и просто!
И собой красна.

В горных надых, на Саянах,
Где мороз жесток,

Наберу ее, духмяной,
Полный туесок.

Запах славный, крепкий, стойкий,
Аж кидает в дрожь.
Облепиховой настойки
Лучше не найдешь.

Стану потчевать я званых.
Дам стакан-другой —
Дрожь трясучих лихоманок
Снимет как рукой!

И для птиц и для медведя —
Лакомый кусок...
Друг! Давай туда поедем...
Где наш туесок?

Анатолий Кудрейко

ГЛАЗА УРАЛА

А какие у него глаза?
Мне казалось, что они зеленые!
Двигались

 леса,
 леса,
 леса
не палены
 и не пиленые.

Свой цветной показывала фильм
кадр за кадром горная ботаника:
поднималась ель,
 спускался ильм,
обнимали камень
 ветви стланика...

Но Урал сказал мне:
 — Фантазер,
не одни вокруг леса лосины! —
И открылись мне глаза озер,
а глаза озер, конечно, синие.

Из его еланей и боров
шло голубоватое сияние, —

это, зелень леса поборов,
водное светилось достояние.

Но Урал сказал мне:
 — Погоди
из увиденного делать выводы, —
ждут иные виды впереди,
там, где это надо ради выгоды.

И тогда сошли на нет леса,
к взгорьям кинулись цеха с карьерами,
и Урала дымного глаза
стали мне казаться просто серыми!

А за гребнями
 истает дым —
горный лес
 над водоемом свесится,
и опять
 зеленый с голубым
самоцветно светятся
 и светятся!

Владимир Семакин

* * *

Купавы, колокольчики...
Едва придет весна,
все чаще, все настойчивей
звучат их имена.

Звучат — не разонравятся
крестьянские слова:
пастушья сумка, грабельцы,
дегтярка, серп-трава.

Не им в командировочных
стихах почет и честь.
Но есть трава веревочник,
тележник даже есть!

* * *

Над землей — спасибо солнцу! —
зной колышется пока,
доверяясь волоконцу
паука-крестовика.

Продержаться бы хоть малость,
как ни тонок волосок...
Ох, как лето защищалось
всеми саблями осок!

Не оно ли с камской поймы
прямо в тучи, в гущу их
расстреляло все обоймы
всех горошков луговых —

от гусиных до мышиных, —
бой нелегкий, роковой...
Вон туман стоит в лощинах,
словно дым пороховой.

И, завидя иней в окнах,
кто-то ляпнет под запал,
что лиловый пал окопник
и бессмертник тоже пал.

Только слухи эти лживы,
как ни вьюжно в феврале.
Пали травы — корни живы,
словно в крепости, в земле.

Герман Флоров

ЗВЕРИ

Звери,
Милые звери хорошие —
Барсук,
 бурундук
 и лошади.
Вы прошли тропы вчерашние,
Звери дикие и домашние.
Ваши норы и ваши следы
По горячей земле рассеяны
От высокой восточной гряды
До гряды невысокой северной.
Барсука я убил,
Был он злой и клыкастый.
Бурундук,
Я любил твою песенку, —
 здравствуй!
А две лошади стлали мне
 гривы под ухо.
А две лошади звались —
 Старик и Старуха.
Сопки.
 Мхи.
 Два вьюка.
Битый сланец,
 И рванный ботинок.
Облака и мошка
В глазах лошадиных.
И белесые гривы
 лежат, как седины,
На ушах,
На глазах,
На слезах лошадиных.
Но, вздыхая размеренно,
Селезенками ёкая глухо,
Шли по сопкам
 товарищи верные —
Старик и Старуха.
Жгла их плеть кедрача,
И высокая пена порогов
Била в крупы их,
 в груди била...
А еще была Недотрога,
Молодая
 гнедая кобыла.
Ну и лошадь была,
Ну и сила!
Над болотом меня пронесила,

Под копыта
 кидала
 скалы
И на камни
 меня бросала.
И кружила,
 в тумане не тая,
Там, где жила
 была золотая.
Там — у края пути —
О домашних причалах
Спели песню дожди,
И сказка кончалась.
Мы прощались с горами,
Прощались с долинами.
Мы сдавали коней
С потертыми спинами.
И на базе,
 столы накрывая по-царски,
Мы хозяйственный спирт
Запивали шампанским.
И бродила в нас сила
И удаль бродила.
Нас тайга не сгубила,
Нас тайга полюбила,
Нас тайга оценила
 на тропах неторных!..
Много фауны было
И много флоры.
И рычала,
 свистела,
 курлыккала фауна,
И смиряла рычание
 нежная флора.
И стучало
Звериное сердце урана
В наших твердых руках,
В наших чутких приборах.
И при всей тишине,
 и при всем неуюте
Первозданных путей
Нам хотелось поверить
В этот век,
 где всюю начинаются люди
И кончаются
Всякие
Лютые звери.

ГОЛОС ЗЕМЛИ

Слова Л. Ошанина

Музыка А. Островского

Небо, небо, небо, небо, небо,
Тучами укрой родную землю,
Чтобы демон смерти не прорвался
В этот мир.

Все народы, все люди,
Все, кто верит и любит,
Все, в ком совесть жива,
К вам мои слова.

Море, море, море, море, море,
Бурей, бурей, бурей разгуляйся,—
Пусть в пучине сгинет злобный
демон
Навсегда.

Все народы, все люди,
Все, кто верит и любит,
Все, в ком совесть жива,
К вам мои слова.

Люди, люди, люди, люди, люди,
Всюду, всюду, всюду — в каждом
доме
Повторяйте, люди, как молитву
Мой призыв.

Все народы, все люди,
Все, кто верит и любит,
Все, в ком совесть жива,
К вам мои слова.

ТРЕВОЖНО
tr cresc.

Не-бо, не-бо, не-бо, не-бо, не-бо,
ту-ча-ми ук-рой родну-ю зем-лю,
что-бы де-мон смер-ти не про-рвал-ся

МУЖЕСТВЕННО, СВЕТЛО
припев

в э- тот мир. Все
на-ро-ды, все лю-ди все,
кто ве-рит и лю-бит, все,
в ком совесть жи-ва, к вам мо-и сло-
-ва! // -ва!

Для окончания
-ва!

The musical score is written in G major, 3/4 time. It features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The score includes dynamic markings like 'tr cresc.' and 'МУЖЕСТВЕННО, СВЕТЛО'. There are also performance instructions such as 'ТРЕВОЖНО' and 'Для окончания'. The lyrics are in Russian and describe a prayer for peace and justice.

ИЗ ЦИКЛА «МОЯ ИСПАНИЯ»

* * *

А я живу. И знает лишь подушка,
Какие сны ей по ночам грозят.
Четыре года жизни мне кукушка
Пообещала двадцать лет назад.
Вот снова пройден столбик
пограничный, —
Там Енисей, что по утрам будил.
Там семь морей. Там мне знакомы лично
Испанский бык и нильский крокодил.
И пусть дождит, пусть снеговит
погода, —
С любой земли спеша в мою Москву,
Я проживу еще четыре года,
Когда всю жизнь до капли проживу.

* * *

В испанцев мальчишками мы играли,
С Колумбом водил каравеллу в тумане я.
...Такое чувство, что меня обокрали,
Что у меня украли Испанию.
Я ждал ее другую, другую, —
Думал — вот в красоту ее ринусь.
А здесь красотой просто торгуют
Распивочно и на вынос.
Дворцы, лангусты, соборы, сьерры...
Лавчонки напоминают сцены, —
Там Кармен, бык, Дон Кихот и тореро —
Все ручные. И на все цены.
Лишь Фламенко, может быть, не
понарошку, —
Старых танцев испано-цыганский зной.
И Чунга — цыганочка-босоножка —

Словно снова вьется передо мной.
Испания, ты взлет этих тоненьких
ручек...
Словно ты — не любовь, только танец
любви...
С тех пор, как коричневый фюрер и дуче
Переломили крылья твои.
...Снова ветер в горах начинает побудку.
Бьет в твои берега океанский прибой...
Ведь «чунга» — это по-русски «шутка».
Испания, не шути над собой.
Сквозь годы, книги и расстояния
Как вернуть мне тебя, Испания?

Фазиль Искандер

ДРОЗД

Над развалиной беседки
Ветка яблони, и дрозд
Песенку поет на ветке,
Только вздрагивает хвост.

Заливается пичуга,
Разрывается живьем.
И откуда столько звука
В горле маленьком таком?

Рядом яблоко-планета,
Красногрудая звезда,
Не жестокая, не эта, —
Та, что слушает дрозда.

Он грохочет увереньем,
Что бессмысленна судьба,
Что под черным опереньем
Светлых песен короба.

И в ответ ему из чащи
Переплеск и перестук,
Водянистый и журчащий,
Сочно булькающий звук.

Я в зеленую аптеку
Окунаюсь с головой.
Дайте песен человеку,
Перемешанных с листвою!

Розовеет поднебесье,
И захватывает дух.
Я подсвистываю песне,
Я ловлю ее на слух.

Так за черствой кожурою
Ежедневной маеты
Тянет свежестью сырою,
Жаркой тайной красоты.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Послушайте, не говорите: «Бред!»
Еще не поздно позвонить ОРУДу.
Водитель гонит на зеленый свет,
И красное разбрызгано повсюду.

Нет, не нарочно гонит. Не назло!
Он заболел, он должен быть уволен!
Меня догадкой сразу обожгло.
Я только посмотрел и вижу: болен.

Но у него отличнейший бензин.
Да и в запасе целая канистра.
Он выжимает километров триста!
Мне страшно за доверчивых разинь.

Остановить и отобрать права!
Дальтоник он! Он не имеет права!
Вас минуло, так не расти трава?!
Очередная сплетня и забава?!

Там, где цвета не могут различать,
Запомните, не будет исключения.

А крови цвет имеет ли значенье,
Там, где цвета не могут различать?

Ведь не годится для таких затей,
Он, человек, устроен слишком хрупко.
По городу грохочет мясорубка...
Но главное — предупредить детей.

Остановить! Дать знать издалека!
Иначе, дурень, врежется с разбега!
Нет, нет! Не бить! Не подымается рука,
Жестоко бить больного человека.

Ну хорошо. Не столкнувались мы.
Я буду здесь стоять, как столб дорожный.
По крайней мере, будьте осторожны,
Сограждане, особенно с детьми...

Но что это? Рассвет? Зеленый свет...
Сестра, простите, я сорвал повязку.
Я болен, доктор? Лихорадка? Бред?
Простите, доктор, это неувязка...
Но главное — предупредить детей.

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

Я помню чудное мгновенье...

Пушкин

Необходимо помогать публике, бросая ей банальные фразы,

Жюль Ренар

Товарищи,
позвольте мне
среди всего,
что знаменито,
найти свободные от быта
слова
о струнах при луне.

Ах, эти струны,
эти страны
в разрывах неба под луной!
Ах, этот разговор туманный
с бесплотностью
и тишиной!

Ах, эти призраки
и тени,
воспоминания
и сны —
как фотографии растений
сквозь недоступность глубины!

За многократной кисеей
они звучали — не звучали,
как будто
обещали всё
и ничего не обещали.

Случалось им —
и в гладкий стих
они ложились идеально,
и было от стихов пустых
успокоительно-печально.

Случалось —
эта пустота
и мне
оказывала милость...
Ведь беззащитна
красота
и обходительна
красивость.

БОЛЬШОЙ ВАЛЬС

У себя —
в Большом дворце — блистая,
верноподданным
ты держишь речь,
голубые волны горносталя
с алебастровых
роняя плеч.

Локоны
рассыпались как змеи,
вижу скипетр
в маленькой руке
и тебя
приветствовать не смею
на своем
суконном языке.

Музыка,
и ты сама подходишь,
первая
мне «здравствуй» говоришь.
Ты сама
мне волосы отводишь,
продолжительно
в глаза глядишь.

Стол накрыт,
и пьешь из царской чаши,
рядом кубок мой,
а не стакан.

Ослепительные встречи наши
счетоводы всех запомнят стран.

До сих пор
твоя рука мне снится,
снится свет
туманного плеча...

Мимо,
 мимо
 снег железный мчится,
по дороге
 сучьями бренча.

На трамвае едем мы вдоль мира,
на площадке ледяной стоим —
драгоценная
твоя порфира
рядом с ватным
пальцем моим.

Ты не слушай,
знать тебе не надо,
как твой царственный мне облик люб...

Скобяные брызги снегопада
пролетают
 между наших губ.

То снежок
иль поцелуй колючий?
Едем,
 едем...

 город все темней.
Обними меня
на всякий случай
на краю
жилплощади твоей.

Где в дровах
и в старых барках берег,
за конторкой
там колдуешь ты.

До свиданья,
дорогой портфель,
хорошо,
что существуешь ты.

Сергей Марков

СТЕНДАЛЬ

Спокойны мы... И нам не жаль
Мечты, томящейся в неволе...
В Чивитта-Веккиа Стендаль
Грустит о Бородинском поле.

И гения сохранна плоть,
И далеки судьбы удары.
Его могли бы заколоть
Голубоглазые гусары.

И в шуме тусклого свинца,
В тумане русского мороза —
Босые ноги мертвеца
В хвосте разбитого обоза!

И все же оборвется нить,
Прикажет хищное столетье
Бездомной смертью оплатить
Кабальный вексель на бессмертье.

Конец великих неудач,
Неистребимая примета...
Лишь мудрый полицейский врач —
Отгадчик вечного секрета!

Познаем ли счастливый стыд
И в угрызении высоком
Своим провидцам и пророкам
Простим их беззащитный вид?

Нина Бялосинская

* * *

Меня преследует повсюду
благополучие мое.
Сулит мне мебель и посуду
и дарит модное белье.
Оно меня увеселяет.
В высотный дом меня вселяет.
Зовет на бархатный сезон...

Благополучие упрямо.
Хоть я ему не отдаюсь,
а все мне предлагает прямо
в законный с ним вступить союз.

Нет, нет, оно не претендует
ни на малейший компромисс,
не вертит, куда ветер дует.
А только просит:
— Распрямись.
И принимай в порядке роста
все, что по праву воздают —
трудом добытые удобства,
вполне заслуженный уют.

Оно меня ревнует к счастью.
И, ловко притворившись им,
вдруг возникает в одночасье
с успехом маленьким моим.

И сверх всего, однажды в ночь,
мне дарит сына или дочь.

Оно все бескорыстней будет
в моей участвовать судьбе.
Пока на дне души добудет
мою привязанность к себе.

И тут пора его придет.
И тут оно свое возьмет.

Теперь сама я стану ловко
подстергать его, хранить.
Все компромиссы, все уловки
сама начну ему дарить.
И может быть, в какой-то час я,
не признаваясь никому,
сама отворочусь от счастья
к благополучью своему.
И вдруг столкнусь к лицу лицом
с самой собой как с подлецом...

Вот потому, наверно, к лучшему,
что ни в прошедшем, ни сейчас
не знаю я такого случая,
чтоб полное благополучие
владело лучшими из нас.

Дмитрий Сухарев

ГОРОД

Опустилась на улицы тьма,
Тишина поглотила дома,
Ни звезды, ни руки, ни огня,
Только город и есть у меня,
Только темень да каменный город,
Да над городом черный пролом, —
Город-глубина,
Теплый, как голубь,
У которого клюв под крылом.

Цитадель.
Монумент.
Монолит.
Монолог парапетов и плит.
Песня дня, перепетая скупо.

День сгорел —
но сгорел не дотла!
Есть и солнце,
покамест,
покуда
Есть в середине немного тепла!

Никуда мы бесследно не канем —
Будем длиться, как жар от камней.
Это опыт, накопленный камнем,
Переходит от камня ко мне.
Улетает в пролом слепота,
Суета покидает дурная,
И тогда дуновенье Дуная
Как награда касается рта.

Станислав Куняев

* * *

Прогресс коснулся сердца моего.
Я в город детства робко возвратился.
Но где же дом, в котором я родился?
где улица? — Не вижу ничего.

Какой-то архитектор-дилетант,
как видимо, решил во имя блага
снести мой дом и разработал план —
и все стерпела белая бумага.

На улице моей росла трава,
кружилась паутина бабьим летом.

Каким обманом до сих пор жива
собачья верность памятным приметам?

Какой ценой моя душа спасет
остатки исчезающих значений,
провинция, единственный оплот
моих сентиментальных впечатлений!

Ничто не постоянно под луной.
Гляжу вокруг с холодным интересом.
И только звезды те же надо мной,
над городом, над миром, над прогрессом.

Илья Фоняков

ЦИФРЫ

(Современные гекзаметры)

Цифры люблю: номера мотоциклов, квартир, самолетов,
Цифры — на креслах театров, на спинах футболок.

В газете —
Столбики серой цифири: тираж лотереи, в которой
Я никогда ничего не выигрывал.

Но — не в обиде:
Часто в трамвае зато мне билет попадался счастливый,
И не беда, не беда, если счастье на том и кончалось!
Цифры люблю.

В них поэзии — тьма.

Номера телефонов
Запоминаю, как строчки каких-то распавшихся песен.
В каждом, прислушаться если, свой ритм.

А последняя цифра
Всем существом и звучанием так и взывает о рифме!
Цифры пристрастно люблю.

Неприятны трехзначные числа,
Средняя цифра в которых торчит, непомерно большая,
Над головами притихших товарищей.

Числа такие
Кажутся как бы горбатыми.

Также и круглые числа
Не вызывают большого доверия: слишком уж круглы,
Слишком подчеркнуто гладки, под стать идеальным героям
Пьес и романов иных и критических скучных теорий.
Все в них каким-то подогнанным кажется, ненатуральным.
В жизни ведь редко весьма попадаются круглые числа!
Точный, рассчитанный век мой, тебя не боюсь я нисколько.
Плачь, математика! Или — гордись, если хочешь, пожалуй:
В недра твои проникает поэзия с черного хода.

Лиля Нанпельбаум

ЗА СТЕНОЙ

Я выростала в мире новом.
Но кто-то за моей стеной,
Как давеча, сегодня снова
Чинит расправу над женой.

И кто-то падает, как падал.
И бьется об пол голова.
Грохочет мебель. И спросонок
Испуганно кричит ребенок.
И омерзительны, как падаль,
Весь мир чернящие слова.

Откройте же сердца и уши,
Побудьте в комнате со мной.
Грядущему ломают душу
Сейчас за этою стеной.

Поймите, надо непременно,
Сейчас же, в этот самый миг,
Взять лом и рушить эту стену,
Оберегая новый мир.

Владимир Дагуров

* * *

Эх, живешь — бензином трависься!
Тяжко в городе нам жить.
Где щекочущая травушка,
там табличка — «Не ходить!».
Существовая в изоляции
от природного всего,
мы природе изумляемся,
к тете выехав в село.
Что там —
 облако иль яблоко?
красной девицы щека?
или полный парус ялика
к нам плывет издалека?

И гляжу я,
 рот разинувши,
дивным взором дурака
на родные
 на российские
на росистые луга.
Знать, вошла любовь к отечеству
и щемящая тоска
к нам с молочного младенчества,
с материнского соска.
Знать, родился не от женщины,
не в роддоме городском —
от раздолья сумасшедшего
в этих травах с васильком!

Яков Аким

ДОЖДЬ НА ПЛОЩАДИ

Дождь на площади. Дождь.
Пелена в полуциркульных окнах.
Сквозь двойное стекло
Вижу я, как прохожие мокнут,
Как машины блестят
И блестит поставой
В ослепительных крагах...
Дождь на площади. Спешка.
Заботы, дела и делишки.
Я сижу у окна.
Мой редактор склонился к бумагам.
Здесь — издательство
И выпускаются детские книжки.

Я писал для детей
И о летнем дожде, и о каплях,
И о том, как мальчишки
Приплясывают у водостоков.
Я пустил по ручьям
Зарифмованный детский кораблик,
Он бежал по течению
И не возвращался к истокам.

Стой, кораблик!
Вернемся в далекую гавань,
В память детства,
На ласковый берег озерный,
И поклонимся улицам
Шагова, Рыбной, Нагорной,

Николай Перевалов

КОШКА

Досталось ей веселое житье.
В глаза собаки злобные рычали,
мальчишки камнем метили в нее
и взрослые пинками привечали.

Как много было у нее врагов,
в недобрый час рожденной под забором!
Она пугалась собственных шагов,
в свой жалкий угол пробираясь воров.

Никто не знал, зачем и как жила.
Жила себе — кому какое дело?

Где мы мир постигали,
Как мальчишки учатся плавать.

Мы друг другу в отряде
Серьезно давали нагрузки,
Пескарей отнимали
У сонной зажавшейся кошки,
Мы делились тетрадками,
Утренним яблоком хрустким,
И дырявою лодкой,
И теплой ржаную лепешкой.

Сколько горестных зим
И тяжелых дождей лихолетья
Удружили земле
Те, кто алчен, жесток и завистлив!
Летний дождик,
Смывай с человечества черные мысли,
Миром править должны
Умудренные опытом дети.

...Дождь прошел.
Книги грузят в машины.
А где-то, на полосах росных,
Самолеты, как длинные рыбы,
Спешат в синеву окунуться.
Разлетайтесь по свету,
Дошкольные книжки для взрослых,
Чтобы взрослые мира
На детство могли оглянуться.

И, наконец, не скажем умерла —
о них ведь говорится — околела.

Гонениям вчерашним вопреки,
как будто вся по-новому проснулась,
забыла и мальчишек, и пинки
и дерзко на дороге растянулась.

Скажите мне, какая в этом связь,
но те же люди, обходя неволью,
шли, наступить на мертвую боясь,
чтоб, наконец-то, ей не делать больно.

Дмитрий Смирнов

БЕДА

Тебе так трудно,
и беда
Уже под сердце подступает
И боль впивается тупая, —
От них не деться никуда.

А тот, кому ты помогал,
Сам о тебе не похлопочет,
Сказав, что будто он устал
И в драку больше лезть не хочет.

И тошно станет на душе.
Ты одичало стиснешь зубы.

И все домашние уже
Тебе не мýлы и не лóбы.

Но день медлительный пройдет,
Другой сумеет разгореться.
В душе слегка оттает лед,
И только будет мучить сердце...
Неблагодарность на года
В нем ляжет тяжелой бороздою.
Ведь не беда — сама беда,
Беда, коль ты один с бедою.

Нина Эскович

ЛЕОНТИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ

Меня домой принес не аист.
Сама не знаю отчего,
нет-нет, бывало, и зазнаюсь
в пределах дома своего.
На что мне, мол, отцовский опыт!
И я, хотя и редко, но
умела даже дверью хлопнуть,
в сердцах вышагивать в кино.
Умолк твой голос в мире звонком.
Нет продолжительней потерь.

Каким бы робким аистенком
тебя послушала теперь!
А я теперь взлетаю круче
и вью гнездо свое сама.
Над ним прошли и просто тучи
и орудийные грома.
И в песнях я души не чаю,
уже не так себе звеня...

И земляки — когда встречаю —
Леонтьевной зовут меня.

Эльмира Котляр

МУЗЫКА

От музыки в школе
светло, как в поле.
От музыки — в окнах свет!
Музыка — коридор,
музыка — кабинет.
Музыка — перемена,
музыка — речь.
Как музыки, я ждала встреч
с ребятами на горе,
с мячиком во дворе.

И вдруг — сорок первый год.
Трубы идут в поход!
Зазвучала война,
а в классе у нас тишина.
Рояль на ключ,
скрипку в футляр:
— Кончай заниматься, Котляр!
Прощай, музыка,
начинается мужество.

Евгений Ильин

ИГРА

Листвой аллея плещет.
Оркестр.
Поток людской...
А ты склонила плечи
Над шахматной доской.

Ты трепетно и страстно
Ведешь безмолвный спор.
Но смотрит безучастно
Твой опытный партнер.

Себе он цену знает
(Хочу, мол, пошучу!).
Тебе он предлагает
Почетную ничью.

Ты отвергаешь милость,
Ты принимаешь бой!..
Еще не научилась
Ты властвовать собой,

И каждое движенье,
И каждый вздох в тиши —
Как будто отраженье
Движения души.

Гляжу я без улыбки
Из-за чужой спины —
Мне все твои ошибки
Видней со стороны.

И все его уловки
Я вижу без труда.
Ах, тоненькие бровки,
Ты ходишь не туда!

Постой, постой, постой-ка!..
— Семь бед — один ответ, —
Острил довольно бойко
Мужчина средних лет.

Гусарская атака,
Самодовольный вид!
Его бы я...
Однако
Стою, как в землю врыт.

И только зубы сжаты
Да желваки острые...
Сама постичь должна ты
Все тонкости игры.

Олег Дмитриев

* * *

Со мной делился человек седой
Своею неожиданной бедою:
«Я до сих пор гулял, как молодой, —
Вовек не разбавлял вина водою,
Плясал и пил со всеми наравне:
Какой там возраст! — пожимал плечами,
И девочки отчаянные мне
Наперебой свиданья назначали!»
Он прикурил и спичку погасил.
«Сейчас я познакомился с одною...
Мы погуляли с ней. Я пригласил
Ее сюда поужинать со мною.
И, знаете ли, вот какое дело, —
Сказал он, выпуская стружкой дым, —
Так на меня девчонка поглядела,
Как будто я и не был молодым!..»

Бесчинствовал оркестр. Кружились
пары.
Бокалы наши встретились, звеня,
Подтянутый, красивый и не старый,
Просил он утешенья у меня...
А я вино покачивал в бокале.
Безжалостной сияя правотой,
Передо мной все время возникали
Огромные глаза девчонки той.
А сколько мне осталось ждать до срока,
Когда, едва скрывая торжество,
Она непоправимо и жестоко
Посмотрит на меня, как на него?
Сосед молчал и шурился устало.
И я молчал, не поднимая глаз...
А где-то та девчонка хохотала,
Совсем-совсем не думая о нас!

Анисим Кронгауз

ВРЕМЯ

Что со мною случилось?

Меня теперь не мучает голод.
Ну, не совсем,
Но не настолько,
Чтобы я начал барабанить в двери
булочной,
Закрывшейся на пять минут раньше
обычного.

Меня теперь не мучает жажда.
Ну, не совсем,
Но не настолько,
Чтобы я припал к мутной луже
И черпал, черпал горстями
Или засаленной пилоткой.

Меня уже не манит женщина.
Ну, не совсем,
Но не настолько,

Чтобы бежать за первой попавшейся
юбкой,

Шепча:
«Вы не можете так уйти.
Только не уходите!
Адрес?.. Или телефон?.. Или хотя бы
имя?..»

Меня не захватывает работа.
Ну, не совсем,
Но не настолько,
Чтобы перепутать день с ночью
И, разменяв зябким утром последний
пятак,
Считать себя богатейшим на свете.

Надо мною не властна теперь любовь.
Ну, не совсем,
Но не настолько,
Чтобы один твой холодный взгляд
Толкнул меня под колеса поезда.

«БАЛЕРИНКИ!»

Т. Тучиной

У балерин измученные лица,
Как у крестьян.
Терпения запас
У балерин, как у крестьян, таится
В неторопливом, ровном блеске глаз.

Им тоже не до спора, не до вздора —
Весну не проленись, не прозевай.
В балете, как и на поле, не скоро
Тяжелый собирают урожай.

Здесь сутками работать не зазорно,
И всё труду крестьянскому сродни.
Но только балерины сами — зерна
И всходы тоже — сами же они.

Работающие до иступленья,
Податливы тела,
Сердца тверды.
Ведь сами же они — произведенья
И совершенства своего творцы.

Для человека нет труднее дела:
Себя посеять
И себя взрастить,
И собственное тоненькое тело
Стальным, жестоким плугом бороздить.

Что с этою работою сравнится!
Никто труда не видывал лютей...
У балерин измученные лица,
Как у крестьян,
Как и у всех людей.

Вадим Сикорский

ДНИ

Со дна морского поднимают судно.
Но кто из вечности поднимет день,
который прожит суетно и скудно,
без творчества, без страсти, без идей?

Я до звезды, до капли — без остатка
весь мир, всю жизнь вобрать в себя
ГОТОВ.
Пусть выше ватерлинии осадка
от груза будет у моих судов.

Большие, пусть идут, слагаясь в годы,
кильватерной колонною они.
Бескрайней вечности нейтральны
ВОДЫ, —
флаг Родины, и там меня храни.

* * *

И я посильное участие
приму в тебе, двадцатый век,
когда техническое счастье
возводит мудрый человек.

Я верю — изобилье будет.
Но все изведав,
в тишине,
останутся вдруг снова люди
с душой своей наедине.
И снова их мечта обманет,
они поймут, что мир не прост.
Они поймут, им мало станет
колосьев, атомов и звезд.

И вновь придут к поэтам — тыщи
всесильных, сытых, но моля:
«Душе голодной дайте пищи,
без ваших снов пуста земля!»

Владимир Цыбин

АЗИЯ – СТЕПЬ

Рыжеют травы, будто шкуры,
свалившись под колеса арб,
и плесневеют пылью скулы
у каменных монгольских баб.
Они, вдыхая жирный запах,
в безмолвие облачены,
глазами смутными на запад
глядеть века обречены.
Тяжелоплечи, плоскобровы,
отдавши плоть свою ветрам,
они глядят, как встарь, сурово —
пригвождены к своим векам.

О Азия моя,

паси ты

гром

под копытами коней.

О Азия,

тебе спасибо,

что я рожден в земле твоей.

Не ты ли «О-о!»

от горя пела,

не ты ль валила меня в сено,

усталого, ломила сном,

пайком деллась,

каймаком?

О ветер памяти зеленый,

пахни землей в судьбу мою,

пока, к былому пригвожденный,

как будто каменный стою.

Так падайте пургою, звезды,

в сосновый месяц мой июнь

и обживайте эти версты,

забытые, на Кен-Булунь.

Пусть ветры эти версты точат,

пусть кони эти звезды топчут,

пусть пробивает ливень звезд

тысячелетия насквозь!

Была ты ятаганом поднятым

и береглась,

чтоб быть целей,

как берегутся своих подданных

глаза стареющих царей!

Я не постиг еще полный

язык побед и неудач

и голос твой, степной, порывный,

твой крик «алла!»,

твой гик, твой плач.

О степь, понять твою,

как за товедь, —

через века, через беду, —

стремленье на восток и запад,

из широты да в тесноту?

Сквозь слезы,

степи, сабли, стрелы,

туда,

в удельные миры,

туда,

где бабы пышнотелы

и в погребках гремят меды!

О, эта яростность в порыве,

о, эти горькие полыни

возле упавших наземь звезд,

где полпланеты всей поместится;

ломтей арбузных полумесяцы

и дынный сок,

густой как воск;

и саксаулов пламень

красный —

рябых пустынь нехитрый скарб,

и вышки в небо твои,

Каспий,

вместо монгольских,

древних баб.

СНЕЖНОЕ

С каблука на каблук
перепрыгивает стук.
Зима иней жжет в морозе,
у пурги скрипят полозья,
возле проруби, слепы,
сохнут белые следы.
Скрип у ставни затихает,
чтоб услышать,
как впотьмах
заспанное засыхает
ожиданье
на губах...
На твоей лежат подушке
сны, как пестрые кукушки,
и на каждое «ку-ку» —
сто свиданий на веку:
«Век красы — век росы,
не заметишь — выросли!
Век красы — век весны,
отвернешься — вы-сох-ли!»
Месяц прямо на бегу
засыхает на боку,
затихает месяц вдовый,
видит месяц сон медовый,
сыплет месяц в крышу тишь —
ты под этой тишью спишь.
Обшивает пухом ставни,
снег поскрипывает ранний,
как на просеке сучки.

Что ты медлишь?
Постучи!..
Я хочу стоять подольше,
чтобы ждать тебя вот здесь,
тонкий-тонкий колокольчик
ты в свой тихий сон повесь.
На подушке сонный жар
голову твою прижал,
ты проснешься, скажешь:
«Спи,
на мой сон не наступи!»
На подушке спят кукушки,
сенный пар стоит в избушке,
на плече лежит луна
с полметрового линия.
Ты проснешься,
скажешь: «Рада».
И глаза откроешь всласть...
На губах твоих прохлада
ягодная
запеклась.
...Я опять пойду по следу,
что проложен мной по снегу —
мимо горьких бабьих глаз:
«От кого в столь ранний час?»
И опять во сне кукушки
будут встречи куковать
и на белые подушки,
словно перья, сны ронять...

Иван Рядченко

ПРИБОЙ

Уже голубоватый и весенний,
как прежде, бесшабашный и рябой,
рождая очаги землетрясений,
о стенку мола ухает прибой.

Ему для нас и радуги не жалко!
Здесь начинаешь верить в чудеса:
сейчас из пены явится русалка,
блеснет жемчужно мокрая коса.

А может быть, походкою упругой,
из глубины тенистой на простор,

волну взмучив чешуйчатой кольчугой,
шагнет с дружиной дядька Черномор?

Иль, может, из объятий смерти тяжких
появятся, самой весны светлей,
в прожженных и простреленных
тельняшках
матросы с разбомбленных кораблей?..

Шумит, шипит, сшибается сердито
шаловная пена, призрачность храня.
Из этой пены вышла Афродита...

Матросы выходили из огня.

Дмитрий Нагаев

* * *

Донашиваю старые тельняшки —
Еще без них
 никак я не могу.
В прихожей «краб» тускнеет на
 фуражке —
Ее средь фетра шляп я берегу.
Еще в газетных строках
 терпеливо
Надеюсь встретить имена ребят...
Чужие бухты,
 мысы
 и проливы
Еще упрямо в памяти сидят.
Но с каждым днем
 мне кажется сильнее,
Что там —
 когда-то —
 был совсем не я,

А я —
 и не умел, и не умею,
И у меня иная колея.
Года идут,
 и с каждым годом тише
Тот самый ветер странствий надо мной.
А шар земной
 витки, как прежде,
 нижет —
Весь в штурманских прокладках,
 шар
 земной..
Нет!
 Верю я,
 что поздно или рано
Проляжет след кильватерной струи,
Что все материки и океаны —
Они мои,
 они еще мои!

Владимир Павлинов

СУХОВЕЙ

Над Ургенчем и Термезом
Свищет серый суховой.
Длинный путь мой перерезан
Нитками твоих бровей.

Над стеною угловатой —
Виноградная лоза.
Как клинки, продолговаты
Черные твои глаза.

Май пустыни, смугл и сочен,
На тугие щеки лег:
Долгий взгляд мой укорочен
Матовым румянцем щек.

Прадеды твои, декхане,
Верно, славились красотой:

Перехлестнуто дыханье
Черною твоей косой!..

Поверну в пустыню реки,
Песни звонкие сложу:
Хорошо, что ты вовеки
Не наденешь паранджу,

Что, аулов не касаясь,
Вдаль умчался вихрем злым
Век, когда отцы красавиц
Продавали за калым!..

А она, вся в рыжем свете,
Ничего не говорит,
На серебряном браслете
Солнце жаркое горит.

Юрий Гордиенко

МАЙМА

По свету
в лайнерах потаскан,
в ладьях и нартах с той поры,
опять иду
Горно-Алтайском,
мальчишка
из Ойрот-Туры.

Как разрослись,
мне сердце теша,
деревья, улицы, дома!
Как постарела тетя Стеша...
Но дали — те же,
горы — те же,
и речка горная
Майма.

Майма,
все та ли ты,
все та ли?
Та!
В полыньях своих звеня,
глазами синими проталин
ты снова
смотришь на меня.

Я слышу голос твой:
«Узнала
и я тебя,
ты мне знаком.
Как островок,
парнишка малый
стоял во мне ты
босиком.

Большой рекой меня считая,
с опаской мелью шел вперед...
Теперь меня,

когда растаю,
ты перейдешь спокойно
вброд.

Оставив берег за спиною,
уйдешь писать
роман в стихах.
А я ведь прятала
от зноя
тебя в подоле,
в лопухах.

Торчала дерзко из кармана
рогатка...
Где она теперь?»
— Моя Майма,
Майма — как мама!
Майма и мама.
И капель.

Да, я уйду.
Я видел реки
большие,
в зарослях лиан,
в цветах,
в венках викторий-регий,
впадающие
в океан.

Огромны
ширь их и текучесть.
Но нет реки
тебя добрей!
...Терять,
взрастивши сына, —
участь,
печаль и гордость
матерей.

Игорь Кобзев

СЕВЕР

В Заполярье солнце
Светит сбоку,
Словно ширь земли
Целует в щеку.

И от этой
Очень робкой ласки
Блещут в небе
Сказочные краски...

Мне б наняться
На рыбацкий сейнер
Да податься
Далеко на Север!

Чтобы лютый шторм
Трепал часами,
Чтобы льды о борт
Бока чесали,

Чтобы море в печень,
В душу влезло,

Чтобы плечи
Стали — как железо!

Мчаться вдаль,
Ломать волнам хребтины —
Это — да! —
Заняты для мужчины!

Я б хотел, чтоб сердце
Сталью крепло.
Ну, а если
Стану горсткой пепла —

Пусть никто
Не горбится под горем,
Пусть мой прах
Развееся над морем,

Чтобы бризом
Легким и соленым
Вечно бить
По палубам смоленным!

У МОРЯ

Что ты ждешь у моря, северянка?
Что ты зря глядишь в морскую даль?
Холодней полярного сиянья
Плещется в глазах твоих печаль.

Вспомни, вспомни хохот свой капризный,
Модный твист, фасонистый фокстрот...

В порт вошел завьюженный, как призрак,
Белым льдом обросший пароход...

Вспомни, как ты сладко танцевала,
Как смеялась шуточкам парней
И одна никак не замечала
Гостя, что вдруг замер у дверей.

А ведь он спешил сквозь крики чаек,
Сквозь ночные, пьяные моря,

Сквозь чужие яркие причалы,
Где скучали наши якоря...

Что ж! Затем швырял его штормяга
И затем валы валили с ног,
Чтоб увидеть, как шальной стилиага
Милую кружит, как мотылек?!

Был моряк, наверно, гордый парень:
Он не стал корить и упрекать —
Только подарил тебе на память
В волосах заснеженную прядь...

Ждешь ты возле пирса каждый вечер,
Ждешь, как будто б не было беды.
Но давно следы последней встречи
Отсверкали в зеркале воды...

Лев Смирнов

ПРОЛОГ

Мне жизнь когда-то проторила
Тропу в дремучие леса.
Мне мать когда-то подарила
Вот эти синие глаза.

В них отражались, словно в сказке,
Тропинка, дерево, причал...
И сны невиданной раскраски
Им, синим, снились по ночам.

А в поймах травы не косились,
И на ветвях гнезвился страх,
И стаи воронов косились
На синеву в моих глазах.

Я становился все сильнее
И замечал, как в свете дня
Мир становился все синее
И все похожей на меня.

Он тьмы не снес бы, как позора,
И потому, простясь с тоской,
От глаз моих зажглись озера
Лазурью чистой, колдовской.

И синь вошла той ранью краткой
И в сон травы, и в стон совы,
И каждый зверь в тайгу украдкой
Унес кусочек синевы...

ОСТРОВ МЕДНЫЙ

Поселюсь я с рыбаками,
Рядом с морем буду жить.
Рыбы с красными боками
Будут сон мой сторожить.

Будет птица золотая
Петь и плакать в забыты,
Словно в форточку, влетая
В сновидения мои.

Встану рано, влезу в робу
И увижу в тишине,
Как, подобная сугробу,
Сопка горбится в окне.

Буду в сейнере качаться,
Пахнуть солью, табаком.
Буду сам себе казаться
Алеутским рыбаком.

Буду с шуткой прибаутку
Неразменную мешать.
Буду шубкой алеутку
От норд-веста укрывать.

Погружая руки в сети,
Отвыкая от стихов,
Буду слушать на рассвете
Командорских петухов.

Эдуард Асадов

БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР

Весь жар отдавая бегу,
В залитый солнцем мир,
Прыжками мчался по снегу
Громадный бенгальский тигр.

Сзади — пальба, погоня,
Шум станционных путей,
Сбитая дверь вагона,
Паника сторожей...

Клыки обнажились грозно,
Сужен колючий взгляд.
Поздно, слышите, поздно!
Не будет пути назад!

Жгла память его как угли,
И часто ночами, в плену,
Он видел родные джунгли,
Аистов и луну,

Стада антилоп осторожных,
Важных слонов у реки,
И было дышать невозможно
От горечи и тоски!

Так месяцы шли и годы,
Но вышла оплошность — и вот,
Едва почуяв свободу,
Он тело метнул вперед!

Промчал полосатой птицей
Сквозь крики, пальбу и страх —
И вот только снег дымится
Да ветер свистит в ушах!

В сердце восторг, не злоба!
Сосны, кусты, завал...
Проваливаясь в сугробы,
Он все бежал, бежал...

Бежал, хоть уже по жилам
Холодный катил озноб,
Все крепче лапы сводило
И все тяжелее было
Брать каждый новый сугроб.

Чувствовал: коченеет.
А может, назад, где ждут?
Там встретят его, согреют,
Согреют и вновь запрут...

Все дальше следы уходят
В морозную тишину.
Видно, смерть на свободе
Лучше, чем жизнь в плену!

Следы через все преграды
Упрямо идут вперед.
Не ждите его. Не надо.
Обратно он не придет!

Николай Глазков

СТЕКЛО

Сквозь окно берестяное
Вижу: ты стоишь...

Эляй, «Отцу»

Не роскошью, не криком моды
В деревни, в села, в города
Стекло вошло, а были годы
Такие темные, когда
Стекла оконного так просто
Не мог купить якут-бедняк.
Осколки стеклышек в бересту
Вшивал, чтоб осветить свой мрак.

Сквозь то окно берестяное
Осколки света кое-как
Лились в жилище земляное.
Вот так и жил якут-бедняк.

А чтобы вшить стекла осколки
В бересту нитками, тогда

Усилий требовалось сколько!
Немало тратилось труда.

Соотношение иное
Жизнь нынче в стоимость внесла:
Теперь окно берестяное
Дороже окон из стекла!..

Теперь оно в музее только,
Теперь таких не мастерят.
В березу вшитые осколки —
Довольно редкий экспонат.

Теперь глядит глазами окон
Стекло. Прозрачное стекло.
И говорит оно о многом:
Навеки в быт оно вошло.

СПУТНИК АЛМАЗА

Ярко, словно пламень,
На свету горит,
Но не этим камень
Красный знаменит,
И не этим дорог
Он сейчас для нас —
По нему геолог
Отыскал алмаз.

У таежных речек
И звериных троп
Был замечен-встречен
Камешек пироп.
Темно-красной искрой
Он ласкает глаз,

И с пиропом близко
Водится алмаз.

Я пироп заметил
Возле трубки «Мир».
Знаю, камни эти
Ценит ювелир.
Подарить любимой
Можно на браслет
Ей необходимый
Камень-самоцвет.

Но не этим важен,
Не за то воспет:
Путь к алмазам кажет
Камень-красноцвет!

ЛЕТАЮЩИЙ МУЖИК

Кадр первый

За что односельчане милые
Грозят мне палками и вилами?
Почто бранят меня нелепо?
Я никому не помешал,
Но изобрел воздушный шар,
Чтоб полететь с собора в небо.
За мной с дубинками и палками
Бегут и кажутся мне жалкими:
Я их умнее и смелее!..
Их вопли слышу и проклятия.
Зазря стараются приятели,
Я убежать от них сумею!

Кадр второй

Меня ознобит буйный ветер,
Но докажу глупцам назло,
Как этот мир велик и светел,
Лишь стоит привязать седло.
Сейчас распутаю веревки
И улечу отсюда вмиг.
Всем докажу свою сноровку
Я сам — летающий мужик!..
Мне первому дано от бога
Постичь небесную красу.
Пусть я один, а их так много,
Они останутся внизу.

Кадр третий

Вокруг меня земля сырая,
И сам лежу я на земле,
Лежу и тихо умираю,
И кровь струится по скуле.
Шар высоко летел и быстро.
Что станет делать темный люд?..
Увидят все, что я разбился
И умер сам, и не убьют.
Но перед гибелью постылой
Я вразумительно постиг,
Что над моей взлетит могилой
Другой летающий мужик!

* * *

И нежный я и грубый,
Сужденьям не холоп.
Живых целую в губы,
Целую мертвых в лоб.

Сам не хожу по струнке,
И мне даны права
Оценивать поступки
И взвешивать слова.

Не страшен мне жестокий
Судья,
что нравом крут,

А страшен невысокий
И предрешенный суд.

Прослыть святыми где ж нам!
Хорош я или глож,
Во мне, земном и грешном,
Ты, совестливость, — бог!

Гнездись в душе, как птица,
Спасай меня и впредь,
Не дай мне оступиться,
В бесчестьи умереть.

ВБЛИЗИ СЕЛЕНИЯ ЧЕРКЕЙ

Быть может, впрямь по наущению
Неунывающих чертей,
Туман клубился по ущелию
Вблизи селения Черкей.

И с красноглазыми овчарками
Лежали тучи у костра.
И чарки стукнули о чарки мы,
Когда зажарили козла.

И приобщались вновь к оракулам,
И чуть кружилась голова,
Но валкими, под стать каракулям,
При этом не были слова.

И камни не казались мертвыми,
Черты живых являя мне.
А кони, став друг к другу мордами,
Беседовали в стороне.

И две заблудших утки к озеру
Над нами пролетели вдруг.
И месяц встал подобно козырю
И все собой покрыл вокруг.

Мы в свете месяца возникшего
На тучи сизые легли.
И кто-то речь повел возвышенно
О женщинах и о любви.

Новелла Матвеева

ГИПНОЗ

Шипели джунгли в бешеном расцвете
У вздутой крокодилами реки,
Где обезьянки прыгают, как дети,
А смотрят — как больные старички.
Одна из них так быстро проскакала —
Лишь рыжий росчерк в воздухе мелькнул;
Как будто кто-то пригоршню какао
Сухую стружкой с ветки сыпанул.
Змея с четырехгранной головою
Взглянула на нее из-под очков
И двинулась под сводчатой травой,
Как длинная процессия значков
И крапинок... Сведенные предельно,
Казалось, эти крапинки сперва
Ходили где-то — каждая отдельно,
Но их свела полковник-голова.
Змеиный взгляд, заряженный гипнозом,
Среди сорокаградусной жары
Дышал сорокаградусным морозом...
От ужаса вращались, как миры,
Плоды граната... Перезрелый манго,
Разболтанный и мягкий, точно магма,
С дрожащей ветки шлепнулся без чувств
При виде длинной судорожной твари,
Чей трепет, инкрустации и хруст
Все оковали, всех околдовали.
Но рыжая мартышка не проста:
Она умчалась вдаль, тревожно пискнув,
И чаща, листья вычурные стиснув,
Как руки, веки, зубы и уста,
За ней слилась...
Но что с мартышкой случилось?!
С пронзительными взвизгами
Назад,
Назад, назад запрыгала:
Казалось,
Ее, как пальцем, тронул чей-то взгляд.
Ничьи глаза, казалось бы, со взглядом
Надолго разминуться не могли,
Но странный взгляд висел с мартышкой
рядом,
А вот глаза — покоились вдали.

Глаза лежали на головке плоской,
Как на тахте. Из них тянулся взгляд,

Как дым из трубки, призрачный,
но плотный,
И звал: «Наза-ад, отступница, наза-ад!»
Сквозь легионы сутолочных веток
В слепом непроницаемом цвету,
Сквозь хрупкий хруст растительных
розеток,
Сквозь плотную, как пепел, духоту,
Сквозь малярийно-желтые капли
Брызгучих трав, сквозь хищные цветы
Он плыл и плел веревочные трапы,
Незримые воздушные пути
Из нитей сна;
Аркил без аркана,
Капканил без капкана,
Без силков
Осилвал;
Дурманил без дурмана,
Оковывал заочно, без оков...
Сквозь обморочные благоуханья
Болот, где самый воздух, сам туман
В цветущем;
Сквозь переплеты и петлянье
Качально-перекидистых лиан
Он проникал
С каким-то древним, давним
Безвольным, безглагольным, безударным
И беспощадным выраженьем
(Жест
Неумолимых глиняных божеств).

И вдруг... В листе забил воздушный
ключ,
И попугай, чей клюв был ярко вдавлен
В цветную грудь, как пламенный сургуч,
А крылья глянцевиные осклизли
Зеленым блеском бронзовых зеркал, —
Вокруг сучка перевернулся трижды
И так забился, так заскрежетал,
Как будто брал недавно в общей кухне
Уроки лязга у семи котлов;
Зашаркал горлом, как ночью туфлей,
Раскашлялся, как будто нездоров,
А сам спокойно и невозмутимо
Сухим глазком глядел куда-то мимо,

Как симулянт при виде докторов.
И как бы ненароком, невзначай,
Перед мартышкой, скачущей по веткам,
Как десять флагов, пущенных по ветру,
Как пьяный факел, вспыхнул попугай.
Дивясь его цветастому смятенью,
На ветке обезьянка замерла,
И личико, изъеденное тенью
Затейливых растений, поднесла
К лучу, как ложку к супу...
Свет закапал
Сквозь листья ей в глаза,
Проник за капор
Линялой шерсти...
Сделалось светло;
Разбилось наваждение, как стекло.
Но как неясный крест оконной рамы
Стоит в глазах, уже смеженных сном,
Когда ложишься спать перед окном,
Так взор змеи, упругий и упрямый,
Еще с минуту в воздухе висел,
С минуту терпеливо ждал кого-то
И наконец, как призрак переплета
Оконной рамы, вылинял, осел,
Сломался по частям, пропал совсем.

И вот, то сокращаясь, то вздуваясь
Брезентом,
Извиваясь, точно дым,
И все-таки над кем-то издеваясь
Самим существованием своим,
Прохластывая туловищем травы,
Ушла змея...
А попугай вослед
Орал ей что-то вроде: «Твар-ри!
Твар-ри!
А крыльев нет! Ур-ра! А крыльев нет!..»

ПОБЕДНАЯ ПЕСНЯ

Слова С. Васильева

Музыка Ваню Мурадели

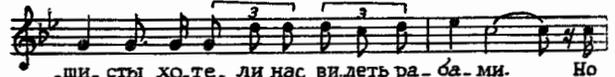
В ТЕМПЕ ГЕРОИЧЕСКОГО МАРША



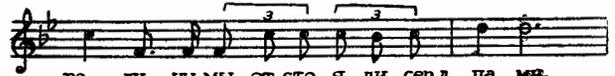
Ты помнишь, товарищ, как выли ме-те-ли, как



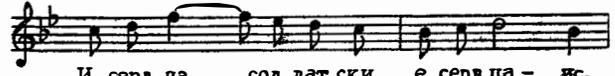
бом-бы взрыва-лись, как пули свис-те-ли? Фа.



ши-сты хо-те-ли нас видеть ра-ба-ми. Но



ро-ди-ну мы от-сто-я-ли серд-ца-ми.



И серд-ца, сол-дат-ски-е серд-ца-ис-



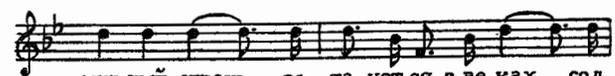
пол-ни-ли долг до кон-ца.



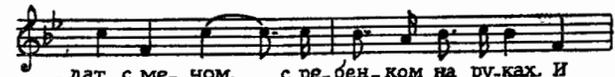
И серд-ца, сол-дат-ски-е серд-ца ис-



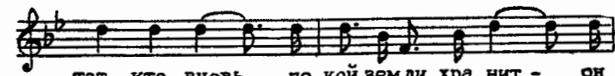
пол-ни-ля долг до кон-ца. Как



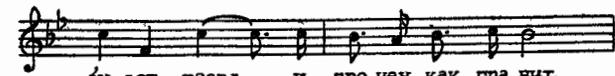
мир-ный страж ос-та-нет-ся в ве-ках сол-



дат с ме-чом, с ре-бен-ком на ру-ках. И



тот, кто вновь по-кой зем-ли хра-нит - он



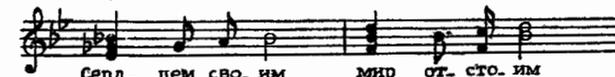
бу-дет тверд и про-чен, как гра-нит.



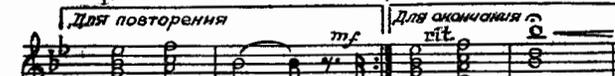
Зо-рок глаз, вер-на е-го ру-ка.



В гроз-ный час о-на най-дет вра-га!



Серд-цем сво-им мир от-сто-им



на ве-ка! 2. Всю // на ве-ка!

Ты помнишь, товарищ, как выли метели,
Как бомбы взрывались, как пули свистели?

Фашисты хотели нас видеть рабами,
Но родину мы отстояли сердцами.
И сердца, солдатские сердца — } 2 раза
Исполнили долг до конца.

Припев:

Как мирный страж останется в веках
Солдат с мечом, с ребенком
на руках.
И тот, кто вновь покой земли
хранит —
Он будет тверд и прочен, как гранит.
Зорок глаз,
Верна его рука.
В грозный час
Она найдет врага!
Сердцем своим
Мир отстоим
На века!

Всю нашу волю к воспрянувшей жизни
Мы отдали людям советской отчизны.
Поднявшись из пламени, праха и пепла,
Страна наша вновь расцвела и окрепла.
И солдат отважных имена
Бессмертны на все времена! } 2 раза

Припев.

Мы мира желаем, но если нас тронут —
Враги в грозной битве сгорят и утонут.
Их сломит огонь нашей техники гневной,
По качеству равной отваге душевной.
И сердца, солдатские сердца — } 2 раза
Исполнят свой долг до конца.

Припев.



Борис Слуцкий

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЬПАХ

Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
До Альп

из родимой Алма-Аты!
Да где же повозочных порастеряли!
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.

А впрочем,
я никогда не поверю,
что эти верблюды действительно звери.
Достоин иного прозвания верблюд.

Дивизия шла на верблюжеской тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смиренные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.

Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре,
но всех перебили,

и только четыре
до горного города Граца дошли.
А сколько добра привезли они людям?
Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,

никогда
не забудем
верблюдов из казахстанской земли.

В каком-то величье,
в каком-то прискорбье,
загадочно-тихие, как гороскоп,
верблюды
проходят
сквозь шум городской.
И белые Альпы видны в междугорбье.

Вдоль рельсов трамвайных проходит
верблюд,
трамваи гурьбой за арбою идут.
Повозочный старенький дремлет в арбе,
верблюду кричит, как быку: «Цоб-цобел!»
Усталый, в шинельку закутанный,
дремлет.

Он это добился в суровой борьбе,
трамвай потревожить верблюда не смеет.

Неспешность
приходится
извинить.
Трамвай не решается позвонить.
Целая очередь грацких трамваев
стоит,
если тянется морда к кустам,
стоит,
пока был по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.

НОЧНОЙ ФУТБОЛ В МУРМАНСКЕ

Сон — покой, идеальный порядок.
Сон — похож на средневековье.
Сон — равнение на парадах
с плавно
в жилах
плывущей
кровью.
Я проснулся от точного чувства
беспорядка и непокоя.
Вспомнил: в Мурманске я. Очнулся.

Посмотрел в окно — что такое?
Было два часа ночи. Было
очень поздно и страшно было.
Серый свет, нет, сероватый,
заливал простор сыроватый,
затоплял собой котловину,
род естественного котлована,
тот, где город стоит. Лавина
света
Мурманск весь заливала.

Я подумал: в месяце мае
в Заполярье — белые ночи.
Очень просто. Можно ложиться.

Дело было не так уж просто:
под окном в два часа ночи
футболисты детского роста
мяч гоняли что было мочи.
На,
как Красная площадь,
огромной
площади,
очень ровной и точной,
словно дуб среди долины ровной,
рос футбол,
шел матч полуночный.
Мяч взлетал, и матч продолжался.
Дети знали: дремлют в отеле.

Матч подальше от окон жался:
разбудить меня не хотели.
Темноватой земли отростки,
бледноватые были дети,
но играли в футбол подростки
здесь,

как и повсюду на свете.
Несмотря ни на что: на то, что
полюс Северный очень близко
и зеленого мало кошту
(витамины — лук да редиска) —
продолжался матч полуночный
на площадке, солнцем багримой,
и удар был сильный и точный
и защита — неборимой.

Я, уставший после дороги,
не хотел от окна оторваться:
высоки были эти отроги
человечьего, доброго братства.

ГРУППОВОЙ ВЫСОТНЫЙ ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК ПАРАШЮТИСТОК

(По статье судьи республиканской категории
Винокурова, «Правда» № 16995)

На морозе шестидесятиградусном
пели девушки в волненье радостном
и — от боли бешеной в ушах.
Пели для преодоления
изменения
атмосферного давления.
Пели,
сделав в бездну шаг.

Девять километров от земли.
Парашютов — не раскрыли;
и не то чтоб птицами парили,
а камнями вниз пошли.
Вниз лицом лежали на воздушной,
на тугой струе.

Думали о доме, о семье,
о профессии немалодушной,
и чтобы не думать — пели, пели
все, что знали. Путали слова
и мороз решительный терпели
еле-еле и едва-едва.

Восемь километров пролетев,
в километре от земной поверхности,
пятеро полузамерзших тел
вышли из необыкновенности.
Резкие хлопки раскрывшихся
парашютов. Спорт есть спорт.
Кончился обвал, обрыв. Мировой рекорд.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА №

Равенство в еде и в тесноте,
в норме хлеба,
в пайке воздуха,
в круглосуточной,
почти без роздыха,
каждодневной суете.

Лодка погибает вся и сразу,
офицеры и матросы вместе.
Равенство пред жизнью и пред
смертью,
ради дела, а не ради фразы.

Очень развитой народ,
точно понимающий задачи,
знающий про кислород
и по книге и по недостатке,
изучивший углекислоту

по учебнику, по переизбытку,
а давление и высоту —
как попытку и как пытку.

Шутят все. С утра до вечера.
Знают, что без шутки пропадешь,
но следят,
чтоб выходило вежливо,
без
грязнящих самолюбие
подошв.

Крепко, каменно сжимают руку,
взглядами прямыми пламеня,
и читают Пушкина друг другу,
что приятно
очень
для меня.

* * *

Столица нашей Родины — Москва,
Столица той земли, где я родился,
Где я укоренился, утвердился.
И это вовсе не слова.

Нет, это и слова, тот говорок,
Арбатский, мхатовский, замоскворецкий.
Тот говорок, где суть промежду строк.

Но если надо, режет: «Нет!» и «Да!»
И голой правдой отношенья мерит
Москва, которая слезам не верит:
Кому победа, а кому беда.

А в общем, нету места на земле,
Где лучше бы писалось
и работалось,
Точней, чем здесь.
Где время
позаботилось,
Чтоб мне светило во вселенской мгле.

Александр Межиров

* * *

Просыпаюсь и курю...
Засыпаю и в тревожном
Сне
 о подлинном и ложном
С командиром говорю.

Подлинное — это дот,
За березами, вон тот.
Дот как дот, одна из точек,
В нем заляжет на всю ночь
Одиночка-пулеметчик,
Чтобы нам ползти помочь.

Подлинное — непреложно:
Дот огнем прикроет нас.

Ну, а ложное — приказ...
Потому что все в нем ложно,
Потому что невозможно
По нейтральной проползти.
Впрочем... если бы... саперы...
Но приказ — приказ, и споры
Не положено вести.

Жизнью шутит он мою, —
И, у жизни на краю,
Обсуждать приказ не смею.
Просыпаюсь и курю...

Нина Новосельнова

АДРЕСА

От радости как будто пьяные,
Мы разъезжались по домам.
Столбом стояло над баянами
Веселье — с пылью пополам.

Сверкала синь на белых клавишах,
Забыты боль, усталость, страх.
Но было так, что о товарищах
Мы забывали второпях.

А ехать долго. Под рубашками
Вскипала жаркая роса.
И вдруг солдаты тихо ахали,
Друзей читая адреса.

И в разговор вступали спутники:
«Тимчук — Одесса ли, Ростов?»

Как много в спешке перепутали
И потеряли адресов.

Отцовский дом. Тропа укропная.
Седая хлопотунья-мать...
Ночь. И бессонница окопная
К тебе садится на кровать.

Снега, снега, — поля безвестные...
И вдруг ударит в сердце: «Друг!»
В Ростове или под Одессою
Живет сапер Иван Тимчук?

Вот шрам — Ванюха перевязывал
Своим бинтом. Прошло плечо,
Но от всего, что не рассказано,
Вот здесь, у сердца, горячо.

Иван Шамов

ГРОЗНЫЙ

Надо мною купол звездный,
Голубая ваза,
А вокруг — рабочий Грозный,
Гордый сын Кавказа.

Залит яркими огнями,
Весь в сиянье мудром,
Он мне нравится ночами,
Но прекрасней утром;

В час, когда увидишь ясно
Белый шлык Казбека,
В час, когда заводы властно
Кличут человека,

Оживают установки,
Светлые дороги,
И рядом идут вдоль бровки
Молодые боги,

И девчонки озорные,
Смуглые плутовки,
Заполняют проходные,
Мчатся к остановке...

В час такой в шеренге шумной
Иль в кабине крана
Неприменно встречу умный
Облик ветерана,

Ветерана, что с боями
Облетал полсвета,
Над родимыми горами
Защищал все это —

Терек, Сунжу, купол звездный,
Лист ребристый вяза
И тебя — рабочий Грозный,
Гордый сын Кавказа.

Павел Арский

ТРИ ИВАНА

В час, когда на небе жарко
Разгорался звездный рой,
По рукам ходила чарка
За беседой круговой.
Говорили три Ивана.
Первый молвил: «В добрый час!
На сто метров два фонтана
Нефтью брызнули у нас!»
С неба звездочка упала.
Тут сказал другой Иван:
«Два фонтана? Это мало!
На сто метров — не фонтан.
Вот у нас поутру рано
Случай вышел не простой:

Заиграли три фонтана,
Метров триста высотой!»
Пряча в ус свою улыбку,
Третий вымолвил Иван:
«Поработали вы шибко.
Триста метров? Не фонтан!
Мы не хуже вас трудились,
А вчера у нас, не в счет,
Семь фонтанов заструились,
Каждый метров на семьсот!»
В час, когда на небе жарко
Звезды розами цвели,
Три нефтяника за чаркой
Разговор такой вели.

Вячеслав Кузнецов

МЕД

Аванс был взят. Пол-литра водки.
Дядья смотрели как сычи.
И вот я ехал в гости к тетке,
на деревенские харчи.

Она умело расписала
и дом, и сад, и огород.
В том доме все —
и хлеб, и сало,
но главный козырь
это — мед.

А я был тощ, как хвощ,
и бледен;
не эскимо —
снежок лизал.
И мед я связывал с медведем,
а с чем едят его,
не знал.

Я был изрядный простофиля
и об одном мечтал:
поесть.
Ну что тут скажешь?
Дистрофия,
вполне военная болезнь.

Она исполнила угрозу,
она меня свалила с ног...
Но витамины
и глюкозу
сулил мне тетушкин медок.

...И вот лежит он,
комковатый,
подобьем солнца
и огня.
К нему тянусь я виновато,
и ломит зубы
у меня.
— Ты ешь-то, ешь,
да, чур, не ложкой, —
сказала тетка, глядя в рот. —
Ведь это ж мед,
а не картошка,
а нынче и картошка —
мед.

Я поперхнулся хлебной коркой, —
кто был унижен,
тот поймет, —
мне показался очень горьким
густой,
в янтарных сотах, мед.

Он горше был той самой водки,
распитой кем-то втихаря...

...А голод
все-таки не тетка, —
да,
это сказано не зря.

Александр Коваль-Волков

ДРОВА

Меня учили понимать
Поэзию труда.
Бывало, только скажет мать:
«Сынок, поди сюда,
Возьми за печкою топор
И наколи дровец» —
И я стрелой летел во двор,
Я по дровам был спец.
Я кряж заиндевелый брал
Сучкам наперекор
И, на ладони поплевав,

Вгонял в него топор.
А после — клин,
За ним — второй
В тугую щель входил.
Кряж
Напрягался под корой,
Себя я не щадил.
И в дело каждое сполна
Я вкладывал свой пыл:
Вторую зиму шла война,
Я в доме старшим был.

Николай Букин

СХОРОНИТЕ МЕНЯ НА РЫБАЧЬЕМ

Схороните меня на Рыбачьем,
На высокой гранитной скале,
Где в суровую пору я начал
Песнь свою о родимой земле.

Схороните меня на Рыбачьем
Под холодной Полярной звездой,
Где прибой и грохочет и плачет
И кружится баклан над волной.

Я горел и не мог жить иначе,
Не умел только существовать.
Схороните меня на Рыбачьем.
Только мне недосуг умирать.

Марк Лисянский

АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ

Он называл меня Маркелом,
И я любил, когда ко мне
Обычно так наедине
Он обращался между делом.

Он любовался каждым словом,
Он широко и звонко жил
И, женской лаской избалован,
Мужскою дружбой дорожил.

Нет, не легко мы начинали,
Мы жили собственным трудом.
Мы сами песни сочиняли
И сами пели их потом.

И почему-то было странно
Услышать, как твои слова
В сопровождении баяна
Поет армейская братва.

Одну из песен не допел он,
А песня выжила, живет.
...Никто, наверное, Маркелом
Меня теперь не назовет.

И никакими тут словами
Нельзя помочь. А жизнь — одна!..
Друзьям давал он имена,
Делился песней с соловьями.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ МОИ

Когда мне двадцать пять
Исполнилось,
Я сказал:
— Это лучшие годы мои! —
Над головою
Сверкали молнии,
Не за горами
Гремели бои.

В тридцать
Я повторил
То же самое
Под Старобельском,
У смертной межи.
Стучало в атаке
Сердце упрямое:
— Это лучшие годы мои!

И сегодня
Времени,
Ко мне идущему
По школьной тропинке
От первой любви,
Я говорю
В назиданье грядущему:
— Это лучшие годы мои!

А в юности,
Празднуя дни рождения,
Когда пели беспечные соловьи,
Я не понимал,
Что годы весенние —
Это лучшие годы мои.

Леонид Шемшелевич

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Мне косточка вишни
Под небом Бердянска
Дороже жемчужины заокеанской.

Михаил Голодный

...Он в жизни не искал отдушин
И краснобаев избегал.
Он был горяч и прямодушен,
Был добр и никому не лгал.
Читал карманные словарики.
И нараспев стихи слагал.
И с крыши дома
За Москва-рекой
Бумажных змеев запускал...

Он говорил мне:
«Брось трюкачество.
Оставь циркачество-рифмачество.
Поэт — не клоун,
А пророк...»
Я был влюблен в его ребячества,
В огонь его певучих строк,
В его чудесные чудачества,
В его картавый говорок.
В его живую переменчивость,
В его характер непростой,
Где простодушная застенчивость
Дружила с гневной прямотой.
Против махновской поножовщины
Он с чоновским отрядом шел.
На древних шляхах Приднепровщины
Он песни новые нашел.
Он был не тем, кто, стих кропая,
Не знал потом, что делать с ним.
Он пел
О Щорсе,
О Чапае
Друзьям — соратникам своим.

И в Мурманске,
И в Молодечно,
На площадях твоих, Москва,
Встречал я песен тех сердечных
Неотзвучавшие слова.

И через грохот дальних залпов,
Что наповал франкистов бьют,
Писал поэту Матэ Залка:
«В Испании тебя поют!»

Я знаю, что в годину горькую,
Когда кровавый дул сквозняк,
На смертный бой
Шли вместе с Теркиным
Судья Горба и Железняк!¹

Мне встречу не забыть душевную,
Когда, коря свои «грехи»,
Он в поезде с тоскою гневною
Ночь напролет читал стихи.
И до сих пор еще не верится,
Что мой товарищ дорогой
Стал холмиком на Новодевичьем,
Поросшим молодой травой...

В степи седой туман колышется
Над тишиной родных могил.
И только песня звонко слышится,
Что он на радость нам сложил.

¹ Герои стихов М. Голодного.

Михаил Дудин

ИЗЕТУ САРАЙЛИЧУ

— Два человека создали Далмацию:
господь бог и Мештрович...

(Из частного разговора)

Мне снится Адриатика, Изет.
Лазурь и солнце воедино слиты.
И моря синь, и синий неба свет,
Ультрамарин на белых плитах Сплита.

И в медленных глазах голубизна
У девушек, не знающих покоя.
И средиземноморская весна,
И пряный дух лаванды и левкоя.

И голых гор сиреневый отлив.
Разлапистые кроны синих пиний.
Холодный дым серебряных олив.
Торжественная угловатость линий.

И море спит. Щека на парапет,
Спят лайнеры — скитальцы океана.
Мне снится сон. И в сон спадает свет
Через века от Диоклетиана.

На плитах эпитафии молчат.
Элады затухает позолота.
Но все стучат, настойчивей стучат
По мрамору проворные долота.

В опоках бронза обрела покой.
Шлепками на каркас ложится глина.
Рождается под мудрою рукой
Душа, и мысль, и песня славянина.

Душе его нести через века
Грядущим поколениям гостинец.
Открыто учит два материка
Искусству благородства Далматинец.

Я в мастерской пробуду до утра.
Здесь мысль его для мира песню спела.
За мастерской вздымается гора
Горою неоконченного дела.

А сколько нам с тобой тесать, спеша,
Мой брат по песне, по костру Победы.
Поэта беззащитная душа
Кричит в туман, предупреждая беды.

У нас с тобой на жизнь одна звезда.
В твой город входит без оглядки лето.
Он к звездам приколочен навсегда
Мечетями — гвоздями Магомета.

Виктор Кочетков

* * *

Мне говорят,
Что я ершист и колок.
«Покладистее будь» —
не раз внушают.

* * *

В лиловой дымке рощи и дома,
и вдоль реки сторожевые вышки.
Сползает мрак с прибрежного холма,
как шерсть с овцы
во время летней стрижки.

Ах, чудаки!
Мне кланяться мешает
под самым сердцем спрятанный
осколок.

В окне заставы
свет уже потух.
Рассвет
лисой крадется к перелазу.
И разноцветный молодой петух
трубит зарю
двум государствам сразу.

Владимир Котов

ПИСЬМО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Не скажу, что видел много стран я,
не скажу, чтоб это было странно,
но бывал, бывал я за границей,
«заграница» в сердце сохранится...
Помню,
нас опутывала тонко,
мы ей улыбались,
да недолго, —
мы ведь ей в любви не присягали, —
и границу вновь пересекали!
О блаженный миг, большой и чистый,
встреча вновь с любимой отчизной!
К окнам,
к окнам
высыпав грачами,
мы родной земле
«ура» кричали!
Нашего солдата пограничного
мы встречали словно друга личного.
Каждую тропинку и травинку
обнимали взглядом, как новинку.
И бросались
чуть ли не со стоном
поскорей прильнуть к родным просторам,
и летели
над землею
птицей,
распростившись
с заграницей.
Это счастье нами не уронено —
по тебе ходить,
с тобой быть, Родина!
Милые красавицы России,
вас не зря в стихах превозносили!
Честь и слава вам навеки,
только
я хочу сказать о том, что горько.
Сколько вас напрасно было отдано
камням Рима
и туманам Лондона,
берегам и Сены и Гудзона,
лапищам неона и гудрона.
Сами вы, ретивые, бежали
строить с милым рай за рубежами!
Да, любовь, конечно, не картошка.
«Некартошке»
помогла киношка,

песенок и басенок помада,
дескать, шире быть во взглядах надо,
русская краса повсюду ценится,
а Россия никуда не денется...
Уезжала ладушка,
и вскорости
начинались маленькие горести.
Начиналась жизнь,
да не экранная,
а по самой сути
иностранный!
За границей мордочка красивая
превращалась
в мордочку крысиную,
из-за всех реклам она глядела
и вгрызалась в душу
где хотела!
Не каприз, —
выматывала дочиста
и как приз
вручала
одиночество.
И любовь,
уж как ни притворялась,
льдинкою в коктейле растворялась.
И ночами
в звонкой загранице
начала вдруг Россия сниться...
Запахом ржаным родного хлеба,
простотой открытой друзей,
зеленью ветвей и синью неба,
новой судьбой и правдой всей,
правдой и живущих и умерших,
тягой ключевой сокрытых сил
Родина тебя повсюду держит
где бы ты ни плавал,
где б ни жил.
Плачет лада,
плачет темной ночью.
Не во сне б Россию ей —
воочью!
А Россия вроде как и близко,
да не так все просто, — не туристка...
К окнам,
к окнам
высыпав грачами,
мы родной земле
«ура» кричали!

Борис Сибиряков

АМУРСКИЙ ЗАЛИВ

Забывая раздеться,
объятая раскрыв,
я бросаюсь,
как в детство,
в Амурский залив.

Пахнет рыбою густо,
и соленой водой,
и морскою капустой,
и морскою звездой.

Ну, давай,
ну, понянчи,
дорогая купель!
Побаюкай, как раньше,
меня, колыбель!

И опять,
словно в детстве,
я мальчишески худ.
И кругом
по соседству
ребятишки плывут.
По морскому рассолу,
в искрах светлой пылицы —
Первореченской школы
огольцы-сорванцы.
На волнах —
будто пробки.
Всяк по-своему лих.

Колыбелью неробких
был Амурский залив.

Их — вы знаете сами —
прокалило огнем.
В первый раз
на Хасане.
На финской потом.

Шли ребята по минам.
Всю войну отгребли.
И один до Штеттина,
а другой до Сейсина
довели корабли.

И не вышли из строя —
кто жив, кто не жив.

Колыбелью героев
был Амурский залив.

А теперь стали седы
твои сорванцы.
Все почти уже деды.
И давно уж отцы.

На солидной работе.
И большая семья.
И сегодня на флоте
вместо нас сыновья.

И для них
уже тесен,
для них
уже крив,
и для них
уже пресен
Амурский залив.

По далекой орбите
курс проложен
для них.

Да ведь мы
не в обиде,
Амурский залив?

Хулио Матеу

НОСТАЛЬГИЯ

Всю — с рощами, оливами, закатами —
Хочу обнять ее, ни в чем не каюсь.
Хочу сыграть я в бой быков с козлятами,
На кактусов колючки натыкаясь.

Хочу я берег моря сделать ложем,
Уснуть, как в детстве, на песчаном насте.
Пускай споткнется об меня прохожий,
Мне все равно — я полужив от счастья.

Да, ностальгия! Сердце верить хочет,
Что я ребенок тоже был когда-то.
Но ты мечтой в мои приходишь ночи,
И вся душа становится крылатой!

Да, ностальгия! Ты — такая жажда,
Что утоляют лишь родные реки,
Ведь только слезы радости расскажут,
Какой тоской живешь ты в человеке.

Да, ностальгия!.. Сердце помнит свято.
На кипарисах солнечного края
Я имя напишу того солдата,
Что дал мне жизнь, за счастье умирая.

Но если день на место ночи встанет
И я вернусь к отчизне, ностальгия,
То в душу мне еще сильнее глянет
Тоска большая по моей России.

Да, ностальгия! Будет так, я знаю:
Все прошлое сойдется в сердце клином,
В стране своей почувствую себя я
Лишь эмигрантом, а не кровным сыном.

Тоской московской ждет меня Испания,
Я болен здесь испанскою тоскою, —
Две родины, мне от рожденья данные,
И две тоски мне не дают покоя.

Перевел Игорь Ринк

Юнна Мориц

ФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Поймали генерала.
Поймали! Генерала!
Танцуют телефоны,
В Париже кутерьма.
Он был кровавый малый.
Он был! Кровавый малый!
Давно ему светила
Тюрьма, тюрьма, тюрьма.

Полиция в ударе,
Полиция в ударе:
Подлец гримировался,
Но пойман все равно.
Он пойман в будуаре.
Он пойман! В будуаре!
Подробности в газетах,
Афишах и кино.

Внимание, французы!
Внимание, французы!
Он будет, будет, будет
Допрошен — и убит.
И жители Парижа,
И жители Тулузы,
Спокойнее! Спокойно!
Полиция не спит.

Над куполом вокзала,
Над куполом вокзала
Висит французский месяц,
Оранжевый башмак.
Поймали генерала.
Поймали! Генерала!
Но было все иначе
И выглядело так,

В полицию Парижа
Звонили для начала:
— Здорово, идиоты!
Способны на подъем?
Хотите генерала?
Хотите? Генерала?
Хотите? Генерала!
Берите. Отдаем.

В отличной упаковке,
В отличной упаковке:
Лионские веревки.
Еще бы! Жив-здоров.
Подонки на диете,
Подонки на диете:
Давайте только третья —
Ни мяса, ни жиров.

Парадное — направо,
Парадное — направо,
Парадное — направо,
Берите, дорогой!
Осточертел он, право.
Осточертел он, право.
О, не смущайтесь, право:
Теперь у нас другой!

Поймали генерала.
Поймали генерала.
Танцуют телефоны,
В Париже кутерьма.
Плывет по небу месяц.
...На полотне Шагала
Плывут по небу люди,
Сошедшие с ума.

Александр Николаев

**ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ.
ЧИТАЯ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»**

Степан Щипачев

НАД СТРАНИЦАМИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

За временем не угнаться.
Оно ракетами рвется вперед.
Мне вспомнился девятнадцатый,
за ним — и двадцатый год.

«День поэзии». Москва, 1964

Того не понять слабонервным,
как время летит порой,
что следом за двадцать первым
шел сразу же двадцать второй.

А дальше шел двадцать третий.
Богато тех лет наследие.
Я счастлив, что годы эти
отмечены в энциклопедии.

Они — как в строю солдаты,
расчет их самый простой:
я рад, что за двадцать пятым
шел именно двадцать шестой.

Отмечу закон природы,
подмеченный мной впервые:
сперва шли тридцатые годы,
за ними — сороковые.

Стою, от сознания гордый,
что годы летят вперед,
что каждый из них четвертый
был високосный год.





Роберт Рождественский

ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ

...гудят поезда,
громыхая бессонно,
бессвязно.

И я поднимаюсь,
и я подчиняюсь крику.
И в собственном крике —
тяжелом и темном —
вязну...
Я должен прыгнуть.

...себе я не доверяю.
Смеюсь над собой,
и никак не кончается это!
Я голос теряю...

«День поэзии». Москва, 1964

Вы спросите:
откуда
берутся
поэты!

Поистине
неисповедимые пути
им даны:
иные к Луне устремляются
с вашей планеты,

а я,
наоборот,
на вашу планету
свалился с Луны.

И я поднимаюсь,
и я подчиняюсь крику!
И в собственном крике —
тяжелом и темном —
вязну...
Я должен прыгнуть.
Но никак не прыгну.
Пишу,
громыхая бессонно,
бессвязно.

Борис Слуцкий

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ



Любые полеты начинаются
с полетов во сне.
Все летают во сне.
Наяву — только очень немногие.
Всех качало сначала, подобно
одинокой сосне.
Все взлетали потом, как жуки
мохноногие.

«День поэзии». Москва, 1964

Космическая пыль вдали видна.
Летят жуки, как будто бомбовозы.
Не физики и лирики война,—
идет война поэзии и прозы.

Зенитки застучали у реки,
прошили небо огненные нитки.
Гляжу — а это вовсе не жуки,
а я лечу.
И бьют по мне зенитки.

Я взят в кольцо зенитного огня,
и на хвосте уже снаряды рвутся.
Они, конечно, сбили бы меня,
но хорошо,
что я успел проснуться!

Виктор Боков

ДЕРЕВНЯ ЯЗВИЦЫ



Речка Гордынь.
Деревня Язвицы.
Две черемухи машут листвою.
Я не вижу особенной разницы
между Язвицами и Москвой.

«День поэзии». Москва, 1964

Коромысло берет Наташа,
за ведром нацедив ведро,
и с достоинством входит в наше
новоязвицкое метро.

Нет курантов!
Какая разница!
Утром будит нас «ку-ка-ре-ку».
Видно, скоро родные Язвицы
я столицею нареку.

А в Москве на Колхозной площади
я б создать предложил колхоз:
пусть с Большого театра лошади
не глядят свысока на овес.

В наших Язвицах каждый учится.
И из Язвиц, куда ни шло,
если столичный град не получится,
в крайнем случае — хоть село.

Умножение, и деление,
и инверсии я учу.
А наступит распределение —
направление получу.

До свиданья, речка Гордынь!
Как разлуку переживу!
Направляйте, ведь я не гордый,
в крайнем случае —
хоть в Москву.

Леонид Агеев

ЗАСОХНУ НА КОРНЮ

«День поэзии». Ленинград, 1964

Я деревом пророс — и вот я вырос...
Я стойкий,

я созвучный всем ветрам.

Моим корням — и сумрачно и сыро,
светло с утра до вечера ветвям.
Старуха!

Приведи ко мне корову,
краюху доставай из узелка...
Хлеб-соль тебе, мамаша!

Будь здорова...

Ходи по свету, ходится пока...

Снегов,
дождей,

людей чередованье...

И снова время на каком-то дню
мое приостановит кольцеванье —

я вновь усну, засохну на корню.

Мужчина за проселками в поселке!

Тебе мои последние слова:

не надо ни для стула, ни для полки —
спили меня, мужчина, на дрова.

Не оскорблю себя сравненьем грубым.

Однажды ночью, утром или днем
дам дуба я, чтобы не быть мне дубом,
сгорю дотла, чтоб не остаться пнем.

*К оригинальным стихам Л. Агеева я прибавила
только одну строфу — последнюю.*

А. Николаев

Юрий Благов

ХАНЖА

Ханжа в редакцию вбежал
В смятенье и в обиде,—
Мол, снял танцовщицу журнал
В совсем открытом виде.
Ему художник и завред
Ответили на это:
Всегда балет не-до-о-дет,—
Таков уж стиль балета.
Фотограф снял бы и в пальто
Артистку иль спортсмена,
Да не увидел бы никто
Их линий без рентгена.

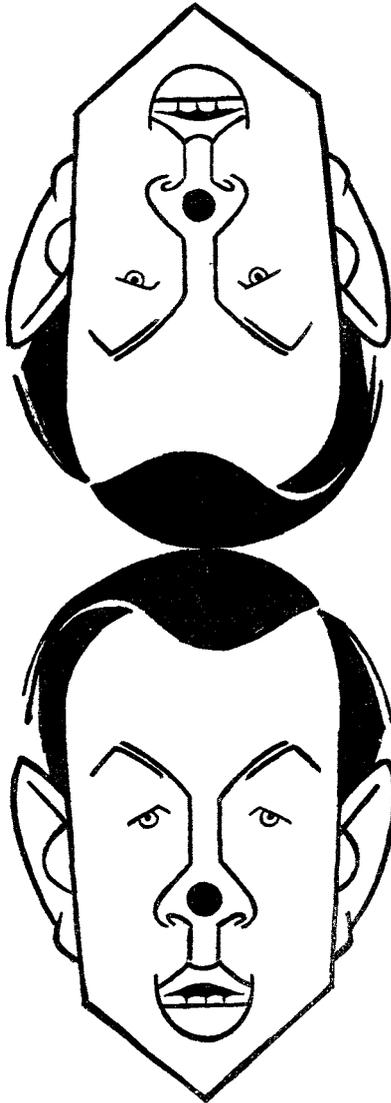
Так бросим лучше глупый плач
И ханжество не в меру,
Не то пойдем в музей
и плащ
Напрялим на Венеру...
— Пойдем! — ханжа ответил в тон,
Расставшись с видом мрачным.—
Венере нужен плащ,
при том
Он
может
быть
прозрачным...

Александр Иванов

ПОЗА

(Андрей Вознесенский)

Пародия



Аве, выход единственный в мире!
А это гениально: е2 — е4.
В камине ли, аминь ли, Безу ли, Фарадей...
А если нет в мадере современного гарде!

Пес за зайцем.
Пли по псу!
Бейте яйца
По эллипсу.

А Ренессанс, холера, фатально не урод!
А поворот налево — не левый поворот!

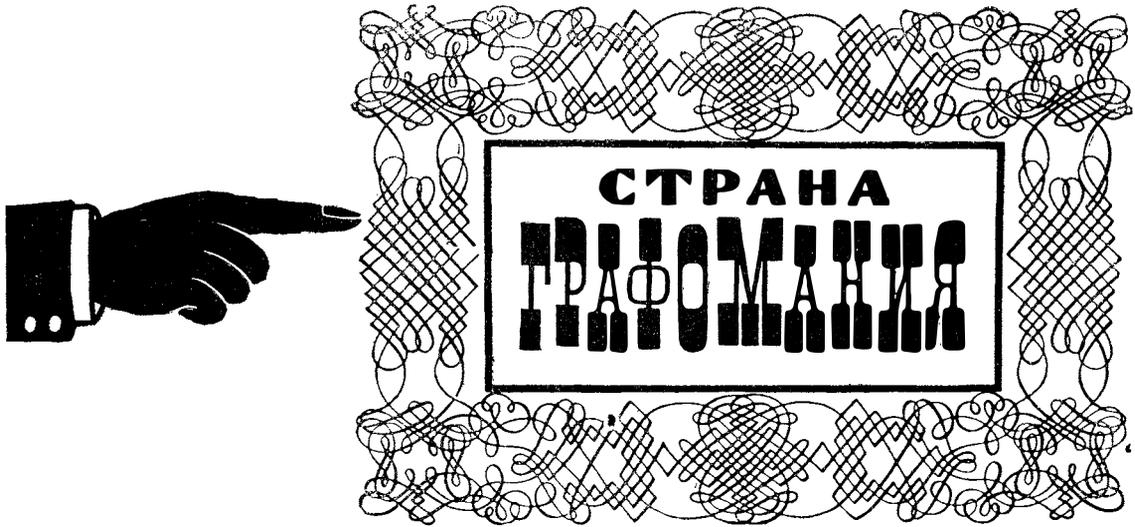
Киси-писи. Рифма — Дионисий.
На фи́га ж тогда

струя по биссектрисе!!
А ЕСЛИ ПИСИ — ЭТО КОМБИНАЦИЯ
АМИНОКИСЛОТ!

Питая, таю.
Тю-тю вослед.
Изобретаю велосипед!

Кто ты! Муся!
А, может, ОСЯ!

А если так, то я вовсю
АНТИВОЗНЕССЯ
и так висю...



(Из архивов литературных консультаций. Редакция подлинность удостоверяет. Орфография и пунктуация авторские)

•

Пушкину

Я лежу поэтом на диване,
Ты весишь портретом на стене...

•

«...Я надеюсь, что вы коснетесь всеми вашими чувствами моих стихов и дадите исчерпывающий ответ в их непригодности. Прошу указать мои положительные и отрицательные дефекты...»

•

Оборвались струны жизни
И заснул он вечным сном.
Его члены неподвижны
Нету живности при нем.



●

«Дорогая редакция!

Вы пишете в моих стихах не хватает гипербол метафор и эпитетов а где мне их взять здесь в деревне?...»

●

В саду тебя я встретил летом.
Это не сказка и не сон.
И стал я начинающим поэтом
В любвиобильный тот сезон.

●

«Я начинающий поэт и мне писать дается еще школьной скамьи. Но я живу очень плохо денежных средств нет света в квартире нет и не кто небеспокоится о нем. Прошу вас чтобы дали мне денежные средства был в квартире свет — а также загородили двор частоколом, и дали мне руководящую работу».

●

Гангрена с алчностью ужасной
На пальцы ног его пришла.

●

Мой взор съедал тебя в анфас
Не в силах вымолвить ни слова...



●

И сердце хлопает по левому плечу
Не в силах удержаться от волнения.

●

Вся просвещенная Европа
И древний мир больших умов,
Стыдясь звериного порока
Сосали кровь с спины рабов...

●

«Мои стихи сплошная образность. Приведем пример:

Да и ты не скучай —
Забывай!
Проходя пожелтевшей долиной,
Синий-синий сиреневый май
Ты забудешь под плач журавлиный!

Что в этом куплете? В этом куплете лирическое «ты»..., т. е. она... скучающая; пожелтевшая долина, синий-синий сиреневый май и журавлиный плач,— в четырех строчках четыре поэтических образа! — и что это разве не новое? Да это больше того, чем новое,— это мировой рекорд!»

ЛЮДИ И ПТИЦЫ

Я с детства люблю птиц — от певчей крохотной пеночки или самой что ни на есть неприятной и вертлявой синицы до роскошного белокипенного лебедя, недоступного даже в озерных местах моего родного Зауралья, в камышинных теремах летних гнездовий.

Любовь к птицам у меня отнюдь не бессознательная слабость, а скорее эстетический принцип: мне нравится свобода птичьего полета, вольный выбор поселения, близость к растительному миру, единение с ним. При этом я ревниво отличаю в птичьем царстве полезных от бесполезных, беззащитных от умеющих постоять за себя, миролюбивых от опасных хищников.

Что же касается вредных хищников — таких, например, бесцеремонных, как ворона и сорока, уничтожающих птенцов в чужих гнездах, — этих я нещадно истребляю при каждом удобном и неудобном случае.

Особую нелюбовь я питаю к ястребу-тетеревятнику, который по своим кровожадным замашкам напоминает мне обыкновенного фашиста: он когтит и пожирает дятла, клеста, щегла, скворца, белку и прочую лесную невинную живность.

Зачем же, однако, так пространно говорить о птицах, когда надо отвечать на вопрос о том, каким я себе представляю мир через двадцать лет? Что это — разговор о птицах — случайность? Нет, я просто пользуюсь правом поэта и иду в рассуждении путем аналогии.

По моим понятиям, люди, так же как и птицы, резко делятся на полезных и вредных.

Среди нас, людей, есть трудолюбивые дятлы, оберегающие сосняки и березняки, неутомимые хлопотуньи-синицы, есть голуби-связисты, есть певцы-соловьи и так далее...

Но среди нас, людей, есть, к сожалению, и свои всеядные вороны и сороки, свои наглые ястребы-тетеревятники, свои крикливые демагогисойки и безответственные эгоистичные кукушки.

Сегодня между полезными и вредными пролегла широкая полоса демаркации, необходимая межа законности, на которой еще вынужденно произрастают милицейский жезл, мандат следователя, высокие кресла прокурора и судьи и даже холодный ключ от камеры.

Иное будет через два десятилетия!

Я верю, с убежденностью верю, что война будет устранена с пути человечества. Хочется думать, что мир через двадцать лет будет свободен от омерзительного груза термоядерного оружия.

Ну, а искусство, в частности литература, — какими будут они в нашей стране и в странах социалистического лагеря!

Воображение рисует картину полного, бурного, как половодье, расцвета многочисленных талантов из народа. Установится, по-моему, своеобразный закон — конкурс непрерывного строгого творческого соревнования, пробы на качество — как в среде профессионалов, так и в кругу мастеров самодеятельности. И будет это соревнование происходить на виду у всего народа, и первенство будет присуждаться на миру, а не за закрытыми дверями весовщиков-вкусовщиков!

Но вот вопрос: будет ли почва для создания художественных произведений на основе жизненных конфликтов, бытовых противоречий, лю-

бовных и прочих неурядиц! Останутся ли причины для изображения остаточных явлений эгоизма, собственности, лени и т. д.! Иссякнет ли драматизм в стихах, поэмах, пьесах!

Я думаю, что при всей своей завидной приглядности и высоте, при всем своем справедливом устройстве жизнь всегда будет давать темы для сложных психологических коллизий. Да, и при коммунизме пригодятся мастера глубокой лирики и заразительного, очистительного смеха.

Впрочем, эту мысль, думается, я выскажу более внятно и точно в свойственной мне веселой стихотворной форме. Вот моя «Декларация поэта-сатирика»:

Я понимаю, знаю наперед:
ну, скажем, лет примерно через двадцать
жить будет дружный наш герой-народ —
счастливо жить. Не жить, а красоваться.

Всем флагам мира, всей земле в пример
{кому — на радость, а кому — на зависть}
взметнется к солнцу флаг СССР,
эмблемой Коммунизма развеваясь.

Всего — избыток, каждому сполна
широкой долей все земные блага:
и свежий хлеб, и высший сорт вина,
и кров, и свет, и писчая бумага.

Сады добра вокруг произрастут,
взыграет море всяческих новинок,
исчезнет незаконный институт
облупленных критических дубинок.

Не жизнь, а блеск. Не время, а восторг
по всем прогнозам и по всем приметам.
И даже беспощадный книготорг
проникнется симпатией к поэтам.

И даже можно будет диалог
чувствительный услышать, вероятно:
«Я, извините, вдарил Вас разок.
Прошу Вас, дайте дважды мне обратно!»

День будущего будет свеж и чист.
Без мелких ссор. Без дрызг. Без обличенья.
Все это так. Но я, как реалист,
представьте, допускаю исключенья.

Случиться может, в светлый Коммунизм,
как вкрадчивая плесень, как полипы,
как попозавчерашний архаизм,
проникнут нежелательные типы.

Примажутся. Вотрутся. Проползут.
Конечно, это будут единицы,
но временами неприятный зуд
на общество от них распространится.

**В надежде обрести свой скрытый дот
или вернее — захватить болотце,
и бюрократ какой-нибудь пройдет,
и подхалим, пожалуй, проберется.**

**И мещанин расчетливо, как встарь,
ступая осторожными стопами,
приволокет фамильный инвентарь
с потомственными рыжими клопами.**

**Да, да! Не смейтесь, ибо надо знать,
что, даже в бездну брошенные с кручи,
поганки могут чудом воскресать —
отдельные из них зело живучи.**

**Представив эту дрянь издалека,
я пеленою глаз не застилаю
и в два категорических витка
торжественно сегодня заявляю:**

**в восьмидесятом, если буду жив,
прошу считать меня бойцом-солдатом —
безжалостное жало обнажив,
я буду жалить, как в шестидесятом!**

*Р*АБОТА

ПОПУЛЯРНОСТЬ И НАРОДНОСТЬ...

...Популярность и народность – вот что особенно волнует творческую молодежь.

Мы хотели бы узнать Ваше авторитетное мнение об этих понятиях.

Ваш ответ поможет очень многим, любящим поэзию, получить более глубокое представление об истинных ценностях в искусстве и литературе...

(ИЗ АНКЕТЫ «ДНЯ ПОЭЗИИ»)

М. Исаковский

Из письма в редакцию

Я очень благодарен Вам за то, что Вы вспомнили обо мне. Я охотно откликнулся бы на Вашу просьбу, но ничего не могу поделать. Я уже давно болен. Поэтому все, что когда-то было мною задумано или даже в известной мере начато, все это стоит пока на месте, не движется вперед.

При таком положении мне трудно обещать Вам, что я смогу что-либо дать в сборник «День поэзии», правда, просите Вы немногого.

...Вы хотите, чтобы я в краткой, «анкетной» форме сказал несколько слов о народности поэзии, о ее популярности (в хорошем смысле слова), так как, мол, это очень интересует нашу поэтическую молодежь.

Вопреки Вашему утверждению, я думаю, что по крайней мере очень боль-

шую группу молодых поэтов ни в какой мере не интересует народность. И разговаривать с этой группой о народности просто бесполезно. Но дело не в этом и не в этой только группе.

Дело в том, что — таково мое мнение — если начинать разговор о народности и популярности, то разговор этот нельзя ограничить краткими анкетными ответами на вопросы. Разговор должен быть самый серьезный, довольно длинный и очень доказательный. Вступить же в такой разговор я сейчас просто не в силах по причине, о которой сказано выше.

Прошу прощения, что так получается, но что же тут можно сделать?

Большой Вам привет.

20.IV.1965

Популярность и народность — понятия сближенные. В точном толковании «популярность», «популярный» — не только широко известный, но и полезный народу.

Народность, пожалуй, не нуждается в особом толковании. Звания: народный артист, народный художник, народный поэт — у нас широко распространены, и все понимают, что эти звания включают такое творчество, такое мастерство, которое служило народу долгие годы и выражало народные чувства и народные мысли. Стоит назвать такие имена — и сразу станет понятно без всяких объяснений, что это имена, которыми гордится наш народ, и достижения которых, как говорится, входят в сокровищницу социалистической культуры.

Понятие же «популярность» у нас толкуется по-разному. Отвергая или, вернее, не считаясь с тем, что в слово «популярный» входит и понятие, что он «полезный народу», за этим словом оставляют только значение широкой известности и успеха, который шире обычного.

На примере из прошлого можно в этом легко убедиться. В свое время футуристы всех мастей были известны, потому что объезжали города и веси старой России и всюду проповедовали свою новую «веру», всячески свергали «классиков», читали стихи, приводившие в ужас ошеломленных слушателей, утверждали заумное, самовитое слово. Их слушали иные с восторгом, иные с негодованием. Они были известны, о них шумела пресса, падкая до скандалов. Для иных они были популярными, для иных только известными литературными скандалистами, потому что полезными народу, популярными, назвать их было нельзя.

Или пример с Игорем Северянином. Талантливость его признавали большие мастера поэзии, он тоже ездил по России, собирал шумные аудитории, тоже

был любим прессой, его стихи читали и с эстрады и на литературных вечерах, он был известен, и хотя тоже не подходил под понятие «популярный», но его так часто называли, потому что он был любимцем известной части тогдашней публики.

Но сегодня мы резко делим «народность» и «популярность», забывая, что «народность» включает и «популярность». Так, Пушкин или Некрасов были и народными и популярными. А Бенедиктов, к примеру, в сущности не был ни тем, ни другим. Его шумная известность исчезла, не оставив следа, разве только в стихах капитана Лебядкина.

Оперируя в новом смысле определением «популярный», мы можем сказать, что современные поэты могут «сенсационными» стихами вызвать одобрение или негодование аудитории, но это еще не дает им никакого права на народность творчества.

Кроме того, у нас в ходу и другое понятие: «дешевая популярность». Видимо, это явилось, чтобы не вводить в заблуждение читателей и слушателей. И в иных случаях это определение очень точно обозначает характер тех поэтических произведений, которые должны завоевать внимание нехитрыми приемами, крикливой демагогией или дешевыми «сенсациями».

Но популярность может быть и заслуженной в том случае, где она отражает действительность, хотя и в сложной форме, и в поисках лучшего выражения высшей правды поэзии.

Преходящее никогда не будет народным, но может быть на какой-то срок известным, даже широко известным, модным и сенсационным. Но пройдет время, сенсация поблуднеет перед другими событиями, мода пройдет — и известность испарится.

А народное крепнет с годами, входит в историю своего времени и звучит полным голосом для многих новых поколений.

Ник. Тютчев

Популярность и народность, вернее — мода и чувство родины. Трагедия Бенедиктова и слава Тютчева. А было время, когда Пушкин мерк в бенедиктовской тени.

Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шелковый каскад!¹

Сколь пленителен росчерк талантливейшего канцелярского пера! Юные чиновники в упоении:

И рука моя лениво
Отделялась от огней
Бесконечно-прихотливой
Дивной талии твоей².

Потрясающие эффекты!

Но бедняга Бенедиктов, — найдя популярность и страшась популярность потерять — как мечется он среди неумолимых требований века! От романсовой эротики — спешит к холодным аллегориям голословной гражданственности: я исправлюсь; я уже затрагиваю важнейшие вопросы современности — преследую порок, сочувствую прогрессу! Я перевожу Барбье! А как откликнулся я на обстрел Камчатки английскими кораблями!

Однако Н. А. Добролюбов не очень доволен: эффектированный образ кроткого камчадала, пускающего стрелу в зверя и неопасного для человека, ложен, да и некстати здесь³. Ну что ж, я исправлю, я переделаю... Но В. Г. Белинский против переделок, — по его мнению, «поэт должен быть упрям и

стойко, будучи уверен, что каждый его стих есть плод вдохновения, которое никогда не обманывается, которое всегда творит верно»¹.

И все торопится, все перебегает популярнейший автор от моды к моде, — слава богу, кажется, я не опоздал.

Белинским сказано на заре поэтической деятельности Бенедиктова: «...если Бенедиктов не оставит своих стихотворных занятий, он скоро приобретет себе большой авторитет; его стихи будут приниматься с радостью во всех журналах, во многих будут расхваливаться по крайней мере года два: а что будет после?...»²

В поздней своей рецензии Белинский подводит итоги: «Стихотворения Бенедиктова имели особенный успех в Петербурге, — успех, можно сказать, народный, — такой же, какой Пушкин имел в России: разница только в продолжительности, но не в силе. И это очень легко объясняется тем, что поэзия Бенедиктова — не поэзия природы, или истории, или народа, — а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга!»³

Весна и лето 1855 года — страшные бомбардировки Севастополя. Август — последняя ужаснейшая бомбардировка. Штурм Малахова кургана. Алжирские стрелки и гвардейцы-зуавы дерутся за стеной трупов.

В августе того же 1855 года рождается тютчевское стихотворение, где со-

¹ Белинский. Стихотворения Владимира Бенедиктова. Второе издание. СПб, 1836.

² Белинский. Стихотворения Владимира Бенедиктова. СПб, 1835.

³ Белинский. Стихотворения Владимира Бенедиктова. Первая книга. Второе издание. СПб, 1842.

¹ Бенедиктов, «Кудри».

² Бенедиктов, «Напоминание».

³ Добролюбов. Новые стихотворения В. Бенедиктова. СПб, 1857.

временность внешних примет призвана подтвердить живые движения народных чувств.

Только что в пейзаж бедных селений стали входить телеграфные столбы и провода. Как естественно определили они тютчевский образ народной тревоги.

Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

И за ней следя глазами,
Путник видит, как порой
Птицы вещие садятся
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный
Прилетел и сел на ней,
Сел, и каркнул, и крылами
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится все над ней.
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей?

Вдали от битвы, но, как и вся страна, рядом с ней, Тютчев ощущает гул великого сражения. Что в Крыму? Что в Севастополе? Что на севастопольских бастионах?

История тютчевского стихотворения намечается в далеком прошлом.

«Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами печальную повесть о походе Игоревом...»

«Кровавая заря рассвет возвещает. Черные тучи с моря идут. Быть грому великому. Копьям приломаться, саблям побиться о шеломы вражеские...»

«Господине ветер-ветрило, ждем вестей. Что там в диком поле? Что в неизвестной стороне?»

История стихотворения устремлена в будущее.

Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Гроза Артуром и Цусимой,
Гроза девятым января...¹

Русская эскадра — броненосные и крейсерские отряды, дозоры миноносцев, транспорты, вспомогательные и госпитальные суда долго и трудно ползут вокруг Африки, вдоль Южной Азии. Океан Атлантический... Океан Индийский... Ждем вестей... Что там, в Тихом океане?

Стихотворение — как переключка эпох. Оно — как пополняющаяся народная память.

Тысяча девятьсот сорок первый, тысяча девятьсот сорок второй... Что в Голосеевском лесу под Киевом, куда рвутся фашисты? Что на Пулковских высотах? Что на Волге? Что на Тереке?

И вот он — не слишком популярный, но наряду с Пушкиным прославленный наш Тютчев.

Соблазн легкого успеха ему чужд.

Старый, седой, стариковские тонкие волосы плохо повинуются гребешку, но вместе с тем как бы развеяны ветром вдохновения — и впрямь одержимый своей музыкой молчаливейший органист, что ли.

И конечно дипломат. Иронические губы плотно сжаты: «молчи, скрывайся и таи» — таи в себе трагедии веков. Но истинный поэт не может молчать, когда его устами говорит родной народ на страже отечественных судеб.

¹ А. Б л о к, «Возмездие».

...И ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО

Что уж что, а проблемы плодить мы умеем! И если какая-нибудь для времени недостаточно созрела, а нам тем не менее для чего-либо понадобится, путем кесарева сечения извлечем, а на своем поставим. Зато некоторые из числа тех, что явились на свет нормальным путем, в силу развития литературных процессов, находятся у нас в небрежении, как дети у бестолковой няньки, понапрасну хныкают: «Хлебца дай!»

К тем, рождение которых протекало искусственным путем, я отношу и предложенную на обсуждение «народность и популярность». Зная восьмерки, которые вяжет подспудно наша литературная жизнь, можно с достаточной степенью вероятности предположить, что возникла она примерно на таком зуде мысли: «Н. Н. популярен, но народен ли?» Вместо Н. Н. при этом, в зависимости от индивидуальных склонностей, — всяк по-своему и затылок чешет, — могут поставить М. М. или П. П., а в более широком плане и вообще успех от чтения стихов со сцены или эстрады с тем подлинно глубинным, что вносит поэзия в жизнь человека и народа. Но это — надуманное противопоставление, от ко-его поэзии собственно убытка вроде и нет, но и пользы тоже.

Совершенно несомненно, что поэт может обладать талантом народности, — а Белинский подчеркивал, что это особый талант, не всегда, а, напротив, очень редко совпадающий с литературным талантом вообще, — может обладать талантом народности, даже если он не

читал со сцены или эстрады ни одной строки и понятия не имеет о дороге от центра Москвы до Шаболовки. Но следует ли из этого, что поэт, читающий свои стихи со сцены или по телевидению, таким талантом народности не обладает и не может обладать? Ничуть не бывало, разумеется! Тут просто необходимо раз навсегда условиться о содержании понятий, отделить народность от популярности, количество аплодисментов от подлинного содержания творчества. История ведь вообще знает немало курьезов успеха, — к примеру, почти повсеместно, даже в самых глухих селах, у черта на куличках, пели когда-то песню «Маруся отравилась», следовательно, популярность ее была несомненной, но кому придет в голову искать в этом «жестоком» мещанском романсе черты народности? Разве что тому остроумцу, который решит посмешить собрание, клюющее носом на дискуссии, где все говорят одно и то же, но изо всех сил делают вид, что спорят.

Кесарево надо отдавать кесарю, а богово богу. Да, подлинная народность творчества всегда влечет за собой и популярность, хотя последняя очень часто к поднятию занавеса опаздывает. Но сама популярность синонимом народности никогда ни для кого не была и быть не может. Она одежда явления, а не суть его — так костюм, привлекающий внимание, может облекать и гения, и невежду. К этому можно прибавить, что народность — явление долговременное по меньшей мере, а популярность — одежда чаще всего сезонная.

На этом с проблемой популярности можно и покончить — она вещь на своем месте, притом весьма полезная, если для ее приобретения не употребляются дешевые средства социальной и эмоциональной демагогии. А народность?

Тут впору и дух перевести.

Понятие народности есть понятие содержания и формы в их слитности, понятие существа, духа творчества. И главное — понятие, которое не может быть дано однажды и навсегда, а постоянно развивается, пополняется, обогащается. Последнее особенно важно отметить, так как именно игнорирование этого обстоятельства очень часто и является подлинной причиной сумбурных и прогрессу литературы не способствующих побоищ между «новаторами» и «консерваторами». Беда тут в том, что, скажем примирительно, по чрезмерному пристрастию к скороспелым выводам одни представляют себе народность в виде однолетнего растения, ежегодно к осени отмирающего, а весной заменяющегося новым, другие же — в виде каменного дерева, к которому ничего нельзя добавить и от которого ничего нельзя убавить. А она — ни то, ни другое.

На понятии народности построена эстетика Белинского, самое крупное и завершенное в частности сооружение теоретико-критической мысли в нашей литературе за всю ее историю. Но, получив в наследство совершенное это здание, — метафорически выражаясь, — мы тем не менее никак не можем самоуволиться от необходимости нового строительства, никак не можем ограничиться тем, чтобы только побелить в нем стены и втащить «модерную» мебель, а там — живи, в ус не дуя! Иным стал народ, иной — страна; обогатился и продолжает обогащаться язык, в том числе за счет поглощения и переваривания иноязычных слов, по каковому поводу кое-кто из ревнителей старины безуспешно и никчемно кричит караул, изменилась и меняется манера мыслить и выражать мысли — как почитать да посравнить с прошлым! Наконец, всеобщим стало просвещение, по-иному предстает в сознании каждого географическая, — как сократились расстоянья! — социальная, политическая, даже космо-

гоническая картина мира. Но если так изменилась народная жизнь, то неужели никаких перемен не произошло и в понятии народности литературы и искусства? И что, кроме недоумения, могут вызвать ныне попытки сравнивать, что «народнее» — термины «циклотрон» и «космоплавание» или «зипун» и «дерюга»? Сие — от лукавого.

Понятие народности нуждается сегодня в новом осмыслении и трактовке с опорой на конкретные факты и произведения. Но готовы ли мы к такому серьезному разговору? Мне думается — нет. Конечно, можно насыпать вороха цитат столетней давности, построить сколько угодно изящных словосочетаний, оглушить ссылками на авторитеты — устроить пиротехническое зрелище для коротания досуга, у кого он в избытке. Но на серьезный практический результат рассчитывать трудно. Почему? А потому, что народность, повторяю, есть категория эстетическая, и притом для определенных разделов эстетики основополагающая, а с эстетикой у нас плохо. Ведь, как это ни странно, никто даже не может толком сказать, что она такое, — во всех книгах, где ей пытались дать определение, вплоть до словаря по эстетике, причем самоновейшего, идет такой разнобой, в котором трудно даже специалисту разобраться. И между прочим, одним из самых уникальных является определение эстетики в увесистейшем томе, изданном под грифом Академии наук. Там это выглядит так: «Эстетика есть научная дисциплина, изучающая общие закономерности развития эстетических отношений человека к действительности и в особенности искусства, как специфической формы общественного сознания. Иными словами можно сказать, что эстетика изучает эстетические отношения человека к действительности вообще, их высшую форму, искусство, в особенности». Вот и все открытие — дважды масляное масло! Единственным новаторством в этом наукообразном косноязычии яв-

ляется то, что эстетику «понижили в звании» — из категории науки перевели в категорию «дисциплины».

Где уж при таком состоянии эстетической мысли посягать на серьезный разговор о народности в ее современном значении! Между прочим, некоторое время при Союзе писателей работала группа теоретиков, которая единогласно признала, — на сей счет и стенограммы есть! — что у нас нет сколько-нибудь удовлетворительного определения эстетики как науки. Но когда попытались найти такое определение практически, ничего не получилось — каждый примеривал и так и сяк, но вертелся вокруг старого. Так ничего и не вышло. Тогда я никак не мог для себя понять этой боязни сделать хоть шаг за пределы установившегося магического круга, а когда почитал книги этих теоретиков — все стало ясно: они написаны на основании старых представлений и определений, и авторы не заинтересованы в поисках новых — это значило бы собственной рукой зачеркивать собственные тома. На это не так просто пойти! И мне подумалось, что новаторских дерзаний, раскованной мысли, ищущей в этом направлении, следует теперь ожидать лишь от молодых, от тех, у кого руки еще не связаны.

Вот те побудительные причины, которые заставляют меня думать, что попытка совокупного обсуждения проблемы «народности и популярности» во взаимосвязи или противопоставлении, — хоть пнем по сове, хоть совой об пень, — ничего серьезного практически не даст. Пошумим об истоках, свойст-

вах, прелестях и злокознях популярности, пощиплем перышки у других, почистим свои — и разойдемся, с чем пришли.

А народность... Ах, эта народность! С какими упованиями ожидаем мы фундаментальной разработки этой проблемы на современном уровне, с какой нетерпеливостью ожидаем появления теоретика, который, не теряя уважения к великим мыслителям прошлого, научился бы все же ходить и на собственных ногах по просторам нашего социалистического бытия в поисках эстетических истин. Мы осыпем его самыми щедрыми аплодисментами, обеспечим высочайшую популярность той работе, которая, не чураясь ссылок и цитат, все же не будет собранием комментариев к цитатам и комментариев к комментариям. Ибо, между прочим, как бы ни был велик Карл Маркс, все же, высказываясь по отдельным проблемам эстетики, он наверняка никогда не предполагал, что мы, люди реально существующего социалистического мира, устроим из его цитат крепостные стены и бастионы, чтобы до скончания века отсиживаться за ними от властных запросов жизни и искусства нового времени. Да к тому же в открытии новых истин отнюдь не обязательно заключено отрицание старых — Ньютон остается Ньютоном, хотя человечество уже давно знает и Эйнштейна!

Так, на мой взгляд, обстоит дело с проблемой народности и популярности. Раз уж начали, давайте отшумим, но только побыстрее — время дорого и дел на очереди много!

Виктор Боклов

Народность в поэзии для меня прежде всего высокая человечность и гуманность. Лучший пример народности — Пушкин. Он пробуждал своей поэзией добрые чувства, утверждал в народе нравственные идеалы.

Лермонтов назвал Пушкина «невольником чести». Очень верно замечено. Сквозь все творчество Пушкина проходит тема достоинства личности и чести человека. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

Вот нравственные высоты, которые должен брать человек.

Поэт по определению самого Пушкина — друг человечества.

Поэт — доверенное лицо народа.

Человечество доверяет ему сказать о своих лучших чувствах.

Среди этих лучших чувств есть чувство земли и родины. Оно-то и сделало Сергея Есенина великим поэтом. Щемяще-нежные стихи о родной хате, о заокских лугах, о березках, о черной, пропахшей потом мужицкой выти властно захватили сердца миллионов читателей.

Это народность.

А что сказать о популярности?

Популярность — прежде всего известность, которая может быть и ничтожной. Недаром народ заметил: добрая слава лежит, худая бежит.

Не хочу худой славы, хочу доброй, как бы медленно она ко мне ни шла!

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДНЯ ПОЭЗИИ



За «круглым столом» нашего «Дня поэзии» собрались поэты и критики, чтобы побеседовать на тему: «Поэт. Читатель. Критик». Вступительное слово произнес Семен Трегуб. В обсуждении участвовали: Алексей Марков, Михаил Львов, Сергей Наровчатов, Александр Яшин, Борис Куликов, Игорь Мотяшов, Марк Лисянский, Александр Квятковский, Марк Соболев, Владимир Туркин, Владимир Карпеко, Валерий Дементьев, Сергей Поделков, Михаил Лобанов, Дмитрий Ковалев, Егор Исаев. Заключил беседу Василий Федоров.

Часть выступлений мы печатаем.

Мы думали: какая тема могла бы стать темой «круглого стола» нового «Дня поэзии»? В прошлом году мы говорили о поэзии и эстраде. Критический огонь нацелили против пошлости, мешанства, индивидуализма, сентиментальности. Речь шла о том, чтобы «поднять планку» эстетического вкуса. При всех обычных издержках разговор все же состоялся: он был содержательным, полезным и в «Дне поэзии» прозвучал. Это отметили все критики нашего сборника. Все ли, однако? Нет! Об этом свидетельствует, например, заметка, появившаяся в поэтическом бюллетене, который издается в Женеве и называется «Poésia vivante» («Живая поэзия»), № 9, 1965 г. Заметка эта подписана инициалами V. A. Автор выразил свое крайнее неудовольствие тем, что я в своем вступительном слове напомнил слова И. А. Бунина о том, что «...содержанием для поэзии может быть все, что затрагивает человека в его индивидуальной и общественной жизни, лишь бы это не переходило границы приличия и не впадало в пошлость», и в этой связи упомянул о стихотворении «Ты говорила шепотом: а что потом? а что потом?», в котором «границы приличия» были перейдены. Я не назвал тогда фамилии автора этого стихотворения, как, впрочем, не назвал фамилии других поэтов. И пояснил: «Это ничего не даст для уразумения сущности проблемы, а людей может обидеть. Мы же заинтересованы в том, чтобы помочь им понять великое общественное значение дела, которым они занялись».

Но V. A. наша критика пришлась явно не по душе. Точнее: он решительно взял под защиту автора стихотворения «Ты говорила шепотом...», потому что оно-де принадлежит поэту, который «известен за границей». На этом и строится защита. V. A. не брезгает никакими средствами, чтобы опорочить «День поэзии» и меня, как его... редактора, хотя не

стоило особого труда обнаружить, что редактором был Виктор Полторацкий, а я — лишь одним из двенадцати членов редколлегии. Автор заметки утверждает, что «День поэзии» 1964 года вышел лишь в январе 1965 года, что он значительно тоньше предыдущих. Известно же, что он был подписан к печати еще в октябре 1964 года и вскоре же увидел свет, а его объем отнюдь не меньше многих других, вышедших до него.

V. A. упирает на то, что в «Дне поэзии» нет стихов некоторых поэтов. Но V. A. следовало бы знать, что в нашей стране много разных журналов и альманахов, в которых по собственному выбору могут печататься поэты. И принимать участие в «Дне поэзии» никого не принуждают.

Но бог с ним, с автором заметки в «Poésia vivante».

Что касается стихотворения поэта, «известного за границей», которое так рьяно защищает V. A., то я думаю, что оно принадлежит к тем самым произведениям, о которых тот же поэт весьма самокритично и справедливо написал:

Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.

Вот именно!..

Сейчас мы решили коллективно поразмыслить на другую тему — «Поэт. Читатель. Критик». У этой темы тоже, как мне представляется, много весьма важных сторон, и разговор может получиться острым, нужным. Каждая из сторон этого треугольника — «Поэт. Читатель. Критик» — существует не только сама по себе, но и находится во взаимодействии с другими. Наиболее активной производительной силой является, разумеется, поэт. Важно, чтобы его продукция была высокого качества, чтобы она могла стать духовной пищей взыскательного читателя. Но и читатель — не про-

сто потребитель. Своим отношением к поэту он оказывает определенное влияние на его творчество: может его в чем-то утвердить и в чем-то поколебать. Все мы знаем, как дорого разумное читательское слово. Следует, однако, иметь в виду, что читатель не есть нечто однородное, однозначное. Он разный: по культуре, по художественному вкусу. Не будем фетишизировать читателя. На каждого поэта, на хорошего и на плохого, найдется свой читатель. Тут-то и должна во весь голос заговорить профессиональная критика.

На одном из вечеров Маяковского какой-то читатель пожаловался на то, что он читал со своим товарищем стихи поэта и они в них ничего не поняли. Маяковский, как помню, ответил: «Надо подбирать себе умного товарища».

Таким умным товарищем и должна быть всегда профессиональная критика.

В журнале «Новый мир» (1965, № 4) опубликована статья В. Лакшина, в которой сделана, к сожалению, попытка противопоставить профессиональную критику читателю. В очередной раз сказано: «Похоже, что читатель в некоторых отношениях перерос нашу критику. Во всяком случае он слишком часто отвергает ее помощь в истолковании произведений, предпочитая общаться с книгой лично, без посредников, составляя самостоятельное суждение о ней».

Вправе ли мы столь огульно судить о читателе и о критике? Иной читатель может перерасти иного критика, а иной и не дорасти. Разные бывают читатели, и разные бывают критики. Один критик действительно играет незавидную роль «третьего лишнего», а другой — не лишнего, а необходимого. Так ведь?

В чем прав В. Лакшин? В том, что читатели «ждут от критика самостоятельной и определенной мысли, призывают его идти дальше автора, то есть сверять книгу с жизнью и проводить ту полезную работу, какую считали главной в критике революционные демократы, делавшие на основании картин, изображенных художником, выводы о явлениях и процессах самой жизни». Он прав, на мой взгляд, и тогда, когда утверждает, что «авторитету критики никто не может повредить больше, чем она сама,

когда она расхваливает слабые книги и предает поруганию талантливые».

Недавно я побывал в одной из братских стран. В редакции литературной газеты я увидел на стене комнаты, где находится отдел критики; призыв, который можно перевести на русский язык так: «Установка на принципиальность и критичность». Я спросил сотрудника отдела: «Ну как, удастся этого придерживаться?» Он улыбнулся и ответил: «Пока что — нет». Я подумал о том, что и нам далеко не всегда удастся быть принципиальными и взыскательными, как в том, что мы превозносим, так и в том, что ниспровергаем. Примешивается масса побочных соображений и обстоятельств, которые мешают объективно взглянуть на вещи. Тем самым наносится урон поэту и читателю. Обесценивается, конечно, и критика.

А с другой стороны, мы часто встречаемся с обидами на несправедливую критику, с нетерпимостью к критике.

Открывая нынешний, ставший уже традиционным «круглый стол», я хочу напомнить стихотворение Маяковского «Послание пролетарским поэтам», то самое, в котором он с присущей ему искренностью сказал: «А мне в действительности единственное надо — чтобы больше поэтов хороших и разных». Маяковский весьма иронически отзывался о разного рода эстрадных победах, о «комплиментах ковровых» и «венках лавровых». Убежден, что «Послание пролетарским поэтам» не утратило своей злободневности.

Заключая свое короткое вступительное слово, замечу: в письменном приглашении, которое вы получили, редколлегия «Дня поэзии» сочла нужным предупредить, что крайне желательно, чтобы наша беседа за «круглым столом» носила не общий, а конкретный характер, со ссылками на стихи, на письма читателей, на критические статьи. Именно в этом залог успеха нашего «круглого стола».

А теперь разрешите приступить к обсуждению самой темы — «Поэт. Читатель. Критик».



Многие читатели интересуются, почему поэты вместо стихов взяли за статьи. Попробую ответить.

«Широка, многообразна, щедра талантами нынешняя советская поэзия. Она широка и по охвату самых различных сторон духовной жизни советского человека, и в жанровом отношении, и в плане развития самых разных творческих почерков. А главное — это все расширяющийся и убыстряющийся процесс взаимного обогащения, взаимного влияния советской межнациональной поэзии, когда каждое новое заметное произведение, благодаря переводам на языки народов СССР и в первую очередь на русский язык, становится достоянием всей современной советской литературы, обогащает всю советскую поэзию».

Так вот: «В плане развития самых разных творческих почерков» — отмечу, что это не я написал. Куда мне! Это почерк маститого критика-литературоведа В. Новикова. Его статья «Новое в советской поэзии» опубликована в «Знамени» (1964, № 9), и там таких абзацев на двадцати двухколонных страницах журнала предостаточно. Постановление облисполкома по вопросам культурного строительства покажется легкомысленным щелбанием рядом с подобными тирадами. Убаюканный мерным темпом периодов, размежаешь, так сказать, духовные очи лишь при некоторых неожиданных открытиях. Вновь возникшим качеством, присущим советской поэзии, критик объявляет «своеобразный синтез»: «лирика становится эпической, а эпос — лирическим». Этим открытием он, кажется, даже гордится, любовно его обосновывает и иллюстрирует примерами. Так-то это так, но такой ли уж новый этот «синтез»? Роман, как известно, форма эпическая, а куда же нам деться с «Евгением Онегиным», написанным задолго до сего открытия? «Письмо Татьяны» —

это эпос и лирика? Вот ведь какие затмения бывают у светил нашей критической мысли. Если добавить, что вся статья, собственно говоря, строится на этом тезисе, то... не буду договаривать.

Последние месяцы я подряд читал десятки статей о поэзии, публиковавшихся в нашей периодике. Есть статьи умные, дельные, талантливые, но их мало, и не о них пойдет речь. Среди статей «академического» характера новиковская еще не самая показательная. Она посвящена разбору творчества четырех поэтов, и ее в какой-то степени выручают яркие строки, цитируемые в ней весьма обильно. Иные статьи читать истинное наказание. Строятся они примерно по такому плану. Вначале идет торжественное провозглашение литературоведческих догматов. Критик словно боится, что его сразу же схватят за руку и учинят допрос с пристрастием: «А Белинского читал? Горького не забыл? Маяковского помнишь?» Лишь заверив читателя, что он все читал и ничего не забыл, критик, благословясь, пускается в плавание. Точно так в старину поморы, отправляясь на промысел, непременно должны были отслужить напутственный молебен. И так же, как у поморов лов трески шел сам по себе, а святые лишь приплетались для крепкого словца, так и у критиков разбор стихов идет тоже сам по себе, а божба классиками носит, так сказать, душевно вспомогательное значение.

Разбор творчества того или иного поэта строго подчиняется целевой установке. В заданной концепции наши стихи играют роль строительного материала. В зависимости от замысла критика они либо кирпичи, либо цемент в его кладке. Как правило, не стихи являются основой выводов, готовые выводы ищут подтверждения в стихах. Если же таковые не укладываются в концепцию, то, как го-

ворится, тем хуже для таковых; они подобно щелбну отгребаются лопатой в сторону.

В конце таких статей опять идет пустосвятство. Снова поминаются все великие тени и щедро приводятся цитаты. Критик прыгает с одной на другую, как с кочки на кочку, и, не замочив ног, добирается до берега.

Другой вид статей наиболее безобидный. Продиктован он самыми добрыми чувствами. Единственный, хотя и немаловажный недостаток таких статей тот, что авторы их попросту не научились излагать свои мысли на бумаге. Статья молодого критика В. Соловьева «Младая песня невских берегов», помещенная вместе с портретом автора в «Юности» (1964, № 11), может быть принята за эталон в этом отношении. Это совершенно очаровательное зеркало «взрослой» критики так комично, не искажающее, а видоизменяющее, что ли, ее суровые черты, что я советовал бы перечитать ее всем нашим литературным судьям.

В своей статье В. Соловьев, когда по заслугам, когда без оных, хвалит молодых ленинградских поэтов, но как хвалит — чудо! «Леонид Агеев, поэт высокого и простого накала чувств, крепко осознает свои земные связи с прошлым, настоящим и будущим». Ишь как! Дальше еще интереснее: «У Агеева мироощущение слитное, он наводит порядок в собственном доме. Задача Горбовского

сложнее, он только складывает фундамент мира». Еще бы не «сложнее», и ничего себе «только»! Прежде считали, что такая задача посильна лишь господу богу. Майе

Борисовой тоже посчастливилось. «Ее набег на прошлое более беспокойны, случайны, далеки, чем у ее товарищей. Органичности в набеге на прошлое нет...» А вот пересказ стихотворения: «Сухая береза не знала, что она дрова, тихий снег — что на нем остаются следы, летела по небу молния и не знала, что она электричество: узнал все это человек и по-разному использовал». Была во Франции лет 40 назад забавная школа дадаистов. Верхом изысканности они провозгласили словарь детей не от «2-х до 4-х», а от двух до нуля. Читая этот пересказ, невольно подумаешь, что имеешь дело с их запоздалым последователем. Этаким критический неодадаизм... Общие рассуждения в статье тоже примечательны: «Так личность получает вес и силу в борьбе с обезличиванием, обретая, точнее, узнавая корни, свои корни!» Я — не Потемкин, Кузнецов — не Фонвизин, но «Умри Денис, лучше не напишешь!» Нет, одних только благих намерений и добрых чувств все-таки оказывается недостаточно для критика.



Игорь Мотяшов

Дискуссии на тему «Писатель — критик — читатель» возникают всякий раз, когда наблюдается ослабление или разрыв звеньев этого замкнутого треугольника, вне которого литература, поэзия, вообще искусство не существуют. Вот и сегодня мы, критики, слышим нарекания с двух сторон: и со стороны поэтов, и со стороны читателей. Первые говорят, что одним из них критика уделяет слишком много внимания, других казнит молчанием. Вторые часто жалуются на необъ-

ективность и слабую оперативность критики.

Алексей Толстой пытался как-то определить, что должна делать критика и чего она не должна делать. Он писал:

«Критика мешает непосредственности наблюдения... Указывает: смотри не так, а эдак...»

Критика вмешивается в интимнейшие законы творчества, подсовывает свои рецепты, рекомендует свои теории...

Критика вмешивается в восприимчивость

читателем искусства. Сколько примеров, когда большой художник был затравлен и не воспринят. Сколько примеров, когда бездарность возводилась в гении. Все это вредная

деятельность критики.

Какова ее истинная роль?»

А. Толстой отвечал: «быть школой для читателя и писателя, быть университетом, энциклопедией, повышать культурный уровень того и другого».

Сказанное в общем верно. И все же, мне думается, Толстой слишком сужал сферу критики. Правда, его слова написаны в 1926 году. За прошедшие десятилетия изменились и критика, и поэзия, и читатели. Они стали культурнее. Поэты и читатели меньше нуждаются в преподании литграмоты. И предвзятая, вулгаризаторская критика мало кого способна ввести в заблуждение. Популярность поэта в значительной мере зависит от его поэзии, от того, насколько он своим творчеством приближается к читателю, насколько важны, обозначимы и животрепещущи вещи, о которых он говорит в своих стихах.

Однако и теперь к некоторым замечаниям А. Толстого следовало бы прислушаться. Сорок лет назад он сетовал, что «критика часто становится между писателем и читателем и уничтожает ту непосредственную связь восприятия искусства, которая есть самое ценное в искусстве». Поэт пишет кровью сердца. И настоящий читатель воспринимает стихи сердцем. Он плачет над строчками, задевшими сокровенные струны его души. Вместе с поэтом он любит и ненавидит, радуется и печалится, негодует и мыслит. Он не против, чтобы, прочитав затем критическую статью, поверить алгеброй гармонию. Но он разочарован, если видит, что «алгебра» полностью заслонила и вытеснила «гармонию» стиха.

У нас немало интересно работающих критиков поэзии. Достаточно вспомнить статьи С. Наровчатова и Л. Аннинского, Е. Осетрова и С. Рассадина, В. Дементьева и И. Гринберга, А. Марченко и И. Золотусского, А. Урбана. Но как часто встречаем мы в этих статьях куда больше

«ума холодных наблюдений», нежели радостных и горестных замет сердца! Как часто заботливое выставление оценок и не менее заботливый разбор удавшихся и неудавшихся строк отодвигают куда-то на третий план главную заботу критика — объяснить написанное поэтом, раскрыть перед читателем своеобразие его творческого лица, смысл его образов, его поэтических идей!

Сошлюсь на один лишь характерный пример. В четвертой книжке «Вопросов литературы» за 1965 год помещены две большие статьи — С. Рассадина и А. Марченко — о поэме А. Вознесенского «Оза». Критики не без блеска полемизируют между собой, как бы состязаясь в изяществе стиля, глубине интеллекта и широте эрудиции. Но сама поэма, ее противоречия и неровная художественная ткань, ее содержание, ее место в эволюции А. Вознесенского и в современной нашей поэзии остались нераскрытыми. С. Наровчатов в своей интересной статье, напечатанной в «Литературной газете», не без оснований назвал «Озу» ребусом. Но ведь и он не сделал даже попытки разгадать ребус.

Я глубоко убежден, что помимо статей, в которых раскрывалось бы творчество одного поэта или одно произведение, нужны статьи-обзоры (и не только по текущей журнальной поэзии), где речь шла бы не о пяти-шести широко известных, примелькавшихся именах, а о творчестве сразу многих как молодых, так и давно печатающихся, но почему-либо обойденных критикой поэтов. Это нужно хотя бы потому, что поэтических сборников ныне выходит великое множество; охватить их отдельными статьями, даже короткими рецензиями невозможно — не хватит места в журналах. Поэтому мне так странно было читать в одной из статей С. Гайсарьяна упрек В. Бушину, который напечатал в «Октябре» большой обзор творчества молодых поэтов. Можно спорить с концепцией критика, с какими-то положениями его статьи, но ругать его за то, что он ввел в свой разговор десятки новых, мало известных широкому читателю поэтических имен, по-моему, равносильно призыву ограничить советскую поэзию узким кружком «избранных».



Критика часто упрекает поэтов, особенно молодых, в нескромности, эгоцентризме, своего рода «ячестве». При этом говорят, что-де Пушкину и Маяковскому это было простительно, так как они великие. Я думаю, что перед лицом подлинного искусства все таланты равновелики. История разберется, воздав каждому по его заслугам. Но сам поэт, независимо от величины таланта, не поэт, если не ощущает себя центром мира, представителем и рупором всего человечества. Скромность поэта не в том, чтобы тщательно скрывать свое «я», предупредительно растворяя его в безликой «массе», а в том, чтобы это «я» не было замкнуто в кольце узколичных переживаний, чтобы оно было «я» с большой буквы, чтобы в нем выражалось лицо времени, лицо поколения.

Мне в целом, например, понравился тон, в каком написана рецензия Д. Ковалева («Литературная газета») на первый сборник «Рассветы» молодой воронежской поэтессы Л. Бахаревой, — благожелательный и требовательный. Но осужде-

ние строк Бахаревой «А я иду — за былью и за сказками, на сорок верст у Солнца впереди» за якобы декларацию нескромности я воспринимаю как попытку Д. Ковалева, может быть и непреднамеренную, отлучить начинающую поэтессу от осознания своей личности и ее сопричастности к большим и малым делам страны, народа.

Стихи живут не сами по себе, где-то отдельно от человека, от общества. Они наиболее успешно «работают», когда цепь «поэт — критик — читатель» замкнута и ток поэзии идет по ней свободно. Короткие замыкания, время от времени происходящие на линии, — это чепе. Нам всем надо думать над тем, чтобы чепе было как можно меньше, чтобы поэтическая энергия больших и малых талантов вливалась в единую энергосистему, приближая радостный завтрашний день человечества.

Алексей Марков

«Поэт, читатель, критик» — старый разговор. Кто его не касался и как его не касались! Но последние десятилетия, якобы за слитностью мнения критики и народа, эта тема нами упущена. Очень правильно, что «День поэзии» в новом его коллегиальном составе решил начать этот большой разговор.

Я не подсчитывал, какой ущерб нанесен нашему сельскому хозяйству излишним опекунством. Я не подсчитывал, хотя и чувствовал вместе с моими товарищами, сколько пропало лесов, бумаги на речи, как сеять кукурузу или картошку.

Я хорошо подсчитал другие убытки. Известно, что во многих странах изруганный автор платит благодарностью, а то и чистоганом критику, привлекая к писателю всеобщее внимание. Ну, конечно, за ругню умелую, а не за ту,

в которой изобличают неумение писателя держать карандаш. Платят критику, умеющему обвинить вас в эротических или идейных вывихах. Некоторые поэты, как, скажем, американский поэт Уитмен, сами на себя писали разносные статьи, не дождавшись услуг друзей. Шиллер обещал полсостояния тогда уже известному Гёте за головокружительный разнос. В Бразилии знаменитые футболисты выходят на поле, а на спине красуется имя какого-либо поэта и ругательство в его адрес. Можете быть уверенными: от этого выхода или выхода в убытке не бывает ни тот, ни другой.

Но зарубежным литераторам и не снилась такая реклама, какую можно получить у нас. Если брать неписаную таксу, то Римма Казакова в неоплатном долгу. О ней было сказано, что она очень

талантливая поэтесса, но, к сожалению, увлекается эротическими мотивами. О некоторых ее сверстниках сказано, что вот старшее поколение, вроде Шолохова, Грибачева,

Безыменского, хорошо работало, а молодое плохо, и приводились фамилии. Что еще надо, чтобы привлечь всеобщее внимание к этим поэтам! К ним потянулись жаждущие читатели, как мухи на мед. Начался такой шум вокруг нескольких имен, как при налете саранчи.

Рассказывают, на одном вечере должен был выступать один «популярный» поэт, а он не захотел. Послали Карпеко. И надо ж было ему согласиться! Мужественный человек! Хочет он открыть рот, полный стихов, ему не дают, кричат: «Подайте нам «популярного»!» И все-таки оратору, поскольку у него был микрофон, удалось перекричать и он начал читать стихи. Читал минут пятнадцать. Крики возобновились, — дескать, хватит вашей белиберды, подайте нам «популярного». И вот тогда наступил поучительный момент. Выступавший достал из кармана книжку стихов «популярного» и объявил, что он читал не свои стихи, а того поэта, которого они жаждали. После этого атмосфера в зале изменилась.

Несколько имен получили возможность издаваться сотысячными тиражами. Их стали приглашать за рубеж. Как небось на том свете позавидовал бы Пушкин, которого так и не пригласили в Испанию для сбора материала, чтобы Дон Жуан вышел еще значительней. Слава богу, что он и так не плох.

Критика нацелилась только на эти имена, ругать ли или исправлять — все равно, лишь бы приобщиться к шуму. Напишут одно стихотвореньице — и уже вокруг него бум: что это, опять ошибка или возмужание? Хотя другие поэты пятилетиями пишут стихи, а о них ни слова: ни хулы, ни хвалы. Целые полки стихотворных сборников не замечены. О них не упоминается даже в разделе «Книжные новинки».

Начинающие поэты всеми силами стараются быть на виду критики, пусть и в числе ругаемых. Вот как, например, работает безусый поэт из Чернигова Феликс Рабурин:

Даль тихая, даль тонкая,
Голубой восход.
Да здравствуют дальтоники
Веселых орд.
Мир изменился начисто,
Снега красны.
В декабре начат был
Поход весны.
Я кушал груши синие
Под черный цвет.
Склонилась желтым инеем
Розовая ветвь.
Да здравствуют дотошные,
Что видят мир не так!
Поэты все дальтоники
На всех местах.
О скучный мир и серый,
Увидим мы в тебе
Твое цветное сердце,
Покорное судьбе...

Стихотворение озаглавлено «Ода дальтоникам»! Феликс Рабурин призывает видеть мир не так. Он, бедняга, по своей доверчивости, даже не подозревает, что дальтоник видит мир только в двух цветах: сером и белом. А парень, ей-богу, неплохой и одаренный, когда черт не толкнет под локоть. Я с ним хорошо знаком, переписываюсь, как могу лечу его от дальтонизма. А сколько таких! Просто жалко молодежь. Вот чем заняться бы критике. Спасибо было бы ей всенародное!

Конечно, зрелые поэты в отличие от молодых могут разобраться, что к чему. Помните, Мопассан писал о Тургеневе:

«Когда Тургеневу рассказывали о том, в каком количестве расходятся известные книги соблазнительного жанра, он говорил:

— Людей пошлого взгляда ума гораздо больше, чем людей, одаренных умом утонченным. Все зависит от уровня той интеллектуальности, к которой вы обращаетесь. Книга, нравящаяся толпе, чаще всего нам вовсе не нравится. А если она нравится нам, как и толпе, то будьте уверены, что это происходит по совершенно противоположным причинам».

Однако надо помочь разобраться и

другим. Нельзя только самим принимать. Вы посмотрите, как об этом просит Наташа Финчук, работница Минского радиозавода: «У Вас же замечательные стихи (обращение относится не к тем, которыми слишком занимается наша критика.— А. М.). А ведь они попали ко мне совершенно случайно. Я честно признаюсь, что не покупаю брошюрок библиотеки «Огонек», как, впрочем, многое другое, где, может быть, тоже скрыто то, что я хотела бы найти. Мы, читатели, ищем что-то прекрасное, а ведь оно рядом. Я как слепая среди сокровищ, не знаю, что искать, где и как?»

А как читатель правильно принимает необходимость взаимосвязи поэта, критика и читателя! Московский студент Ев-

гений Болтов пишет: «Ведь все люди должны работать друг для друга, а вы тем более должны ощущать, что ваше творчество, нужное или ненужное людям. А как же вы узнаете, если о вас критика молчит? А как же мы узнаем, ведь мы только читатели, и не всегда подготовленные...»

К счастью, есть и подготовленные, такие, как архитектор из Киева Александра Ларкина. Ее стихами я и хочу закончить этот очень трудный разговор:

Но кто-то думает порой,
Что публика, мол, дура.
Зачем у нас в цене одной
Стихи с макулатурой?!



Михаил Львов

«Круглый стол» входит в «быт» наш... Это очень хорошо. Надо этот «круглый стол» всячески расширить, активизировать, разнообразить. У меня давно была мысль предложить «Дню поэзии» открыть раздел, который можно назвать условно или «Наши споры», или «Почтовый ящик». Речь идет вот о чем.

В годы культа нередко критика была словом пугающим. Хотя, как известно, критика — это воспитание, учеба, оценка, то есть понятия высокие и благородные. Самое страшное всегда было не то, что тебя разругают, справедливо или несправедливо, — никакое мнение не страшно, если с ним можно спорить, — а то, что нельзя было ответить на критику. Критика была односторонней. Поэтому мнение отдельного критика, или отдельной газеты, или отдельного должностного лица становилось приговором.

Времена изменились. Но до сих пор еще появляются такие статьи, которые бездоказательны и которые оставляют

осадок на всю жизнь. Трудно, наверно, измерить вред — всяческий: и душевный, и духовный, и физический, — который они наносят и наносили.

Может быть, попытаемся в нашем альманахе «День поэзии», а в будущем — в журнале «Поэзия» ввести такой отдел, где каждый заслуживающий уважения поэт мог бы поспорить с некоторыми своими критиками. Бальзак, кажется, не советовал отвечать критикам, считая, что невозможно заниматься двумя делами сразу — и писать, и отвечать критикам... Мы менее заняты, чем Бальзак, по всей вероятности... поэтому нам трудно побороть желание отвечать критикам. Мне хотелось бы ответить некоторым моим критикам и за границей, и дома.

В американском журнале «Книги за океаном» (издание университета Оклахома) Игорь Левицкий, разбирая мою книгу «Капля океана», пишет: «Львов, рождения 1917 года, является одним из представителей поколения писателей, выросшего в советскую эпоху. Попытки отдельных членов этой группы стать чем-

то большим, чем просто партийными пропагандистами, рассматривались в последнее время как ростки некоего нового ренессанса советской литературы... Здесь перед нами

традиционные стихотворения, воспеваящие советские достижения в освоении космоса, Ленина, партию, и другие патристические стихи...» Я не буду много цитировать из этой небольшой заметки, но хочу сказать, что я готов выслушать любую критику, но когда речь идет об отрицании главного в нас, здесь хочется поспорить...

В «Известиях», газете серьезной и уважаемой, печатается статья В. Орлова о поэзии. Автор критикует несколько строчек из моих стихов. Меня спрашивали читавшие эту статью, откуда эти строки, из статьи неясно. А между тем он цитирует и ругает стихи, написанные более двух лет тому назад, и так же давно опубликованные в журнале «Нева», и так же давно — и в печати, и на писательских «сборах» — руганные С. В. Смирновым и А. Прокофьевым. Об этом Орлов хорошо знает. После всего, что было с этим стихотворением, вышла книга, где стихотворение звучит уже по-другому, во всяком случае, цитируемых строк там нет. Хотелось бы, чтобы кри-

тик оперировал более свежими фактами и материалами.

Ругать уже руганное — не великая храбрость, да и не интересно это и тому, кого ругают. После стихотворения, о котором идет речь, вышли у меня две книги, несколько подборок в толстых журналах и газетах. Если бы критик об этих книгах и стихах сказал что-то, это, может быть, представляло бы интерес и для меня, и для читателя... Орлов мне приписал «натужное желание оригинальничать». Смее утверждать: ни один серьезный критик, читатель или поэт, знакомый с моими стихами, не согласится с таким утверждением. Да и сам Орлов, если бы серьезнее отнесся к своей задаче, увидел бы, что процитированных им шести строчек явно недостаточно для такого обобщающего вывода. У меня есть много трудностей и недостатков, более глубоких, более больших, о них я хотел бы слышать слово критика и друга, и это, может, помогло бы в работе.

А такая критика не достигает цели. Очень хочется поощрять только доказательную, полезную или, как нынче любят говорить, научно обоснованную критику. Так дадим же в «Дне поэзии» слово поэту, отвечающему своим критикам — читателю и критику. Это жизненно необходимо для нашего дальнейшего совершенствования.

Марк Соболев

Я принадлежу к людям не очень счастливой критической судьбы. Я выпустил несколько книжек стихов. За всю мою жизнь была одна рецензия — Валерия Дементьева. Если бы я не знал, о ком пишут рецензию, то я бы подумал, что это рецензия о прекрасном поэте.

Меня несколько удивляет прозвучавший на нашем совещании голос уязвлен-

ного самолюбия: «Критика нас не поднимает, не восхваляет». Меня больше устраивает то, что моя книжка задержалась в магазинах лишь два дня, нежели десяток хвалебных рецензий.

Много жалуемся на критиков. Но разве они во всем вольны? Давайте поговорим об отношении редакций к критике. Мне довелось провести не один семинар, в числе участников которых были поэты,

о которых нужно было написать. Я приходил в редакцию со статьями, и мне отвечали: «Это нам не интересно, вы напишите нам статью о таком-то или о таком-то».

В Кирове было совещание молодых писателей, участников альманаха «Молодость». Их в путь благословил Федин. Я принес о них статью. Ее продержали месяц, и я думаю, что она не пойдет. Нужно говорить о том, что критика — это явление творческое и что критики должны писать о том, что их волнует, а не о том — или не всегда о том, — что им заказывают.

Вот иногда на областном семинаре обещаешь, чуть ли не клятвенно, молодому поэту: я напишу о тебе в «Литературной газете» или в «Комсомолке». Он верит мне, а через два года я с ним встречаюсь, и он думает, что я его обманул. Я же пять, шесть раз ходил с этой статьей в редакции, но мне не удалось ее напечатать. Если наш разговор предусматривает какую-то действенность, надо поднять вопрос о праве критика на известную «самодеятельность».

Разговор о читателе — это сложный разговор. Я всегда вспоминаю великолепную реплику Погодина, которого упрекали, что он не прислушивается к зрителю. Он ответил: «Я придерживаюсь такой установки: к мнению критика я могу прислушиваться, могу и не прислушиваться, а мнение рядового зрителя

для меня обязательно. К мнению рядового зрителя я прислушиваюсь на спектаклях. Но когда этот зритель берется за перо и пишет в редакцию — он для меня уже не зритель, а критик. И тут я могу либо прислушиваться к нему, либо нет».

Мы помним, как Ярослав Смеляков, вернувшись из далеких краев, глубоко потряс всех нас своей поэмой «Строгая любовь». Он читал ее по радио, пришло много писем. Было письмо работника Путиловского завода, который написал прекрасные строки: «Товарищ, спасибо вам за то, что вы вернули мне молодость». Но наряду с этим были и другие письма. Выпускники Саранского педучилища, например, негодовали, что поэт «Светляков» компрометирует, мол, простого советского человека: «Что это за Яшки, Зинки и т. д. — у нас есть Яковы и Зинаиды».

К читательским письмам надо относиться выборочно, с осторожностью.

Давайте отстаивать права критика на «самостоятельность», и тогда наши товарищи — критики смогут говорить о том, что их волнует, а не откликаться на утилитарные требования редакций. И, может быть, нарушат устоявшийся, утвержденный (гласно или негласно) в редакционных кабинетах «табель о рангах».



Владимир Карнеко

До сих пор в нашей критике существует «табель о рангах». Когда критик подвергает анализу стихи известного поэта, то он в каждой строчке находит массу «художественных достоинств»: и звукопись, и образность, и подтекст, и т. д.

Всем остальным в этом отказано. Так, однажды критик, который очень хорошо относится к моим стихам, разбирая «Лесное озеро» в статье о моей книге, отнес

его к пейзажным стихам и посетовал, что в нем нет подтекста. Потом я встретился с критиком и сам прочел это стихотворение ему. Он согласился со мной, что там действительно есть интересная мысль, но он ее тогда не заметил, так как не искал.

Что же говорить о критиках, которые вообще равнодушно относятся к тем, о ком пишут?

Александр Квятковский

Меня смущает тема разговора — «Поэт, читатель, критик». Это — огромная тема, она не для «круглого стола». В ней можно заблудиться, как в трех соснах. Товарищи блуждают, и я вместе с ними заблудился. Среди нас есть поэты и критики, читателей же нет. Я выхожу из трех сосен и буду говорить о поэтах, о некоторых поэтах.

Два года назад Семен Кирсанов выпустил в издательстве «Огонек» книжку лирических стихов. Это книга необыкновенной поэтической глубины и лирического волнения. Кирсанов здесь неузнаваем, и это хорошо. Ряд стихотворений в книге написан редчайшими размерами, Кирсанов показал, что он по-прежнему остался неумным новатором русского стиха, всячески избегающим трафарета и косности.

Меня поразила мастерством последняя книга С. Кирсанова «Однажды завтра». Прекрасен у него «Высокий раек» и особенно «Сказание про царя Максима Емельяна» — произведение совершенно блистательное. Об этом хорошо писал в «Литературной газете» Назаренко. Что сделал Кирсанов в своем «Сказании»?

Он героически пытается возродить русский веселый скомороший стих, но не путем подражания или стилизации, а средствами современной нам поэзии и современной лексики, с применением удивительных по комическому эффекту анахронизмов. Озорной разговорный стих Кирсанова льется с непринужденной легкостью, он играет скоморошным стихом как мастер-жонглер, смеясь и радуясь своему искусству. «Сказание» С. Кирсанова замечательно именно своей попыткой возродить народную традицию новыми средствами. Подобную попытку возрождения былинного стиха сделал 30 лет назад Иван Рукавишников в своем «напевном стихе» («Сказ про Степана Разина»).

Два слова о поэме Сергея Поделкова «Власть сердца». Это великолепная поэма, она восхитила меня необыкновенной целостностью построения, композиционной завершенностью и по-настоящему волнующим лиризмом. Поэма написана легким свободным стихом, без стоп, без рифм, стихи катятся непринужденно, как волны прибой.

Борис Куликов

Я являюсь председателем правления клуба любителей поэзии в станице Семикаракорской, Ростовской области. И конечно же мой интерес к нынешней беседе за «круглым столом» не случаен. Тема нашего разговора касается, по-моему, в большей степени именно читателя, любителя поэзии, потому что в конечном счете мы, поэты и критики, работаем для него.

Ведь стихи доходят до читателя не только потому, что хорошо написаны, а и потому — замечены ли критикой, донесены ли ею до читателя.

Позвольте мне в этой связи сказать, сделать упрек в адрес «Литературной газеты».

Когда члены нашего клуба получают свежий номер «Литературки», то они, естественно, ищут там новые стихи, сло-

во о стихах. Нас радуют статьи Сергея Наровчатова о поэзии. Но на таком уровне пишут, к сожалению, редко. Серьезных, доказательных статей о поэзии мало.

И не только это!

Всем нам дорого имя Михаила Александровича Шолохова. И конечно же нам не безразлично его отношение к поэзии. Когда к Шолохову приезжают гости, газеты пишут об этом. Но вот же странно: опускают то, что говорит Михаил Александрович о нашей поэзии. В гостях у Шолохова были, например, волгоградские школьники, Шолохов высоко отзывался о поэме Егора Исаева «Суд памяти», о стихах Василия Федорова и Владимира Фирсова. Были у него гости из Дагестана, Шолохов опять же говорил о поэтах. Областные газеты это напечатали. А «Литературная газета» это опустила, — разумеется, напрасно.

Здесь говорили, что когда критика ругает, то она тем самым делает поэту

рекламу. Я с этим согласен. Но почему так происходит? Потому что критика бывает поверхностной, неубедительной. А вот Белинский умел так разносить плохих поэтов, что имена их прочно забывались.

Критика должна быть вдумчивой, интересной. Она своеобразный мост между поэтом и читателем. У нас в стране самая благодарная аудитория, но как часто она остается в неведении об истинных и мнимых поэтических ценностях. Десятки хороших поэтов не известны нашему читателю.

А теперь приглашаю всех вас, дорогие товарищи, на III, традиционный «День поэзии», который проводится 28 августа в нашей станице. Там в клубе любителей поэзии и продолжим сегодняшний разговор.



Марк Лисянский

Мне думается, сегодняшний читатель больше популяризирует поэзию, чем критики, потому что он больше ей доверяет, горячо ее любит. Внимание, которым в наши дни окружена поэзия, создано не критиками, а прежде всего самой поэзией и ее большими поклонниками — читателями. Конечно, как есть разные поэты, так есть и разные читатели. Есть, к нашему прискорбию, немало читателей, которые фальшивую монету принимают за настоящую: они приходят в восторг от душещипательных, сентиментальных, мещанских стихов или стихов, играющих в смелость, но лишенных подлинных чувств и больших мыслей.

Но я говорю сейчас о читателе, который глубоко понимает и преданно любит поэзию. Где вы, однако, читали статью такого человека, влюбленного в поэзию? Наши газеты и журналы им своих страниц не предоставляют, ограничиваясь так называемыми «откликами».

Я давно не читал такой статьи. А критики если и ведут профессиональный разговор, то вокруг одних и тех же имен, соблюдая ранги и чины. Я помню большие дискуссии о поэзии, после которых рождались имена, причем это были не запланированные дискуссии, как у нас принято. Просто Аделина Ефимовна Адалис написала статью о новой книге Степана Щипачева. До этого вышло немало сборников Щипачева, не замеченных читателем. И вдруг сборник «Лирика», сразу полюбившийся людям. Адалис написала, что Щипачев — лучший наш лирик. Затем выступил Ярослав Смеляков, резонно заявивший, что лучший наш лирик Маяковский. Вмешались читатели. В результате этого спора утвердилось в литературе имя Степана Щипачева.

Конечно, никакая дискуссия, никакие критические статьи, хвалебные или уничтожающие, не могут сделать плохого поэта хорошим, а хорошего плохим. Ска-



жем, мы помним и дискуссию о поэмах Георгия Горностаева. Это была широкая, всесоюзная дискуссия, которая велась не только на страницах «Литературной газеты». И тем не менее... где сейчас эти поэмы?

У нас сегодня в поэзии много поэтов хороших и разных, живущих не только в Москве, Ленинграде и Киеве. Но газеты и журналы сужают границы нашей поэзии, обедняют ее. Мы с вами знаем немало поэтов, имеющих не только свои книги, но и свои поэтические характеры, но эти поэты десятилетиями не слышат о своей работе ни мнения критиков, ни мнения читателей. Многие уходят из жизни, не дождавшись доброго слова. Марк Шехтер говорил как-то: «Вот уже двадцать пять лет, как я живу в поэзии, но у меня такое впечатление, что я работаю в безвоздушном пространстве». А вышел посмертный том избранных стихов Шехтера, и мы увидели, что от нас ушел настоящий поэт.

Давно у нас бытует выражение «обойма». И сколько мы об этом ни говорим, сколько ни пишем, а она, проклятая, существует. Редакции газет и журналов просто не мыслят себе статей без упоминания ряда определенных имен, будь то

писатели старые или молодые. Это стало инерцией. Некоторые молодые не успели выпустить и двух-трех сборников, как очутились в обойме. Мне рассказывала Вера Михайловна Инбер о таком диалоге, который произошел между нею и одним молодым поэтом. Подходит к ней незнакомый юноша и здоровается, как с давней знакомой. Вера Михайловна полюбопытствовала, с кем она имеет честь разговаривать. «Как же, — удивилась собеседник, — вы же обо мне писали». Узнав фамилию поэта, Вера Михайловна удивилась еще больше: она как будто о таком поэте нигде не писала. Но тут ей вспомнилось, что накануне выхода ее статьи ей позвонили из редакции и предложили добавить несколько фамилий к перечисленным в статье молодым поэтам. И добавили! Так появилась в статье Инбер фамилия поэта, ей незнакомого.

Поэтическую атмосферу мы, поэты, должны создавать сами. Надо любить не только себя в поэзии, а самую поэзию и видеть в ней большое и малое. Мы должны знать, что делают наши товарищи в поэзии, говорить и писать об этом. Все мы, и поэты и читатели, обрадовались статьям Сергея Наровчатова, потому что они написаны человеком, влюбленным в поэзию. Я хочу прочитать такие же статьи критиков и читателей, в которых бы жило удивление перед чудом поэзии и любовь к ней.

Михаил Лобанов

Памятно, с каким рвением критики погоняли слово, грудью прокладывая дорогу сенсационной популярности своих избранных из молодых поэтов. Один из критиков, кажется Б. Рунин, в журнале «Вопросы литературы» писал о Евтушенко, представляя его отношение к любимой женщине чуть ли не осью человечества. Читатель мог с резонной тревогою вывести, что без таких образ-

чиков страстей человечество, без всякого сомнения, запустеет.

Оглушающее внимание критики не очень-то настраивало поэтов на самоуглубление. В свое время появление молодых поэтов было встречено их поклонниками как разлив поэзии. И в самом деле, было нечто обещающее в этом (пусть и эффектным) неприятии лицемерного и условного в жизни, в этом за-

дорном желании быть граждански непримиримым к злу. Но разлив входит в берега, определяется русло, многие из поэтических ладей, подгоняемых критическим ветерком, застревают на мели.

Критика славно поработала, чтобы смешать все критерии, выдавая свои личные симпатии за истину в искусстве, поверхностное за выдающееся, заклиная и рекламируя — в попрание всякого достоинства слова. Причем не боль жизненных вопросов, а узость литературно-профессиональных интересов чаще всего была двигателем пафосных выступлений. И сама гражданственность у иных критиков слишком уж выдавалась своим шумным благородством...

Чуткие к характеру критики поэты уже пишут в расчете не на читателя, а на критика, как бы подзадорить этого критика — дабы и сам «разнос» пошел на пользу пострадавшему (потому что ведь и «разносом»-то можно еще как расслабить!).

Так, к обоюдному удовольствию, сложились истощительные взаимоотношения между иными поэтами и критиками.

Но было бы наивно полагать, что только критика — причина сенсационной популярности того или иного поэта. Дело гораздо сложнее и глубже. Вы помните спор между «физиками» и «лириками»? Странно, конечно, доказывать, отменяется или не отменяется наукой искусство, хотя я и понимаю, что в таком споре есть свой общественный смысл, правда, грустный смысл — в самой элементарности критериев. Читал я как-то рассуждение одного ученого о том, что кибернетические машины способны сочинять музыку в «стиле Баха». Мне вспомнились слова Гёте: «Когда я слушал Баха, мне казалось, что я внимаю звукам вечной гармонии». Какая там вечная гармония, какие там прозрения в глубины духа, в тайны бытия, — дали заказ машине, и получай музыку в «стиле Баха».

Все это, конечно, не очень мудро, но есть здесь и поучительная связь с духовными промерами в литературе. В своей поэме «Братская ГЭС» Евтушенко, обращаясь к Пушкину, просит научить его «как бы шая, глаголом жечь». Когда уже немолодой автор («за тридцать мне»)

так невинно думает, что Пушкин писал «как бы шая», то это довольно невеселый признак. И уж совсем озадачивает готовность автора «идти, волоча всю Россию». Можете вы себе представить такую хлесткую упряжку?!

У Евтушенко лирический герой «кого-то оттирал всю жизнь плечом, а это был я сам». Мы знаем, что такое трагедия двойника в есенинском «Черном человеке», в блоковском «двойнике» с его горестной безысходностью. А здесь довольно ловкое автоманеврирование; но, видимо, очень тонкие эти муки внутреннего кризиса — оттиранье самого себя плечом...

Еще непринужденнее чувствует себя Евтушенко в беседе с историей. В главах о прошлом России (декабристы, петрашевцы) сообщаются сведения, хорошо известные читателю по школьным учебникам. Но и когда автор хочет сказать что-то свое, то вряд ли это можно признать историческим открытием, вроде такой характеристики Степана Халтурина: «наполовину Стенька Разин, наполовину декабрист». Надо ли говорить, что любой самый острый замысел умерщвляется на таком уровне философствования.

Гораздо легче смоделировать психологически даже целый социальный мир, чем обнаружить реальные нервные связи между явлениями действительности. Модель конфликта в поэме Евтушенко довольно непривлекательна: идет спор между египетской пирамидой, воплощающей идею неверия в человека, и Братской ГЭС, провозглашающей веру в светлое будущее человечества. Если уж автор решил подвести итог многотысячной истории философского неверия, то следовало бы для такого проглядывания веков поискать подходящую интонацию. Пирамида же декларирует в такой бойкой манере:

Торгаши...

Переделать их?

Дудки!

Пирамиды недаром скептики.

Пирамиды —

они не дуры... и т. д.





Евтушенко разговаривает с историей, как с какой-нибудь поклонницей стихов на читательской конференции. Конечно, история от этого мало что проиграет, но вот

поэма Евтушенко, «держась» на таком разговоре, от этого явно не в выгоде.

Искусство невымыслимо без органичности идеи (кстати, и духовная зрелость автора начинается с органичности самоулубления). Поэма, как живое существо, является плодом внутренних исканий автора, его мучительного однодумья. Могут быть, разумеется, и противоречия, но именно в глубине жизненных проблем. Пестроту поэмы Евтушенко не надо смешивать с такой внутренней сложностью, для этого она слишком мелка. Это в самом деле пестрота, разномастная смесь — смысловая и эстетическая. Пламенность гражданственности не в том, чтобы о разных вещах говорить в одинаково восклицательной интонации.

Я не имею возможности подробно говорить о поэме Евтушенко, но хочу напомнить об одном эпизоде. В главке «Нюшка» рассказывается о том, как обманутая в любви молодая бетонщица Нюшка, беременная, взбегает на эстакаду, чтобы покончить с собою, но открывшийся вид величавой стройки отводит ее от самоубийства. Это Евтушенко-то пишет о таких банальностях — сам насмеявшийся над рутину, «телегами» в искусстве и проч.? Но удивляться тут нечему — это естественно для автора, многосторонность которого несколько оригинальна...

Стих поэмы обессиливается подражанием Блоку, Есенину, Маяковскому, декламацией, условными образами. Но и тут критика не обходится без громких комплиментов. Один из авторов в восторге от главки «Стенька Разин», тут сплошные восклицания: «этого Стеньку забыть нельзя», «это зрело» и проч. Критик восхищается описанием «стольной, пьяной Москвы». А чем восхищаться? Один выдавливает прыщ, другой прет, «трещит с гороху», девки под хмельком «шпарят рысью — в ляжках зуд» и т. д. Автору кажется, что это хорошо, а ведь

это отвратительно! И сам Стенька Разин, которого будто бы «забыть нельзя», — ведь это не живое лицо, а повод для автора поэмы поиграть словом! Стенька, идущий на казнь, видит топор над палачом.

...в руках у палача над толпой
голубой топор,
как Волга голубой,
и плывут, серебрясь,
по топору,
струи,
струи,
будто чайки поутру...

Красиво, не правда ли? Но стоит вдуматься в смысл описываемого, и сразу же обнаруживается психологическая фальшь образа. Это в предсмертную-то минуту Стеньки палаческий топор напоминает голубую Волгу? И эти плывущие струи, «будто чайки поутру». Нет, здесь в трагический момент поплыло что-то уж совсем грациозное (несколькими строчками ниже автором еще дважды «обыгрываются» понравившиеся ему струи).

Своей поэме Евтушенко предварил «молитву», где он обращается за подмогой к великим «российским поэтам». Конечно, такое обращение не излишне, но никакой великий поэт не поможет современному автору в главном — в органичности, я бы сказал — молекулярности мировосприятия. Поэт, говоря словами Достоевского, «дар, и его не выделает», природа поэта — это и его внутренние свойства: значительность личности, острота нравственной реакции на жизненные явления. И сила гражданственности зависит от этой внутренней значительности поэта: какая уж там гражданственность, скажем, при духовной элементарности!

Инертность гражданственности поэмы Евтушенко в том, что эстрадной броскостью автор снимает больные проблемы, упрощает их, делает общим местом. Это не боль, а словесная игра. Но, так сказать, самоуверенность поверхностности в поэме рассчитана на широкое звучание, и об этом стоит призадуматься, потому что, как я уже сказал, в этой упрощенности критериев есть свой общественный смысл.

Владимир Туркин



Меня волнует то, о чем говорил Борис Куликов. Когда Михаил Шолохов оценивает работу ныне действующих советских поэтов — Василия Федорова, Егора Исаева или Владимира Фирсова, а «Литературная газета», публикуя беседу с Шолоховым, «опускает» именно эти имена, вот тут хочется спросить о «цензуре». Какими «государственными» интересами, какими вкусами руководствуются товарищи из литературной прессы, как говорится — с чьего ведома производятся такие операции? Вот тут наша тема — «поэт — критик — читатель». Самая страшная казнь для поэта — казнь замалчиванием. Я говорю о хороших поэтах. Десятилетиями работают иные поэты ярко, плодотворно, а критика молчит. Смотрите: Дмитрий Ковалев. Недавно поэту исполнилось пятьдесят лет. Заглянул хоть один критик в его поэтический плодоносящий сад? А стоило бы заглянуть. Ковалев самобытен, интересен, мыслящий, острый, беспокойный, истинный поэт. Какое место занимает он в нашей поэзии? Своей ли тропой идет, с чего начинается, какие дорожки нашей поэзии стороны развивает? Для разговора обо всем этом поэзия Ковалева давно уже созрела. Но — критики живут «мимо нее». Василий Субботин. Два десятка лет поэтического труда за его плечами, труда кропотливого, почти ювелирного. На читательском столе многие книги его лежат открытыми, а на столах критиков — закрытыми. Я уважаю скромность Марка Соболя, когда он говорит, что, мол, ему не столь важно, пишут или не пишут о нем критики. Но надо понимать скромность поэта, а не злоупотреблять ею. Ну, хорошо, Валерий Деметьев посвятил Марку Соболю добрые слова. Так ведь, к беде нашей, не десять раз бывает у поэта пятидесятилетие! Чудо-вишно! Полвека ждать заинтересован-

ного выступления критика о своем творчестве. Вот Владимир Карпеко. Очень плодотворно работает последние годы, не одна книга вышла. Критика молчит. Я называю имена только сидящих здесь сейчас, в стенах этой комнаты. Но раздвиньте стены, и вы увидите, что горький перечень поэтов, казнимых замалчиванием, можно продолжать и продолжать. Порой даже трудно верится, что такое замалчивание возникло и продолжается стихийно. Вы помните, что первые добрые слова появились о Сергее Смирнове «вслух», когда поэт был уже на рубеже своего сорокалетия. Но ведь состоялся он как поэт гораздо раньше. Все это имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору. Выступление в печати о творчестве того или иного поэта определяется часто не сутью поэта, а возможностью доступа того или иного критика к литературным страницам. Не по-хозяйски, незаинтересованно поступают критики с нашей поэзией и с подлинными ценностями, накопленными ею.

Замалчивание — одна из ярко выраженных тенденций нынешней критики. Есть и еще одна, на которую я хочу обратить внимание. Бывает так, что критическое выступление у нас не столько разрешает поставленную в ней тему, сколько носит характер выпада против личности поэта, характер тенденциозный. Благое дело сделали бы для советской поэзии Марк Максимов и Ярослав Смеляков, выступив против мещанства в поэзии. Но они выступили в «Известиях», на мой взгляд, не столько против мещанства, сколько против Игоря Кобзева, сделав его чуть ли не правофланговым мещанской поэзии. Но, если уж есть правофланговый, наверно, должен быть по меньшей мере и левофланговый «мещанского строя». Статья оказалась не залпом по мещанству, а выст-



релом из критической «двустволки» по одному, выбранному весьма произвольно поэту. Замечаю я и еще одну тенденцию. Ведет критик разговор о поэте. Философия этого поэ-

та сумбурна, взгляд его на жизнь — клочковатый, рваный. Но критик пишет: «Да, не все ясно в этих стихах. Но талантливо, черт возьми!» И сравнивает этого поэта с другим, философия которого яснее, взгляд на жизнь осмысленней, исторически более определенный, граждански нацеленный, — но стихи слабые. От такого сравнения проигрывает не бездарный поэт — это бы не беда! — а проигрывает идея, к которой, по несчастью, прикоснулся бескрылый поэт. Такой примерно «метод» заметил я в недавней статье Евгения Винокурова в «Литературной газете». Нет уж, давайте сравнивать талантливое с талантливым, если мы хотим, чтоб спор был полезен для поэзии.

Теперь о читателе. По существу ведь у нас нет трибуны читателя. Очевидно, пока не будет журнала «Поэзия», трудно будет открыть в каком-либо другом журнале широкую читательскую трибуну. Поэтому сегодняшний наш разговор, естественно, наиболее беден в той части темы, которая обозначена словом «читатель». Конечно, читатель не выражает общественного мнения. Читатель бывает разный. Он выражает свое личное мнение. Да, очевидно, единое общественное мнение на творчество того или иного поэта в идеале и невозможно. Есть, однако, особенность, о которой, думается, надо помнить. Читатель руководствуется только своим вкусом. Пусть он не может и не призван объяснить свою привязанность к тому или иному поэту. Но худо, когда и критик руководствуется только своим вкусом. Читатель имеет право сказать: «мне нравится» или «мне не нравится». Критик не имеет права на такую оценку поэзии. Истина эта в общем-то известна. И тем не менее как редко находим мы в статьях критиков глубокую «аргументацию» своей любви или не-любви. Некоторые критики, войдя в «острую» тему поэтического спора, ве-

дут себя примерно так же, как наши футболисты в пределах штрафной площадки бразильцев, — суетно оглядываются, топчутся, будто ночью в чужую квартиру попали; ждешь — вот-вот кто-нибудь из них все-таки ударит по воротам. Но... следует робкий, безграмотный удар... и мимо ворот. Тоска ведь уже гложет по серьезному разговору о нашей поэзии. Беда в том, что критике нашей не хватает исторического взгляда. На поэта смотрят, вырвав его из цепи общего развития русской и советской поэзии. И тогда спор бесплоден. Он носит праздный характер. Уходит сопоставимость творчества того или иного поэта с истинными завоеваниями поэзии, уже накопленными, с завоеваниями не только поэзии, но и философии, и эстетики, и коммунистической нравственности, и политики. А ведь порой чуть-чуть увеличить горизонт обзора — и увидишь удивительные вещи. Помню, в одном из сборников «День поэзии» мы опубликовали отличное стихотворение Дмитрия Сухарева. Оно запомнилось каждому, кто прочел его, особенно или хотя бы первой, звонкой строкой: «Давайте умирать по одному». Стихи о мире. Все хорошо. До той поры, пока однажды в сознании моем эта строка вдруг не столкнулась с другой, которую я помню с детства, да и вы помните: «Мы как один умрем в борьбе за это!» Столкнулись две строки и борются. Одна зовет: «Мы как один умрем!» Другая: «Давайте умирать по одному!» И то и другое — создано советской поэзией. Я понимаю, мне скажут: «Что же ты сравниваешь — отдельные строки, да и время ведь не то уже». Понимаю. А все-таки не хочется, чтобы одна хорошая строка в советской поэзии убивала другую хорошую строку той же поэзии. Я не предрешаю судьбы спора этих двух строк. Но привожу этот пример, чтобы показать, какую бурю раздумий может вызвать вот такая сопоставимость и какое поле деятельности для критики здесь и сколько здесь сразу проблем: и философских, и эстетических, и нравственных, и политических. Так все-таки: «как один»? или «по одному»?

Словом, я за историческую преемственность поэзии и за историчность критики.

Взаимоотношения поэта, критика и читателя напоминают один любопытный рабочий процесс. Во младости мне приходилось вить веревки. Как правило, веревка состоит из трех долей. Если все три доли закручены в одну сторону, то, сойдясь вместе, они не совьются. Одна доля все время будет раскручиваться. Чтобы она не раскручивалась, а завивалась, как и две другие, ее свивают в другую сторону. Положение критика в общем поэтическом процессе примерно такое же.

Поэт внушает читателю свои чувства и мысли. Читатель может принять и не принять поэта, но, принявши его, он «закручивается» с ним в одну сторону. Роль критика более независима, ибо он не только толкователь поэта, но и толкователь жизни. По стихам поэта критик может судить о нравственном облике целого общества, но не каждый поэт может дать ему эту возможность. Анализ лишь одного стихотворения Катулла «Аттис», и то на мифологическую тему, приоткрыл перед А. Блоком картину нравственного разложения тогдашнего римского общества. Он не поверил свидетельству историков, писавших о Катилине, но поверил поэту, ничего о нем не писавшему. В данном случае А. Блок выступил в качестве критика. Этим хочу сказать, что у критика есть основания «вить» в другую сторону, с тем чтобы потом прочно войти в общую «веревку» культурного результата.

Прежде чем говорить о критике, мы, поэты, должны спросить: есть ли у нас такой материал, по которому критики могли бы высказать свои глубокие суждения? У меня впечатление, что такой материал есть. За последние десять лет наша поэзия была чутка к общественным явлениям. Этим и объясняется ее взлет. За это время было много сделано. Мы даже получили много похвал. Похвала бывает приятна поэту, но для раз-

вития поэзии этого мало. Нужна не похвала, нужен анализ, нужна поверка жизнью. Даже такое крупное и сложное произведение, как «За далью — даль» А. Твардовского, еще не получило глубокого толкования. А ведь эта вещь стоит на изломе. Своей лирической, исповедальной частью она в новом времени, а эпическими, точнее, очерковыми картинами — в прошлом, хотя картины эти по своему содержанию и современны. Видимо, то качественное новое — лирическое не успело стать зрением, не успело войти в плоть эпического стиха. Такова глава о молодоженах, едущих на целину.

У нас много удач и в более молодой поэзии. На мой взгляд, еще только в общих чертах просмотрена поэма Егора Исаева «Суд памяти». В критических суждениях она больше привлекалась в качестве художественного материала борьбы за мир, а между тем эта поэма интересна во многих отношениях.

Наша теоретическая мысль еще очень слаба. Она не опирается на практику. Слабость теоретической мысли заметно сказывается на нашей критике. На свет божий вытаскиваются обветшалые теории имажинизма, футуризма, акмеизма. Разумеется, старых вывесок нет, а старый товар продается.

Вот почему в нашей критике много натяжек, случайностей, ненужных кампаний.

Одно время несколько газет подряд выступили против Эдуарда Асадова и Игоря Кобзева, потом в поле зрения критики попал Анатолий Заяц. Хорошо, что поэты взялись за критическое перо, но часто и они грешат против истины. Так, в статье Марка Максимова и Ярослава Смелякова, о которой уже говорили, появилось много передержек. Сам заголовок «Осторожно — мещанство!» носит по отношению к товарищу по ра-



боте Игорю Кобзеву нарочитый характер. В разряд мещанских стихов попали даже такие серьезные строчки Игоря Кобзева:

Вышли мы все из народа,
Как нам вернуться в него!

Что тут мещанского? Над смыслом этих строк нам еще не раз придется задуматься. Теперь как-то странно звучат слова старой песни: «Вышли мы все из народа». А зачем нам нужно было из него выходить? Говорят: из песни слова не выкинешь. Это правда, но правда и то, что старятся не только песни, но и гимны.

Мы вовремя заговорили о взаимоотношениях поэта, критика и читателя. Сейчас такой момент, когда в нашей поэзии, по моим впечатлениям, установился некий средний уровень, установилось как бы затишье. Что это предвещает? Углубление ли поэтической мысли? Подъем ли, спад ли? То, что лишней шумихи нет, это хорошо. Но нет ли успокоенности, нет ли пассивной выживательности?

Теперь о читателе. Наш сегодняшний читатель в общем-то стоит на уровне нашей критики не только по эмоциональному восприятию — здесь он часто даже выше, ибо непосредственной, — но и по кругу мыслей. Наш читатель образован. Кроме того, он ближе к истокам жизни. В этом тоже преимущество. Конечно, читатель бывает разный, но я беру в пример читателя самого высокого уровня, который не просто сам по себе, но уже и пропагандист поэзии. Это маленькое бюро пропаганды, притом не по обязанности, а по любви. Другое дело — слушатели литературных вечеров. Среди них, особенно в Москве, выработалась определенная категория, которая поры-

вается делать литературную политику. Она напоминает древнеримский развращенный плебс, кричавший на форумах: «Хлеба и зрелищ!» Они приходят на вечер группой и стараются привить настроение, чаще всего дурное, всему залу. Однажды в энергетическом институте большой группе поэтов — мне, Солоухину, Ковалеву и другим — пришлось столкнуться с такой группой. Ей хотелось поспорить нас со всем залом. Но мы разгадали эту хитрость и не поссорились, а быстро подружились. Оказалось, что это были не студенты, а пришлые, из разряда жаждущих «хлеба и зрелищ».

В заключение вернусь к критике. Без нее мы «веревки» не сошьем. В подтверждение этого передам свой разговор со знатоком леса. Я его спросил, почему в подмосковных и владимирских лесах, в которых мне приходится бывать уже десяток лет, не водятся зайцы

— Почему?! Да потому, что волков и лис перевели.

— Странно! Они же уничтожали зайцев?!

— Парадоксально, но — факт!

Как известно, зайцы живут колониями, расположенными далеко друг от друга. Лисы и волки, охотясь на зайцев, гнали их десятки километров. Наиболее сильные, выдержавшие состязание в беге, приживались потом в других колониях и обновляли породу. При отсутствии волков и лис этот естественный обмен между колониями нарушился. Началась деградация породы, нарушились санитарные нормы, что привело к повальному заражению.

Довольно поучительный пример. Да простят мне за него критики. Но этим примером мне хотелось предостеречь товарищей поэтов от судьбы бедных зайчишек.

Зайца нужно гнать!

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Вступительным словом предваряя вечер одного стихотворения зимой 1964 года, я проделал такой опыт. Рассуждения о том, что это такое — одно стихотворение, мне захотелось превратить вопросником, обращенным к аудитории.

Спрашиваю:

— «О доблестях, о подвигах, о славе»?

И мне в ответ:

— Блок!

— «Собаке Качалова»?

— Есенин!

— «Сестра моя — жизнь»?

— Пастернак!

— «Птицелов»?

— Багрицкий!

— «Охота на нерпу»?..

— Сельвинский!

— «Синие гусары»?..

— Асеев!

— «Итальянец»?.. (Мне неловко было спрашивать о «Гренаде», — решительно все знают.)

— Светлов!

— «Песня о ветре»?..

— Луговской!

— «Некрасивая девочка»?..

— Заболоцкий!

— «Я убит подо Ржевом»?..

— Твардовский!

— «Зодчие»?

— Кедрин!

Это был внушительный, значительно более длинный, чем здесь, перечень стихотворений и имен. Аудитория была увлечена. Но помимо этой увлеченности и азарта разгадывания имело место и другое, на мой взгляд — самое главное. Лучшее стихотворение (или одно из лучших) быстро связывалось с именем создателя, вызывало в памяти его образ, все его творчество в мгновенном освещении.

Читаю хрестоматийное:

Вчерашний день часу в шестом
Зашел я на Сенную.
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Все знают: это — Некрасов. И все будут всегда удивляться этому чуду: в восьми строках с символической наглядностью очень полно и решительно выразился весь поэт.

Так же точно — на другом вечере — я коснулся «Завещания» Шевченко, «Мерани» Бараташвили, «А кто там идет?» Купалы, «На майдане» Тычины. Одно стихотворение. И рядом с ним — автор, не как подпись, а как образ. Подчас — и это наибольшее для поэта счастье — народ делает стихотворение своим и новые поколения забывают об авторстве одного человека. Стихотворение, случается, покидает автора и ведет долгое безымянное существование в народе. Настолько долгое, что нужны специальные исследования (таковы, например, работы И. Н. Розанова), устанавливающие авторство того или иного из этих стихотворений.

Спрашиваю у аудитории, кто написал стихотворение «Замучен тяжелой неволей». Многие знают, что это любимая песня Ленина, но мало кто помнит, что написал ее Г. Мачтет.

А «Вечерний звон...»? Связывают ли поющие эту песню с именем И. Козлова? А «Две гитары, зазвенев...»? Упоминается ли при этом Аполлон Григорьев? А «Было дело под Полтавой»? Тут уж только очень знающие люди скажут, что автор этого произведения — И. Молчанов.

Каждое настоящее стихотворение представляется мне живым существом. Со своей внешностью, своим душевным миром, со своей судьбой во времени и пространстве. Оно может существовать не только вместе с другими стихотворениями автора, оно может жить и отдельно от других произведений этого автора, и, как мы сейчас убедились, отдельно от него самого.

Стихотворение может состоять из двух строф или из двадцати строф, но оно должно производить впечатление целостности и законченности, завершенности. Это — вещь, отдельная вещь.

Я видел в «Звезде» Николая Леопольдовича Брауна за чтением стихов.

— Это — произведение! — громко и с удовлетворением сказал он об одном четырехстишии.

Это означало: перед нами законченная вещь, завершенное сочинение, оно может существовать отдельно от других, оно — живое существо.

Одно стихотворение — с виду это мало. Но нет, это очень много — одно стихотворение. Это повесть, где каждая строка — глава. Одно стихотворение, в котором три-четыре строфы, это — драма в трех-четыре действиях.

Одно стихотворение может быть стекляшкой и может быть бриллиантом, ценным во все времена; это — наиболее емкая из всех ценностей.

Поэтому одно стихотворение это — отбор, строжайший выбор, предпочтение.

Если проследить судьбу одного-единственного стихотворения поэта, то окажется, что одно отличное (или, как говорят, выдающееся) стихотворение весит много больше, чем это одно отличное стихотворение и добавленное к нему множество посредственных и никчемных.

Одно стихотворение — это сгусток эмоциональной и интеллектуальной энергии поэта. Взрыв его молодых сил. Это миг, когда он крыльями касается своего потолка. Как бы ни было мало или велико по объему одно стихотворение, автор в нем может выразиться весь, цельно, полно, настолько весь, цельно, полно, что дальнейшие его попытки могут оказаться повторами этой его удачи, досадными дубликатами ее.

Как это сделать — никто не скажет. Но когда это случается — все видят, и удивляются, и хотят понять.

У великих поэтов нелегко выбрать одно-единственное лучшее стихотворение. У Пушкина одни назовут «Я помню чудное мгновенье», другие — «Анчар», третьи — «Желание славы», четвертые — «Для берегов отчизны дальней»... У Тютчева одни назовут «Фонтан», другие — «Silentium», третьи — «Цицерон», четвертые — «Брат, столько лет сопутствовавший мне». Да и сам автор и разные его читатели в разные моменты жизни назовут то одно, то другое, то третье стихотворение.

В зависимости от возраста, настроения души, опыта, читатель может назвать и называет лучшим, единственным, образцовым совершенно разные вещи одного и того же автора.

Время произносит суд более решительный, чем отдельно взятый читатель, хотя и оно, выбрав одно стихотворение автора, может вскоре его предать забвению и извлечь из Леты забытое стихотворение и вернуть его читателю.

Это так не просто: определить, какое оно — одно-единственное, образцовое.

Настоящему поэту всегда кажется, что оно еще в чернильнице или в капсуле вечного пера... Оно пишется, оно будет написано завтра... Помню, как моим друзьям поэтам мучительно трудно было выбрать одну-единственную вещь (в старину говорили — «пиесу») для сборника «Мое лучшее стихотворение», вышедшего в Гослитиздате в 1961 году. Лучшее — в смысле: ключевое, запевное, определяющее, главное, самое удачное, заповедное.

В предисловии к сборнику издательство спрашивало: «А что значит лучшее? Чем оно лучше другого?» И отвечало: «Мое лучшее» — это одновременно и «наше хорошее», это стихи, выдержавшие испытание временем».

Автору трудно сказать: вот мое лучшее стихотворение... Но Время с помощью Большого Читателя (следуя примеру Н. Н. Асеева, пишу эти слова с прописной буквы) делает выбор. Оно, Время, как бы говорит: «Вот его лучшее стихотворение, с ним пусть он плывет в будущее».

Порой этот выбор оказывается в противоречии с выбором самого поэта. Время подчас выбирает совсем не то, на что надеялись автор, его друзья, его критики.

Однажды поздно ночью на Неглинной я встретил Виссариона Саянова. Мы ходили по Москве, и Саянов доверительно говорил о своей жизни. Среди многого другого он вспомнил о разговоре с Маяковским. Было так: молодой Саянов становился известным, стихи его все чаще появлялись в печати. Маяковский сказал ему: вагоны без паровоза никуда не поедут. Вагонам — рядовым стихотворениям — нужно хотя бы одно стихотворение-паровоз. Чтобы потянул за собой вагоны...

Вспомним названия лучших стихотворений наших поэтов, и мы поймем, в какой степени верно это наблюдение Маяковского.

Недавно в разговоре с Александром Балиным я очень похвально отозвался о его стихотворении «Первое свидание». «Это моя «Гренада», — застенчиво улыбаясь, но не без гордости ответил он.

Каждый поэт мечтает создать свою «Гренаду». То одно заглавное, ведущее стихотворение, которое явилось бы паровозом или электровозом, тянущим весь состав.

Случается, что к одному стихотворению-паровозу через много-много лет присоединяется (уже позади состава) другое стихотворение-паровоз. Оно может повезти состав в другую сторону — столько в нем силы. Так было, к примеру, с Михаилом Аркадьевичем Светловым, который к «Гренаде» добавил «Итальянца», стихотворение-чудо.

С некоторых пор мы стали находиться во власти стихотворного потока. Больших, можно сказать, грандиозных словесных масс. Книжки-кирпичи, панели. Книжки в четыре-пять тысяч, а то и более строк стали обычным явлением. Одно дело — собрание сочинений. Другое дело — очередная книга.

Стихотворная книга в 400—500 строк — явление крайне редкое. А между тем именно такая книга всего более привлекает читателя. Вспомним «Ямбы» Блока, изданные «Алконостом» отдельной книгой. Сколько в этой книге строк? Около двухсот... А как весома! Безответственное многоговориение стихов остается одной из бед нашей поэзии. Инфляция стихотворного слова — вот с чем надо бороться. В поэзии счет ведется на строку. Строка — шаг, *versus*, вирши, поступь и — поворот.

Можно написать сто томов, но, дай бог, остаться двумя строчками.

Остаться в большой русской поэзии одной строкой, двумя строчками — это счастье. «Из искры возгорится пламя». «Мысль изреченная есть ложь». «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Нечего говорить о целом стихотворении. «Мать» Николая Дементьева — эта вещь резко выделяется из множества других произведений поэта, талантливого и безвременно погибшего, невоплотившегося. Это — вершина Дементьева. И вместе с тем одна из вершин нашей поэзии довоенной поры.

Внимание к одному стихотворению!

Будем помнить — это не мало, а много. Одно стихотворение — это богатство. Давайте вести счет на строки, а не на десятки тысяч строк, на тома. Поэзия — не послужной список, а удивление.

Одна строка — это не мало, а много.

Приходит начинающий, говорит: «Я прочитаю стих», — и читает конечно же большое стихотворение. Иной раз (злость берет!) после первой строки его остановишь: «Стих вы уже прочитали!» Он недоумевает...

Стихотворение — это ряд стихов. Потому и говорят во множественном числе: «стихи». Собрание строк, каждая из которых может нести, должна нести огромную нагрузку.

Одна строка — это богатство.

В мусорных кучах и гробницах древнего Египта археологи в конце XIX — первой половине XX века нашли так называемые греко-египетские папирусы. Стихи, отрывки, обрывки стихов.

В книге Я. Э. Голосовкера «Поэты-лирики Древней Эллады и Рима» приведен такой автор — Эпихарм. О нем известно, что он жил в конце VI—V вв. до нашей эры. Он — создатель сицилийской комедии. Сохранились лишь отрывки и заглавия его пьес.

В книге приведена всего одна (!) строка этого самого Эпихарма: «Разум немлет и зрит, — все прочее слепо и глухо». От поэта остался не том, не фолиант, а всего одна строка. И — поэт остался. Строка эта очень весома.

Так отдельные строки и отрывки Сафо, Архилоха, Алкея говорят многое и о многом.

Архилох с острова Пароса родился около 680 года до нашей эры. Погиб на войне, которую вел Парос с соседним островом Наксосом.

Вот уцелевшие строки Архилоха:

В остром копье у меня
замешан мой хлеб. И в копье же —
из-под Исмара вино.
Пью, опершись на копье.

Образ человека, которого трудно, просто невозможно себе представить по скудным данным его биографии, живо восстанавливается по этим двум строкам.

Великая сила — одна поэтическая строка.

Давайте вести счет на отдельную строку!

Микеланджело предлагал испытывать целостность статуй таким образом: скатывать их с горы; то, что отлетит — несущественно.

С горы времени летят стихи, сотни, тысячи, десятки тысяч строк. Те, которые отлетают, несущественны.

Что вглядываться в такую баснословную старину! Беру близкий пример. В недавно вышедшей прекрасной книге «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» приведено стихотворение «Я в плену, в краю чужом, далеком». От казненного гитлеровцами А. Меркулова осталось одно — стихотворение:

Я в плену, в краю чужом, далеком!
Дни идут печальной чередой.
Далеко отсюда на востоке
Милый край и отчий дом родной.

И под ним надпись. Стихотворение-судьба. Несколько стихотворений осталось после гибели гвардии лейтенанта Леонида Розенберга. В медальоне воина-героя Яковлева (мы даже не знаем его имени) осталось стихотворение. Оно — судьба человека, его завещание живым («Моя клятва», ноябрь 1942 г.). Расстояние между строками таких стихов такое же, как расстояние между звездами.

Народ требует от поэзии меткости, краткости, точности, глубины, открытости. Это — помогает жить. Помогает в построении душевного мира.

Память народа удерживает пословицы, поговорки, крылатые слова и те (только те) стихи, которые если не по размеру, то по глубокой сути приближаются к ним.

Остаться в русской поэзии, в памяти народа хотя бы одним стихотворением — большое счастье, редкая удача.

Вернем людям чувство значимости и величия одной строки, стиха в его первоначальном и истинном смысле.

К нему спешат по дружбе старой
Из глубины лет глухой и звонкой
И Яшка, правдолюбец ярый,
И Лида, гордая девчонка.
Прошли красавицы России,
Рванулось время за Петром...
И снова Ярослав Васильич
В работу вклинился бочком!

Войдите в этот час рабочий
Под дачный солнечный каркас —
Взгляните, как строгают строчку,
Ту, верную — не напоказ,
Ту, заглянувшую в глубины
И мыслей ваших и сердец, —
Не из картона, не из глины,
Не из неправды, наконец!
Распахнут ворот. Дышит мастер
Устало. Смотрит тяжело,
Как человеческое счастье
Литое пробует крыло:
Уронит и поднимет снова, —

Окно раскрыто, даль ясна!..
Блеснет в глазах у Смелякова
Над дорогой породой слова
Нежданная голубизна.
И вновь теней нелегкий танец
И синий дым от сигарет.
И длится время испытаний
Строки на силу и на цвет.
И стих идет крутой, как лава,
Как утро чистый и как счастье...

Лежит собака Ярослава
Какой-то рыжеватой масти
И зорко дремлет возле стула,
Пока он трудится сутуло,
Пока над грудями стихов,
Над взмахом песенным и птичьим
Летят страницы облаков
В своем эпическом величьи
И дождь с ветрами в поединке
Стучит на пишущей машинке.

Р Е М О Н Т У В И Н О К У Р О В А

Войду. Воткну в окно окуроч.
У Винокурова ремонт.
И смотрит хмуро Винокуров,
И пишет про любовь и фронт.
Он мыслит широко и веско,
Копает глубоко и рьяно,
И ветер треплет занавеску
Его старинного романа.
Поэзия — всегда — вторженье.
И в мире — радостный ремонт.
И философски сбитый Женя
Плечом обыденщину рвет!

Но так его берет культура,
В такие пути иногда,
Что тот, глазастый Винокуров
С улыбкой смотрит сквозь года...
Где простота? Где усложненность? —
Опять задумался поэт.
Вдали, как прежде, — цвет зеленый,
Вблизи — известки лунный цвет...
У Винокурова ремонт.
Как в день творенья. Как впервые.
Светло крылами песня бьет,
Звучат лебедок позывные!

К. Д. Бальмонт

«Читайте Пушкина, Лермонтова, Некрасова, новых поэтов, например — Бальмонта, он — декадент, но великолепно знает язык. Язык — это оружие литератора, как ружье — солдата», — писал А. М. Горький в 1905 году. Книгу стихов Бальмонта «Будем, как солнце» Горький называл «действительно прекрасной». Бальмонта ценил и А. П. Чехов, писавший поэту: «Я люблю Ваш талант, и каждая Ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения».

Революционное стихотворение Бальмонта «То было в Турции, где совесть — вещь пустая...», за которое в 1901 году поэт был выслан из Петербурга, использовалось в большевистских прокламациях.

Однако, когда пришел Великий Октябрь, Бальмонт не понял его и эмигрировал за границу. Там, вдали от родины, он и умер в 1942 году.

Современным читателям творчество Константина Дмитриевича Бальмонта почти неизвестно. Только в 1962 году цикл его стихотворений был перепечатан в хрестоматии «Русская литература XX века»; в ближайшее время стихи Бальмонта появятся в сборнике «Поэты начала XX века», выпускаемом «Библиотекой поэта».

В 1918 году К. Д. Бальмонт опубликовал в московской газете «Заря России» (№ 14 от 4—5 мая) интересную статью «К молодым поэтам». Мы публикуем эту статью в позднейшей редакции — по тексту сборника статей и очерков Бальмонта «Где мой дом?», изданного в Праге в 1924 году.

Публикация А. В. Храбровицкого

К МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

Ко мне часто приходят гости, с которыми я не знаю, что делать. Юноша, молодой поэт, девушка, молодая поэтесса. Придут и спрашивают, есть ли у них талант и надо ли печатать то, что они пишут. Девушки обыкновенно скромны и застенчивы, и нередко у них есть проблеск дарования. Юноши обычно самолюбивы и развязны, и в девяти случаях из десяти они совершенно бездарны.

Мне хотелось бы, чтоб никогда меня никто не спрашивал, есть ли у него талант. На самом деле, ведь глупо спрашивать кого-либо другого, умен я или нет. Каждый это пусть сам знает про себя. Не более находчиво и спрашивать, есть у меня талант или нет. Творчество есть нечто глубоко интимное, внутреннее, личное. Кто полюбил, тот не будет спрашивать, любит ли он. Его собственное сердце настойчиво твердит ему: «люблю». И поэт, когда он чувствует в

себе творческий дар, сам отлично знает: «я — поэт». Если я полюбил, я смело пойду туда, куда меня зовет любовь, и если трудно достичь любимой, я не буду спрашивать у старших, как мне ее достичь.

Вопрос: «печататься ли мне?» равносильен вопросу: «жениться ли мне? выходить ли замуж?». Опять-таки, кто полюбил воистину, не будет об этом робко спрашивать папу и маму, а с спокойной и глубокой твердостью заявит отцу и матери или нежно сообщит им, что совершилось великое таинство сердца, и никакая сила не должна и не может разлучать двух любящих любимых.

Затем, если предположить, что я могу в точности рассмотреть, есть ли дар в таком-то начинающем писателе, какой смысл в том или ином моем приговоре? Если я скажу: «есть, пишите», это будет лишь тавтология, ибо талантливый человек все равно не может не

выразить свой талант. Если я скажу: «нет таланта, не пишите», бездарный человек, чего-либо захотевший, еще упрямее, нежели человек талантливый, и, конечно, он меня не послушается и будет писать еще азартнее.

Но кроме того, как же я могу в точности рассмотреть, есть здесь талант или нет? Один начинает бледно, а из него выходит мастер исключительный: пример тому — Тургенев. Другой начинает блестяще, а из него ровно ничего не выходит; примеров тому неисчислимое множество так называемых гениальных детей и подростков, из которых образуются тщеславные тупицы с вывихнутым мозгом. И если талантливому юноше я ошибочно скажу: «таланта нет», я только причину ему боль напрасную. И если я ошибкой скажу бездарному: «есть талант», — я только поощрю безбожное посягательство на красоту божеского слова.

Это все — как в сказке: «направо пойдешь — чести лишишься, налево пойдешь — коня потеряешь, а прямо пойдешь — и с тебя голову снимут».

Нет, уж пусть лучше буду я сам знать свою душу, свой талант, свое творчество, свою любовь. А другой в этом никто не указка.

Я могу, однако, высказывать общие мысли о том, что такое творчество вообще, и как творит и работает истинный поэт, как растет и расцветает веселящий душу цветок.

Поэт — стихия. Ему любо принимать разнообразнейшие лики, и в каждом лике он самотождественен. Он льнет любовно ко всему, и все входит в его душу, как солнце, влага и воздух входят в растение. Поэт — облако, птица, звенящая мошка. Поэт — море, ветер, цветок и звезда. Поэт — малое дитяtko, влюбленный юноша, празднующий свою весну, задумавшийся о вечности старец, дровиш, объятый бешеной пляской, задымленный кузнец, ударяющий молотом. Поэт есть голос времени, он — послушное орудие мировых свершений, он росинка, которой радостно напоить подорожник, он свирель, без которой нельзя любить красиво, он боевая труба, под звуки которой весело идут на смерть.

Лик поэта разнообразен, многообразен до бесконечности. Но как ни много в лице поэта черт, в этом многообразии есть свои пробелы. Некоторых черт в поэте никогда не бывает. Так, поэт изменчив, он изменчивей морской волны и дрожащей паутинки, но никогда поэт не был изменником. Измена, изменничество, низость предательства несовместимы с достоинством поэта, и я не знаю в истории ни одного поэта, который бы предал свою родину. Может быть, если бы темные ряды предателей знали это и были бы способны воспринимать касание поэзии, многих исторических низостей не совершилось бы.

И еще нет некоторых черт в лике поэта. Сколько свойств ни вмещает в себе поэт, он не вмещает в себе страха, и ему незнакома трусость. Пушкин и Лермонтов не боялись стать под пулю, когда им показалось, что так должно. И Шелли без страха утонул в море. И лорд Байрон не боялся умереть на поле битвы, сражаясь за независимость Эллады.

Поэт открыт душою миру, а мир наш — солнечный, в нем вечно свершается праздник труда и творчества, каждый миг создается солнечная пряжа, — и кто открыт миру, тот, всматриваясь внимательно вокруг себя в бесчисленные жизни, в несчетные сочетания линий и красок, всегда будет иметь в своем распоряжении солнечные нити и сумеет соткать золотые и серебряные ковры.

Поэт — облако. Но да вспомнит, кто хочет это понять, как создается облако, сколько малых капель сочетаются в долгой работе своим воздушным дыханием, прежде чем мы увидим белое руно, которое посереет, и потемнеет, и отяжелеет, и раскинется чудовищем, чтоб затем заиграла алая молния и в музыке грома возникла серебряная пляска дождя.

Поэт — цветок. Но сколько подземных минут знают корни растения, прежде чем оно расцветет необманчивой алою чашей, и голубой звездой, и белым бокалом лилии. Лишь в таинстве молчания и долгой ошупи, лишь в глубинах почерпает растение силу сиять победным приветом вышине.

И если ветер есть воплощение стремленья, он долго скопляет свои легкие дыханья, чтоб возникнуть бурей. И если море есть голос вечности и самая освободительная стихия, это — оттого, что оно знает величайшие препятствия для своего движения, и вот вечно движутся потоки океана и преобразуют землю, а когда море трудится, кажется, что оно поет псалом или напевает колыбельную песенку.

Стих должен быть крепким. А для этого нужно скрутить себя. Уметь в весенний свой день сидеть над философской книгой, и английским словарем, и испанской грамматикой, когда так хочется кататься на лодке и, может быть, можно с кем-то целоваться. Уметь прочесть и 100, и 300, и 3000 книг, среди которых

много-много скучных. Полюбить не только радость, но и боль. Молча лелеять в себе не только счастье, но и вонзающуюся в сердце тоску. И в минуту несчастья своей родины не убежать от них, а вбирать их в себя. Чтоб они через тебя кричали и пели. И вопреки несчетным скопищам, питающимся суесловием и трусостью, молча пойти на жестокие поля войны, где новые смогут расцвести цветы именно в новой, молодой душе, которая, пройдя через горнило пытки самоотвержения и встретя новые, невиданные сочетания звуков, красок, положений, лиц, создаст новые поэтические сущности и откроет новые поэтические формы.

Долго ждать, долго молчать, но, заговорив, иметь что сказать,

Федор Сухов

МОЯ ЖАР-ПТИЦА

Моя поэзия, моя жар-птица,
Боюсь не часа смертного... Боюсь,
Что может так случиться-получиться,
Когда ты скажешь: «Хватит. Расстаюсь».

И улетишь туда, где налитое
Ржаное поле призрачно-бело,
Оставив мне на память золотое,
Навеки замолчавшее перо.

Николай Панов

ВСТУПЛЕНИЕ К БУДУЩЕЙ КНИГЕ

Когда забудут адрес мой,
Мой дом на улочке прямой,
Мой скитанья дней военных,
И имя-отчество мое,
И одиночество мое
В мельканье дней обыкновенных —
Пусть где-то на краю земли,
В букинистической пыли,
Раскрыв случайно книгу эту,
Студент, пилот или матрос
Взамен коробки папирос
Истратит на меня монету,
Какой строфой или строкой
Я чести заслужу такой?
Какая странная страница

Войдет в его сознание вдруг,
Чтоб превратиться в цвет и звук,
Заставить над стихом склониться?
За глупость сам себя кляня,
В карман положит он меня,
Потом раскроет книгу снова —
И пусть меня увидит. Пусть
Познает радости и грусть,
Живущие в стихах Панова.
И имя-отчество мое,
И одиночество мое,
Мой путь негаданный, военный,
Мои раздумья мирных лет!..
И пусть он скажет: — Вот поэт
Эпохи необыкновенной!

Арсений Тарковский

ПОЭТ

Жил на свете рыцарь бедный...

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличе
У поэта нечто птичье
И египетское есть,
Было — нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану
С реверансами, как спяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

СТЕПЬ

На каждый звук есть эхо на земле.
У пастухов кипел кулеш в котле,
Почесывались овцы рядом с нами
И черными стучали башмачками.
Что деньги мне? Что мне почет и честь

В ИЮЛЕ 1941

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее
Швыряют на голую стену.

Белье выжимает. Окно —
На улицу настезь, и платье
Развешивает. — Все равно.
Пусть видят и это распятье.

Гудит самолет за окном,
По тазу расходится пена,

Оперенный рифмой парной,
Кончен праздник календарный, —
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Так и надо жить поэту.
Я и сам спую по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.

Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

В степи вечерней без конца и края?
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная,
Не различать далеких голосов,
Не ждать благословенных парусов.

Впервой надрывается днем
Воздушной тревоги сирена.

От серого платья в окне
Темнеют четыре аршина
До двери. Как в речке на дне —
В зеленых потемках Марина.

Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка — судьба,
И переупрямит — над Камой...

Виктор Урин

НЕ УСТАВАЙ!

В точку одну равнодушно уставаясь,
смотрит усталость, мрачнеет усталость,
что-то смеркается и устаает.

Вот!

И подступает какая-то пустошь...

Но, оглушая безвольную тишь,
из-под бровей своих стрелы как пустишь
прямо в усталость! — и насмерть
сразишь.

И среди ханжества, и среди лести,
рядышком с вами и с вами не вместе,
возле подвоха и мелочной мести,
там, где хапуга, трескун, краснобай, —
не уставай!

Не устаю и живу, как в бою.

Где-то у пропасти на краю

верю, что выдержу и устою.

Не устаю.

Не устаю от неискренности,
знаю, что надо мне искры нести,
искры весомого, долгого, разного,
искры веселого доброго разума,
и засеять ими каждую пядь, —
не уставать.

Кто-то на взлете — ракетой запущен.

Кто-то, как сад без хозяев, — запущен.
Этот ласкает за пазухой нож.

Тот — прокричал, что уже невтерпеж.
Слушать их страхи, обиды и ложь —
не устаешь.

Пусть лицемерят, хватают за горло
или замалчивают то и дело, —
как бы ни муторно, как бы ни горько:
не надоело!

Не надоело смотреть на товарищей
мрачных, завистливых и остывающих,
бедных в беспомощности своей,
поодиночке запутанных в чащах,
робких в присутствии вышестоящих,
наглых, когда вы немного слабей.

Бей!

Бей, моя стойкость, врывайся, пронзай!

Не уступай! Не отступай! Не уставай!

Бодрствуй, энергия, как нарастание,
неустарение, неуставание,
бодрствуй, упрямое сердцебиение,

там, где мое и твое поколение
ждет окрыления, ждет окрыления,
там, где в настойчивой кузне минут —
не устают, не устают, не устают!

ВЫСОТА

Растерянный, усталый, остывающий,
Себе не верил я наедине.

Но вот однажды попросил товарища,

Чтоб людям так сказал он обо мне:

Вы думали, живет какой-то увалень,

А он на состязании страстей

«Поставьте планку, — прокричал, — на
уровень

Возможной невозможности моей!».

Он разбегался.

Он решил добиться.

За пядью отвоевывалась пядь.

Не так ли Брумель метит на два
тридцать

И потому берет два двадцать пять?

Он захохочет там, где вы заплакали,

Заплачет, где смеются сгоряча.

Рука любимой,

Сломанною планкою

Затрепетав, слетит с его плеча!

...Благодарю надежного товарища,

Что так он обо мне и говорит.

И вот уже по-новому взлетающий,

Я верю высоте своих орбит.

Что может быть важней и сокровеннее

Приобретенной этой новизны?

И я стараюсь быть достойным мнения,

Услышанного мной со стороны.

Статья Марины Цветаевой «Поэт о критике» была написана в 1926 году как вызов эмигрантскому «литературоведению», беспомощному и непрофессиональному, «старомодному» и обывательскому и в то же время тенденциозному и высокомерному в своей ограниченности. Как и всякое прозаическое произведение Цветаевой, статья «Поэт о критике» шире своей темы и своего жанра. Выходя за пределы и того и другого, она перерастает в философское исследование о природе поэзии и долге пишущих о ней; о поэте и его призвании; о творческом процессе.

Те места статьи, где Цветаева дает характеристику конкретным представителям, «стилям» и тенденциям эмигрантской «критики», мало известным нашему читателю, здесь опущены.

ПОЭТ О КРИТИКЕ

Критика: абсолютный слух на будущее

Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки. Творчество — преемственность и постепенность... Хронология — ключ к пониманию. «Почему у вас такие разные стихи?» — «Потому что годы разные».

Невежественный читатель за манеру принимает вещь, несравненно простейшую и сложнейшую, — время. Ждать от поэта одинаковых стихов в 1915 и в 1925 годах — то же самое, что ждать от него же в 1915 году и в 1925 году — одинаковых черт лица. «Почему вы за десять лет так изменились?» Этого, за явностью, не спросит никто. Не спросит, а удостоверит и, удостоверив, сам добавит: «Время прошло». Точно то же и со стихами. Параллель настолько полна, что продлю ее. Время, как известно, не красит, разве что в детстве. И никто мне, тридцатилетней, которую знал двадцатилетней, не скажет: «Как вы похорошели». Тридцати лет я стала очерченной, значительней, — прекрасней, может быть. Красивей — нет. То же, что с чертами, — с стихами. Стихи от времени не хорошеют. Свежесть, непосред-

ственность, доступность, *beauté du diable*¹ поэтического лица уступают место — чертам. «Вы раньше лучше писали» — то, что я так часто слышу! — значит только, что читатель *beauté du diable* мою предпочитает — сущности. Красивость — прекрасности.

Красивость — внешнее мерило, прекрасность — внутреннее. Красивая женщина — прекрасная женщина, красивый ландшафт — прекрасная музыка. С той разницей, что ландшафт может кроме красивого быть и прекрасным (усиление, возведение внешнего до внутреннего), музыка же, кроме прекрасной, красивой быть не может (ослабление, возведение внутреннего до внешнего). Мало того, чуть явление выходит из области видимого и вещественного, к нему уже «красивое» неприменимо. Красивый ландшафт Леонардо, например. Так не скажешь.

«Красивая музыка», «красивые стихи» — мерило музыкальной и поэтической безграмотности. Дурное просторечие.

¹ Изюминка (франц.).

Для того чтобы иметь суждение о вещи, надо в этой вещи жить и ее любить.

Возьмем грубейший, то есть наингаднейший, пример. Вы покупаете себе пару сапог. Что вы о них знаете? Что они вам подходят — или не подходят, нравятся — или не нравятся. Что еще? Что они куплены в таком-то — предположим, лучшем — магазине. — Отношение свое к ним и фирму (фирма, в данном случае, имя автора). И больше ничего. Можете ли вы судить о их прочности? Носкости? Качественности их? Нет. Почему? Потому, что вы не сапожник и не кожевник.

Судить о качественности, сущности, о всем, что не видимость вещи, может только в этой области живущий и работающий. Отношение — ваше, оценка вам не принадлежит.

То же, господа, и точно так же — с искусством. Вот вам мой стих. Он вам нравится или не нравится, доходит или не доходит, «красив» (для вас) или не красив. Но хорош он как стих или плох, могут сказать только знаток, любящий и... мастер. Судя о мире, в котором вы не живете, вы просто совершаете превышение прав.

Почему я, поэт, говоря с банкиром или с политиком, не даю ему советов, даже *post factum*, после банковского или государственного краха? Потому что я ни банка, ни государства не знаю и не люблю. Говоря с банкиром или с политиком, я, в лучшем случае, спрашиваю: «Почему вы в таком случае поступили так-то?» Спрашиваю, то есть желаю услышать и, по возможности, усвоить суждение о вещи, мне незнакомой. Не имея суждения и не смея иметь его, хочу услышать чужое. — Поучаюсь.

Почему, в свою очередь, вы, банкиры и политики, говоря с сапожником, не даете ему советов? Потому что каждый сапожник, в лицо вам или себе в кулак, рассмеется: «Не ваше, барин, дело». И будет прав.

Почему же вы, те же банкиры и политики, говоря со мной, даете мне советы: «Пишите так-то» и «Не пишите так»? — и почему — самое изумительное! — я, поэт, никогда еще, ни разу никому из вас, как тот предполагаемый

сапожник, не рассмеялась в лицо: «Не ваше, барин, дело».

Есть в этом тонкий оттенок. Сапожник, рассмеявшись, не боится оскорбить — дело «барина» ведь выше. Он смехом только указывает на несоответствие. А поэт, рассмеявшись, оскорбит неминуемо — «поэт», обывательски, ведь выше «банкира». Наш смех, в данном случае, не только указание другому места, но указание места — низшего. «Небо», указующее «земле». Так думает, так делит обыватель. И этим, сам не зная, лишает нас нашей последней защиты. Ничего оскорбительного — не понимать в сапогах, полное оскорбление — не понимать в стихах. Наша самооборона — оскорбление другого...

Дело не в «выше» и не в «ниже», дело только в твоем невежестве в моей области, как в моем — в твоей. Ведь те же слова я скажу — уже говорю — и живописцу, и скульптору, и музыканту. Оттого ли, что считаю их ниже? Нет. И себя не считаю ниже. Мои слова и тебе, банкиру, и самому Игорю Стравинскому, если не понимает стихов, все те же: «Ты мне не судья».

Потому что каждому — свое...

Чтите и любите мое, как свое. Тогда вы мне судьи.

Вернемся к сапогам и стихам. Какие сапоги плохи? Те, что развалятся (сапожник). Те, что развалились (покупатель). Какое произведение искусства плохо? То, что не уцелеет (критик). То, что не уцелело (публика). Ни сапожнику, ни критику — мастерам своего дела — проверка не нужна. Знают наперед. Покупателю же, пары ли сапог, томика ли стихов, нужна давность с вещью, проверка временем. Вся разница в длительности этой проверки. Плохой сапог познается через месяц, для плохого произведения искусства, зачастую, нужен век. Либо «плохое» (непонятое, не нашедшее пророка) окажется прекрасным, либо «прекрасное» (не нашедшее судьбы) окажется плохим. Здесь мы уже сталкиваемся с качеством матерьяла сапог и стихов и всеми его послед-

ствиями, с учтимостью материи и неучтимостью духа. Каждый средний сапожник при первом взгляде на сапог скажет: хорош или нехорош. Ему на это не нужно чутья. Критику же, чтобы определить сейчас, хороша или нет вещь раз навсегда, нужно, кроме всех данных знания, чутье, дар провидца. Матерьял башмака — кожа — учтим и конечен. Матерьял произведения искусства (не звук, не слово, не камень, не холст, а — дух) неучтим и бесконечен. Нет башмаков раз навсегда. Каждая пропавшая строчка Сафо — раз навсегда. Поэтому (учтимость матерьяла) сапоги у сапожника в лучших руках, чем стихи в руках у критика. Нет непонятых сапог, а сколько непонятых стихов!

Но и сапог и стих уже при создании носят в себе абсолютное суждение о себе, то есть с самого начала доброкачественны или не доброкачественны. Доброе же качество у обоих одно — неснашиваемость.

Совпасть с этим внутренним судом вещи над собою, опередить, в слухе, современников на сто, а то и на триста лет — вот задача критика, выполняемая только при наличии дара.

Кто в критике — не провидец — ремесленник, с правом труда, но без права суда.

Критик: увидеть за триста лет и за тридцать земель.

Все вышесказанное отношу и к читателю. Критик: абсолютный читатель, взявшийся за перо.

Кого я слушаю...

Слушаю я из не профессионалов (это не значит, что я профессионалов — слушаю) — каждого большого поэта и каждого большого человека, еще лучше — обоих в одном.

Критика большого поэта, в большей части, критика страсти: родства и чуждости. Посему — отношение, а не оценка, посему не критика, посему, может быть, и слушаю. Если из его слов не

встаю я, то, во всяком случае, виден — он. Род исповеди, как сны, которые видим о других: действуешь-то ты, но подсыываю-то я! Право утверждения, право отрицания — кто их оспаривает? Я только против права суда.

...Оценка есть определение вещи в мире, отношение — определение ее в собственном сердце. Отношение не только не суд, само вне суда.

Кто же оспаривает мужа, которому нравится явно уродливая жена? Отношению все позволено, кроме одного: провозгласить себя оценкой. Возгласи тот же муж ту же уродливую жену первой красавицей в мире или даже в слободе — оспаривать и опровергать будет всякий. Отношение, наикратнейшее в какую угодно сторону, дозволено не только большому поэту, но и первому встречному — при одном условии: не переходить за границы личного. «Я так нахожу, мне так нравится», с наличностью «я» и «мне» я и сапожнику позволю отрицать мои стихи. Потому что «я» и «мне» безответственны. Но попробуй тот же сапожник, опустив «я» и «мне», утвердить мою работу вообще негодной, — что тогда? — что всегда: улыбнись...

Когда я слышу об особом, одном каком-то, «поэтическом строе души», я думаю, что это неверно, а если верно, то не только по отношению к поэтам. Поэт — утысяченный человек, и особи поэтов столь же разнятся между собой, как вообще особи человеческие. «Поэт в душе» (знакомый оборот просторечья) такая же неопределенность, как «человек в душе». Поэт, во-первых, некто за пределы души вышедший. Поэт — из души, а не в душе (сама душа — из!). Во-вторых, за пределы души вышедший — в слове. В-третьих («поэт в душе») — какой поэт? Гомер или Ронсар? Державин или Пастернак — и, не в стихах разница, а в сущности — Гёте или Шиллер, Пушкин или Лермонтов, Маяковский или Пастернак, наконец?

Равенство дара души и глагола — вот поэт. Посему — ни не пишущих поэтов, ни не чувствующих поэтов. Чувствуешь, но не пишешь — не поэт (где же слово?), пишешь, но не чувствуешь —

не поэт (где ж душа?). Где суть? Где форма? Тождество. Неделимость сути и формы — вот поэт. Естественно, что не пишущего, но чувствующего предпочту не чувствующему, но пишущему. Первый, может быть, поэт — завтра. Или завтрашний святой. Или герой. Второй (стихотворец) — вообще ничто. И имя ему — легион.

Так, установив вообще-поэта, наисущнейшую примету принадлежности к поэзии, утвердим, что на «суть — форма и форма — суть» и кончается сходство между поэтами. Поэты столь же различны, как планеты.

Необходимая отмета. В суде лирика (отношение) явно преобладает переоценка. (Просмотреть отзывы друг о друге германских и французских романтиков.) В суде эпика (оценка) — недооценка. Пример надличного Гёте, недооценившего Гельдерлина, недооценившего Гейне, недооценившего Клейста. (Показательная недооценка — именно современников! И из современников — именно соотечественников! Тот же Гёте, дооценивший молодого Байрона и переоценивший Вальтера Скотта.) Пример, как будто разбивающий мое провозглашение права суда поэта над поэтом. Но только как будто. Право суда не есть еще право казни. Точнее: приговор еще не есть казнь. Или: казнь еще не есть смерть. Никому — даже Гёте — и ничьему слову — даже 80-летнему гётевскому — не дано убить Гейне: есмь! Гёте недооценил, а Гейне пребыл. Но (реплика) — будь Гейне слабей — он после нелестного отзыва Гёте мог бы покончить с собой, человеком или поэтом. Но будь Гейне слабей — он бы не был Гейне. Нет, Гейне — жизнь, и неубиенна. Отзыв Гёте о Гейне — только лишний стимул к работе («Проглядел — увидишь!»). А для нас, через сто лет, — стимул к мысли. Гёте — и такой промах! Откуда? — Задумываемся. — Сначала о Гёте и Гейне, исконной разнице, потом о возрастах: и 80 л. и 30 л., о самом возрасте и что он есть, об олимпийстве и демонизме, о притяжении и оттолковении, о многом...

Следовательно, даже в жестоком случае недооценки поэта поэтом суд поэта над поэтом — благо.

Это — о поэтах. К кому еще прислушаюсь?

Ко всякому большому голосу я прислушаюсь, чей бы он ни был. Если мне о моих стихах говорит старик раввин, умудренный кровью, возрастом и про роками, я слушаю. Любит ли он стихи? Не знаю. Может быть, никогда их и не читал. Но он любит (знает) все, и з чего стихи, истоки жизни и бытия. Он мудр, и мудрости его на меня хватит, на мои строки.

Прислушаюсь к раввину, прислушаюсь к Ромэну Роллану, прислушаюсь к семилетнему ребенку, — ко всему, что мудрость и природа. Их подход космический, и если в моих стихах космос есть, они его прослышат и на него отзовутся.

Не знаю, любит ли Ромэн Роллан стихи, беру крайний случай — что Ромэн Роллан стихом не любит. Но в стихах кроме стихов (стихотворной стихии) есть еще все стихии. Их Роллан любит достоверно. Ни ему во мне личность стихии стихотворной, ни мне в нем отсутствие ее — не помешают, помешать не могут.

«Я вам скажу по существу...» То есть все, что мне нужно.

Говоря о семилетнем ребенке, говорю также о народе, — о неиспорченном первичном слухе дикаря.

Кого же я еще слушаю, кроме голоса природы и мудрости? Голос всех мастеровых и мастеров.

Когда я читаю стих о море и моряк, ничего не понимающий в стихах, меня поправляет, я благодарна. То же с лесником, и кузнецом, и каменщиком. Из мира внешнего мне всякое даяние благо, потому что я в нем — нуль. А нужен он мне ежечасно. Нельзя о невесомостях говорить невесомо. Цель моя — утвердить, дать вещи вес. А для того, чтобы моя «невесомость» (душа, например) весила, нужно нечто из здешнего словаря и обихода, некая мера веса, миру уже ведомая и утвержденная в нем. Душа. Море. Если неправильно мое морское уподобление, рухнет весь стих. (Убедительны только частности: такой-то час моря, такой-то облик, облик его. На

«люблю» в любви не отыграешься.) ...Поработить видимое для служения незримому — вот жизнь поэта. ...И какого напряжения внешнего зрения нужно, чтобы незримое перевести на видимое. (Весь творческий процесс!) Как это видимое должно знать! Еще проще: поэт есть тот, кто должен знать все до точности.

...Сравнивая, предположим, душу с морем и ум с шахматной доской, я должна знать и океан и шахматы, каждый час океана и каждый ход доски. Изучить всё — жизни не хватит. И вот на помощь — знатоки своего дела — мастера.

Стих только тогда убедителен, когда проверен математической (или музыкальной, что то же) формулой. Проверять буду не я.

Поэтому со стихами о море иду к моряку, а не к любителю поэзии. Что мне даст первый? Костяк — к душе. Что мне даст второй? В лучшем случае — ослабленное эхо души, меня же. Во всем, что не душа, мне нужен — другой.

Так, от профессий, ремесл — к наукам. От мира заведомого к миру познаваемому. Так, от моряка, лесника, кузнеца, слесаря, пекаря — к историку, геологу, физику, геометру, — все расширяя и расширяя круг.

Ни один поэт, от рождения, не знает почвенных наслоений и исторических дат. Что я знаю от рождения? Душу своих героев. Одежды, обряды, жилища, жесты, речь — то есть все, что дается знанием, я беру у знатоков своего дела, историка и археолога.

В поэме об Иоанне д'Арк, например: Протокол — их. Костер — мой.

Кого я слушаюсь...

*J'entends des voix, disait elle,
qui me commandent...¹*

Слушаюсь я чего-то постоянно, но не равномерно во мне звучащего, то указующего, то приказующего. Когда ука-

¹ Я слышу голоса, — говорила она, — приказывающие мне (*франц.*).

зующего — спорю, когда приказующего — повинуюсь.

Приказующее есть первичный, неизменный и незаменимый стих, суть, представляющая стихом (чаще всего последним двустихием, к которому затем прирастает остальное). Указующее — стиховая дорога к стиху: слышу напев, слов не слышу. Слов ищу.

Левей — правей, выше — ниже, быстрее — медленнее, затянута — оборвать, — вот точные указания моего слуха или чего-то — моему слуху. Все мое писанье — вслушивание. Отсюда, чтобы писать дальше, — постоянные перечитыванья. Не перечтя по крайней мере двадцати строк, не напишу ни одной. Точно мне с самого начала дана вся вещь — некая мелодическая или ритмическая картина ее, — точно вещь, которая вот сейчас пишется (никогда не знаю, допишется ли), уже где-то очень точно и полностью дописана. А я только восстанавливаю. Отсюда эта постоянная настороженность: так ли? не уклонюсь ли? не позволяю ли себе — своеволия?

Верно услышать — вот моя забота. У меня нет другой

Как я, поэт, то есть человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь сутью, форма сама придет. И приходит. И не сомневаюсь, что будет приходить. Форма, требуемая данной сутью, подслушиваемая мною слог за слогом. Отолью форму, потом заполню... Да это же не гипсовый слепок! Нет, обольщусь сутью, потом воплощу. Вот поэт. И воплощу (здесь уже вопрос формы) возможно насущнее. Суть и есть форма, — ребенок не может родиться иным! Постепенное появление черт — вот рост человека и рост творческого произведения.

...что есть чтение, — как не разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределом слов... Чтение — прежде всего — сотворчество. Если читатель лишен воображения, ни одна книга не устоит. Воображения и доброй воли к вещи.

Мне зачастую приходилось слышать такие отзывы от работников в других искусствах: «Трудно. Хочется отдохнуть,

а тут — доискивайся, вдумывайся...» Отдохнуть от чего? От труда в своем искусстве. Стало быть, труд в своем искусстве ты признаешь. Ты только не хочешь того же — в моем. Что ж, может быть, ты по-своему и прав. Делай свое, а я буду делать свое. В таких случаях, кстати, всегда сражала реплика: «А если я у вас, серьезного музыканта, в ответ на сонату — трудна! — попрошу вальса, вы что скажете? Я ведь тоже устала от своей работы и тоже хочу отдохнуть» (чистейшая педагогика!).

Человек понимал и, если не читал моих стихов, то по крайней мере читал мой труд и не просил от меня «легкой музыки».

Но это музыкант, работник в звуке. Что же сказать о критике, работнике в том же слове, который, не желая затраты умственных усилий, предоставляет понимать другим? О человеке слова, у меня, человека слова, просящем «легких стихов»?

Формула есть — и давняя. Под ней, со спокойной совестью, может подписаться данный:

Тебе поэзия любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

...Радовать читателя «красивыми переплесками слова» не есть цель творчества. Моя цель, когда я сажусь за вещь, не есть радовать никого, ни себя, ни другого, а дать вещь, возможно совершеннее. Радость — потом, по свершении... Радость потом — и большая. Но и большая усталость. Эту усталость свою, по завершении вещи, я чту. Значит, было что перебороть и вещь далась не даром. Значит — стоило давать бой. Ту же усталость чту и в читателе. Устал от моей вещи, — значит, хорошо читал и — хорошее читал. Усталость читателя — усталость не опустошительная, а творческая. Сотворческая. Делает честь и читателю и мне.

Народ, в сказке, истолковал сон стихии, поэт, в поэме, истолковал сон народа, критик (в новой поэме!) истолковал сон поэта.

Критик: последняя инстанция в толковании снов. Предпоследняя.

Париж, январь 1926 г.

Яков Хелемский



Ай-Петри. Горное плато.
Не сразу и поверишь в то,
Что окружен равниной
На высоте орлиной.

Но где-то рядом древний тис
Над синей пропастью навис.
Из каменных расселин
С трудом пробилась зелень.

Сосна, цепляясь за карниз,
Дрожит, вот-вот сорвется вниз,
Лишь облако сквозное
Оставит прядь на хвое.

А обернешься — тишь да гладь.
Ни скал, ни моря не видать.
Сады, бахчи, крылечки,
Домашний дым из печки.

Старик окуривает пчел,
Работает аптека,
Вздывает пыльный ореол
Пикапчик из Артека.

Играет в «классы» детвора,
Дома плющом увиты.
На стройке пилят мастера
Ракушечные плиты.

Где петлями, где напрямик,
Сквозь утра позолоту,
Везет капусту грузовик
К Орлиному Залету...

Ты взглядом пристальным окинь,
Как новую планету,
Подоблачную эту синь
И повседневность эту.

Когда устанешь ты от слов,
Бескрылых, монотонных,
Припомни сосны и орлов
На каменистых склонах.

А заскучав от громких фраз,
Напыщенных, трескучих,
Вообрази — в который раз! —
Обычный быт на кручах.

И стань таким, как те места,
Те тропы и селенья,
Где будничность и высота
В привычном единенье.

Будь, невзирая ни на что,
Назло любим канонам,
Как житель горного плато,
Земным, но окрыленным.

1965



Голос в русло вошел,
И поэт переходит на прозу...

М. Светлов

В моих блокнотах дремлет проза.
Листаю. Вписываю. Жду.
Вот зарисовка. Вот набросок.
Вот штрих, что схвачен на ходу.

Все, что в стихи войти не может,
Сосредоточилось во мне,
Накапливается, тревожит
И вызревает в тишине.

Я с этим бременем покуда
Хожу. Не разрешусь никак.
Но я решусь. Я жажду чуда.
Уже он близок — первый шаг.

Со многими такое было...
Еще стихи владеют мной,
А проза набирает силу,
И это — фактор возрастной.

Я столько видел! Столько помню!
Я подготовлен жизнью всей.
Пережитым я переполнен,
Как многомудрый Одиссей.

Но, ни на миг не умолкая,
Звенит привычная струна.
Поэзия, как Навзикая,
Очарования полна.

Как трудно вырваться из плена.
О путник! Твой удел таков...
Поют катрены, как сирены,
И увлекают в мир стихов.

Но всё полней житейский опыт,
И этот парус ветром взвит.
И проза, словно Пенелопа,
Долготерпеньем победит.

1965

Аршалуис Аршаруни

СОЛИРУЕТ ХУДОЖНИК

(Этюд)

На выставках картин художника бывает торжественно подтянуто. Там люди передвигаются даже по особому ритму, разговаривают вполголоса, почти шепотом, соседи могут не услышать их разговор.

На тех же выставках, где со стен на вас глядят знакомые творения мастера, иногда читают стихи. На этот раз громко, выразительно, во всеулышание. И это не нарушает торжественно-величавый тон выставки, наоборот, дополняет своим живым словом.

На выставках, как правило, много живых цветов, расставленных по вкусу организаторов в залах. И это вполне закономерно.

Композитор пишет музыку на слова поэта. Слова и музыка становятся потом единым сплавом, своеобразным, неповторимым. Создается впечатление, что иначе быть и не может.

Случается, когда на написанную музыку поэт сочиняет текст позже. Тоже особый творческий сплав. Снова вполне понятный и привычный.

Различные бывают эти сплавы в творчестве. Отличается особенно театр, по-

том киноискусство, где творчество многих мастеров: текст автора, интерпретация режиссера, музыка композитора, талант актера и трудная работа оператора и художника — дает синтез такого сплава.

Это уже сложный, своеобразный сплав творческий.

Сплав в творческом процессе имеет множество форм и взаимоотношений деятелей, творцов искусства.

Между мастерами кисти и пера установилась дружба прочная, давняя, всегда сердечная. Вспоминая прошлое, приходишь к выводу, что инициатива принадлежала писателю: литература и фольклор давали художникам темы, сюжеты, схемы композиции... Нет, это очень своеобразный, сложный процесс вдохновения. Назовем его сплавом тоже.

Не озорства ради, конечно, хочется задать себе вопрос: а не может случиться так, чтоб мастер кисти — живописец, великий, эмоциональный, неповторимый, — воздействовал на литературу, на поэзию так, как литература воздействует на живопись?

Теоретически вполне возможно и даже закономерно. А как на практике?

Сделаем небольшую прогулку по известным и любимым залам выставок живописи и по книгам некоторых поэтов.

* * *

Сарьяновский мир полотен, красок, сюжетов, в особенности его солнце, налитое с такой щедростью на причудливые формы камней, никогда, пожалуй, никто не перепутает. В особенности его камни.

Мне кажется, люди, никогда прежде не имевшие представления об Армении, навсегда сохранили память о стране по сарьяновским картинам.

Армянские горы и камни воспеты многими поколениями поэтов. У всех что-то общее имеется: тоска безысходная, слезы, если даже скрыты от чужого глаза, страдания целого народа Армении в прошлом.

Так долго, веками, в поэзии Армении.

Вихрем в эту поэзию ворвался Сарьян, лет сорок, немного больше тому назад. После того как он по-сарьяновски

увидел, почувствовал, воспел солнце Востока: Египта, Арабского Востока... Пусть это не покажется парадоксальным. Но это так и хронологически, и тематически, и исторически...

Сарьян — юный певец родины, весны, солнца над родным небом, гор, приносящих столько радостей. Тех гор, которые всегда в поэзии армянского народа только слезы вызывали. Художник-поэт Мартирос Сарьян по-новому прочел книгу камней и гор страны. Он заставил других: братьев по оружию и людей — перечитать книгу родного края. Только по-сарьяновски, зорким глазом, жарким сердцем, смелым, новаторским подходом и, самое главное, по-сарьяновски юным песенным напевом.

Трудно было продолжать «найденную» линию старой армянской поэзии, когда перед тобою стоит Сарьян, большой, монументальный, всегда с улыбкой, по-отечески ласковый, по-весеннему мягкий, по-сарьяновски новый, зовущий, раскрывающий...

Таков Сарьян, которого знаю пять десятилетий и люблю. Таков он, этот чародей, воспитавший целое поколение армянских поэтов советской эпохи.

Прямо скажу, несколько забегая вперед: еще наследники не достигли своего патриарха по мастерству, по выразительности красок, по своему дарованию. Ни Амо Сагиян, ни Сильва Капутикян, ни Маро Маркарян, ни другие, моложе их на одно поколение. Меня, однако, это не волнует по трем причинам: во-первых, Сарьян останется непревзойденным; во-вторых, у каждого поэта свой голос и свое место под этим солнцем; в-третьих, придут другие, новые, непременно прильнут к живительному источнику большого искусства, имя которому САРЬЯН!

Волшебник Мартирос Сарьян, как мифический герой армянских сказок, сказал повелительно нашим поэтам: камни, горы, утесы эти, ущелья, изрезанные каким-то сверхгигантом, а над ними опрокинутое солнце, жаркое, как само солнце, но доброе и ласковое.

И люди искусства посмотрели вокруг себя глазами Сарьяна.

Так родилась «Песня о наших камнях» Сильвы Капутикян.

Так родились песни «На высоте», «Водопады», «Родники» Амо Сагияна.

Не всегда поэт дает себе отчет: кто его направил на этот путь. Но мы сами видим.

Перед нами одно из произведений Амо Сагияна — «На высоте».

Опершись на плечо скалы, скала
Повыше взгромоздилась. Тонкий рог
Свой раскол, упал из-за угла
Трехдневный месяц о крутой отрог.

Тропа веревкой обвивала скат,
Конец в речную окунув струю,
И только этот тоненький шпагат
Деревню с миром связывал мою.

(Перевод Т. Спендиаровой)

В этом произведении весь Сагиян: до предела лаконичен, точен, как пейзажист красочен и сочен.

И как будто коснулась немного рука Сарьяна. Или сарьяновская кисть так просто легла на бумагу Сагияна:

Теперь она, взобравшись выше скал,
Дубравы тень накинув на себя,
Глядит, как мчится, радостно трубя,
Поток, что светом, что цветами стал.

Нередко мы, говоря о поэтах, законно и обоснованно пишем о великих предшественниках, учителях в конечном счете. Я не помню, писали ли мы и о том, что вдохновителями и в прямом смысле учителями их были или могли быть живописцы?

Искусство имеет свои выразительные средства, но не имеет запретных зон... А что, если эту мысль сформулируем несколько смелее: великий мастер искусства одной области творчества может стать учителем поколения творцов других выразительных средств искусства.

Заметьте, у Сарьяна в шестидесятилетнем пути творчества нет осени, листопада, зимы в прямом и переносном понимании. Нет у него слез, уныния, скорби. У него это не от беспечности или оторванности от народа, края, исторической судьбы его. Нет, сто раз нет! Это — от глубокого, ненасытного оптимизма и веры в торжество красоты, разума, счастья, доброты...

Амо Сагиян понял мысли великого мастера, которого, надо думать, любит,

ибо их роднят одни и те же благородные идеи, чувства, стремления...

Лирика армянской советской поэтессы Маро Маркарян известна любителям поэзии по прелестным и трогательным переводам на русский язык, сделанным А. Ахматовой, М. Петровых, В. Звягинцевой, Б. Слуцким, Т. Спендиаровой.

В лирике Маро Маркарян много нежно-материнского, минорно-тоскующего, ласково-весеннего. Вообще Маро Маркарян в нашей поэзии яркость первой личности.

В творчестве армянской поэтессы пробивает себе дорогу сарьяновская линия, такая неудержимая, сверкающая, что сам автор не замечает, как льнет к этой лавине, воодушевляется ею, меняет ритм свой и начинает петь по-новому, радостно, с подъемом, просто, по-сарьяновски!

Вот одно из таких произведений Маро Маркарян в переводе М. Петровых — «Горная дорога»:

Горная дорога,
Трудная дорога,
Через вешние луга,
Через вечные снега,
От отрога до отрога
И отвесно и отлого
Прямо к солнцу ты идешь,
Горная дорога!
Ты кружишь по краю кручи,
Ты спешишь навстречу туче,
Над тобой нависли скалы,
Под тобой гремят обвалы,
Вкруг тебя царит тревога,
Горная дорога!

Это — гимн природе, камню, тропинке в горах, всему тому, что так настойчиво воспевают Мартирос Сарьян. Он шел все выше, по крутым скалам, ни разу не задерживался, ибо он не знал и не знает, не хотел и не хочет знать осени, снега, зимы... в тех же горах.

Песни Маро Маркарян не все переведены на русский язык. А жаль. Можно было в хороших переводах проиллюстрировать несколько таких произведений сарьяновского духа, интонации.

Маро Маркарян своими скупыми, как всегда ясными выражениями передала сарьяновскую мысль, его кредо: радость земли, песня о камне, которая стала гимном нашей поэзии — всего искусства.

Это — гимн возрожденной родины.

В храме, именуемом Третьяковской галереей, где спина к спине стоят певцы русской природы, людей, красоты, создана могучая, неповторимая песня. Каждый «хорист» — особый мир, великий мастер. Каждое полотно — гимн и щедрость таланта.

Вот они, эти побратимы-богатыри: Шишкин и Васнецов, Серов и Поленов, Крамской и Маковский, Савицкий и Нестеров. Хор исполинов живописи поет гимн русской природе, своей отчизне...

На одну минуту задержитесь, внимательно слушайте эту необычную симфонию голосов, где каждый солист сам по себе оркестр, и вы там услышите лирический тенор Исаака Левитана, среди мужей Третьяковки. И только ли в этом храме искусства?

Не надо быть специалистом творчества художника, чтоб среди собратьев-богатырей Третьяковки безошибочно показать полотна Левитана. Эти полотна так выразительно смотрят на нас, как незабываемые глаза самого художника, полные грусти.

Кто не различит густого баса от бархатного баритона или лирического тенора от драматического? Так и тут. Та же фактура полотен. Тот же пейзаж, и даже период написания почти совпадает. И краски у них такие же. И любовь к родному краю такая большая, как сама Россия — большая, добрая, обильная...

У Шишкина лес смеется русским смехом Шаляпина. У Поленова подмосковная природа так очаровательно улыбается! Серов несколько суров, подтянут. Но никто не умеет из них так грустить, как это делает Левитан.

Кто из поэтов заметил, обратил внимание на левитановскую грусть? Не из любопытства, а по созвучию своей души?

Да, мы это видели и заметили.

Сравнительно недавно, всего лет пять тому назад, мы с радостью узнали об одном таком поэте. Узнали его поздно по многим причинам, прежде всего по языковой недоступности. Пишет он на еврейском языке, а в русской поэзии выступил впервые лет пять тому назад.

...Это было в дни столетия со дня рождения Исаака Левитана. В Третьяковской галерее, на юбилейной выставке Левитана. Более трехсот полотен со стен разговаривали с посетителями на левитановском языке. Говорили они тихо, интимно и мягко.

В эти дни я познакомился с поэзией Борисова, тоже Исаака.

Вернувшись с выставки, погрузился в чтение стихов Исаака Борисова.

Как я попал в столпотворенье
Деревьев голых, в мокрый сад?
Не осень, требуя смиренья,
Меня вогнала в этот сад?

Да у нее повадка лисья —
Исподтишка грозить весне.
Но так деревьям снятся листья,
Что шум их дальний слышен мне!

(Перевод Ю. Морщи)

Разные пути прошли они, художник и поэт, различны, естественно, и мотивы, настроения, интонация их голоса; стало быть, и грусть у них различная.

Но у Борисова именно левитановская грусть: мягкая, как та трава, которая может только сохранить молчание, увидев подкошенное дерево в лесу. Грусть органическая, сидящая так глубоко в глазах — от отцов и дедов, дальних предков унаследованная, что улыбкой не затемнишь и не спрячешь.

* * *

Признание Павла Корина задержалось в пути.

Незаслуженно, конечно, критики и братья по кисти создали, может быть и без злого умысла, атмосферу непризнания Корина.

Победила правда. Она же сразу расеяла недоразумение прошлого.

Осталось, однако, «наследие» — многие плохо знали Корина-художника, большого мастера не вчерашнего дня, а завтрашнего порыва.

От этого наследия пострадала наша литература, в особенности поэзия: нет еще кориновской рапсодии в нашей поэзии.

...Не мое дело сейчас говорить о творчестве Корина в целом и основных этапах. Меня интересует новое, современное, монументальное в творчестве

Павла Корина, великого советского мастера живописца.

Не «уходящая Русь» его, потрясающая своей монументальностью и замыслом, а пятнадцать портретов современников волнуют меня сейчас.

Художники и скульпторы, артисты и писатели, академики и генералы — выдающиеся современники художника получили воплощение в портретах Корина. Мир науки и искусства, высшего интеллектуального творчества и деятельности человека. Наконец, человек, неповторимый, — художник на полотне представил его индивидуальность.

Из этой большой темы творчества Корина мне хочется взять одну, которую считаю направляющей линией всего творчества художника-психолога, поэта-живописца.

Назовем — рапсодия рук.

«Рапсодия рук» Корина — продуманная, проверенная временем творческая манера художника, его почерк. Более четырех десятилетий художник идет по этому пути, начиная с того момента, когда в 1917 году 25-летний молодой художник в рисунке к композиции «Франческа да Римини. Данте в аду» так выразительно показал «спор двух рук».

С той поры, с 1917 года, всегда, когда Корин приступает к «портрету» — реального деятеля или вымышленного героя, рука всегда участвует в сюжете, как глаза героя, как морщины на его лбу, как чуб волос, так неповторимо подчеркивающий манеру Корина — настроение его, интонацию всей задуманной композиции.

У Корина руки в картине, каждый раз по-разному и всегда на видном месте, выразительные, по-корински похожие друг на друга и, естественно, разные. Но они написаны Коринным, это мы знаем и можем безошибочно отличить...

На выставках и в опубликованных материалах о творчестве Павла Корина легко заметить существенный момент в его творчестве. И этот момент закономерен именно для Корина, художника, который по-новому, творчески включил руки в портрет, где руке (а не рукам) отведено такое же место в композиции, как и глазам. Иногда, даже часто, руки занимают ведущее место в композиции.

Два примера, хотя могу привести пятнадцать таких аналогий, по количеству портретов.

Портрет Василия Ивановича Качалова.

Рука. Левая. В руке его неизменное, всем нам знакомое пенсне. Так, как всегда Качалов держал на сцене во время концерта. Придет на сцену. Остановится. Задержится, о чем-то думая. Снимет пенсне. Держит перед собою. Потом уже начинается концерт популярного артиста.

Закройте голову Качалова в картине Корина. Оставьте только его руку с пенсне. Только эту часть картины. Никто, никто не ошибется: Качалов!

Портрет Игумнова перед роялем. Артист меньше занимает площади в картине, чем рояль, руки его. Так задумана композиция: рояль, потом сам артист.

Повторите эксперимент и здесь. Закройте всего Игумнова, оставьте только клавиши, на которые легли руки артиста. Легли так, что вы вот-вот услышите звуки, аккорд...

...Посмотрим, как коринская рапсодия рук перекликается с произведениями поэзии.

Леонид Мартынов перевел стихотворение Питера Темпеста — «Руки».

Я не знаю, знаком ли автор стихотворения «Руки» с творчеством Павла Корина. Твердо убежден, что Леонид Мартынов любит творчество нашего маститого художника.

Стихотворение П. Темпеста написано страстно, публицистически ярко:

Все эти руки:
Материнская,
Свое дитя оберегающая;
Рука возлюбленной,
Доверчивая, теплая и ласкающая;
Ребяческая, пытливая,
Объять спешащая все сущее;
Крестьянская, трудолюбивая,
Как почва, урожай дающая;
Рука рабочего, могучая,
Как им творимое грядущее.

Но руки бывают и другие. И о них ведет разговор поэт. С гневом и так же страстно.

Поэта Виктора Бокова знают и любят наши люди за его песни, яркие и задуманные стихи. Знаток народного

творчества, поэт взыскательный, оригинальный, Виктор Боков хорошо понимает Павла Корина, его психологические этюды, ставшие уже направлением в живописи:

Присматривайтесь к опытным рукам!
Они в морщинах и в набухших венах.
Я находился вместе с ними сам
В дневных, в ночных, в вечерних сменах.

Я замечал: в них мало суеты,
Движения расчетливые, трезвые.
Сосредоточенно работой заняты,
Они минутным отдыхом не брезгают.

Далее — настоящая песня рук. Так или почти так, как понимает роль руки в художественной композиции Павел Корин.

Читая книгу стихов «Лирика» Виктора Бокова, заглядывая на страницу 280-ю, вспоминаешь коринскую картину-этиюд — интерьер церкви с иконой Спаса «Ярое око» (1932). Поэт знает, должен знать эту и другие картины Павла Корина.

Глаза твои как дальние,
Вечерние огни,
В них первое свидание,
Признание в любви.
Они полны доверия,
Их обмануть нельзя,
Задумчивые, серые,
Прекрасные глаза.

Евгений Винокуров, поэт своеобразный, говоря о себе, о личном, но всегда близком, в книге стихов «Музыка» невольно говорит языком Корина.

Евгений Винокуров пишет о своей руке:

Она ведет, чёткает и правит,
А я лишь только состою при ней.
Я часть ее. У нее большое дело!
Вновь в дали увела, — недоглядел!
И знаю я: нет у нее предела,
И знаю я: есть у меня предел.

Снова возвращаешься к «рапсодии рук» Корина. Сколько портретов у него, столько рук. К каждому портрету непременно хотя бы одна рука. И конечно, как Винокуров писал, — нет у этих рук предела.

...Наша поэзия еще вернется к Корину, Сарьяну и другим художникам, к их открытиям, к их живительному источнику, прозрачному и одновременно такому глубокому, сложному, просторному.

Это новый сплав: художник-поэт.

Михаил Демин

ДНЕВНИК

Бессонница. Восток дымится.
Хрустят страницы

под рукой.

Ночная бабочка кружится
над непросохшею строкой.

Я по страницам дневника
плутаю —

с юностью прощаюсь.

Сибирь!

Привал да сладь дымка.

Добротная заварка чая.

И вот еще одна страница:

метелью

склеены

ресницы...

Над сонной
и голубоватой

равниной

сумеречь звенит.

Светает...

Ахнул аммонит.

И голосует экскаватор.

Он со страниц встает, шурша,
в зенит

возносит

пасть ковша.

Дневник мой,

собеседник старый,

ты вновь ведешь меня туда,

где, как упавшая звезда,

цветет костер

над мглистым яром.

Дороги века широки...

Про что трубит нам

сумрак стылый?

Зачем смещаются светила,

куда плывут материки?

Куда, куда?..

Еще немало

нам суждено

постичь и спеть.

Брести сквозь листовенную медь

и стыть

на белых перевалах.

...Спят люди,

оживают вещи.

Ночная бабочка

трепещет

над непросохшею строкой.

Над густо-синиею строкой,

такой,

как цвет волны морской.

Как хвойный дым —

такой

строкой!

И с маху,

под косым углом,

густую впитывает влагу

ночная бабочка

крылом,

как промокательной бумагой.

Виктор Бершадский

МОЛОДОЙ ПОЭТ

Те облака растаяли, как дым:
когда я робко
 к Музе приближался,
меня поэтом звали молодым,
а я в ответ краснел и обижался.

И право же, какой я молодой?
Мне было двадцать семь,
 а в годы эти
Борис Корнилов встретился с бедой,
а Лермонтова не было на свете.

Ничто мне не давалось без труда.
Сквозь наше время прошлое увидя,
теперь я вспоминаю иногда
о той смешной мальчишеской обиде.

Давно зарю пропели петухи!
Но, черт возьми,
 мечтаю я об этом, —
чтобы меня за новые стихи
опять назвали молодым поэтом.

Марк Соболев

СТРОЧКИ

Не затрудненные помехами,
зазря слывущие стихами,
иные строчки — так, проехали
и ручками не помахали.
Есть у затейников коронные —
на два прихлопа, три притопа,
а то — стаканчики граненые
с двойною порцией сиропа.
Иные строчки — девки с улицы:
лишь только вышли на страницы —
и вот, несчастные, рифмуются
с кем попадет, где случится.
А то, сухие и бессильные,
еще бывают строчки-стружки...

...Всю ночь грызет перо гусиное
и чертит
 виселицы
 Пушкин,

Александр Коваленков

ОСНОВНАЯ ОСТАНОВКА

Старый размер, ты смешон современным блестящим поэтам,
Павел Радимов тебя к пародистам привел издалека;
Древность прочтут Чаровненко иль, скажем, Авдей Позаненский,
Фыркнул, ну, дескать, и фрукт, на базарах старья помянул нас.
Пушкинский «Юноша, в бабки играющий» ими не читан
Или забыт, ибо Энского стих не в пример интересней,
Косноязычней, новей, ну, а кроме того, образцовый
Можем прочесть мы гекзаметр, о классиках не вспоминая:
«Не загораживать стекло кабины; шофер открывает
Дверь на основной остановке».

Пыльные ходят машины
С надписью этой по сельским неровным и тряским дорогам,
Там, где поэты встречаются редко. Я ехал и думал:
Вот бы сюда пригласить прокатиться любителя джаза
С магнитофоном походным, чтоб твист и хрипенье Армстронга
Сонь с елок-палок стряхнули, напомнили б дивные дива,
Дансинг хрустальный, где роботы резво танцуют
И огоньки сигарет чертят дальних галактик спирали;
Пальмовой веет прохладой и можно разрез небоскреба
В горизонтальной проекции сделать воздушным,
Так, чтобы плоскости крыльев взвились, как театра кулисы,
И восхищенно б смотреть на явленье актрисы раздетой,
Танец Одетты! Ее лебединая голая песня, —
Иллюминатор чудес, перехваченной мысли локатор,
Рэя Бредбери фантастики взлет в невозможном сиянье
И марсиане!

Но здесь мой автобус качнуло,
Женщина в темной косынке ко мне обернулась, и встретил
Сердцем своим и глазами я дальнейшее школьное детство.
Настя! — та самая, с кем я дружил, а иной раз и дрался;
Настя! — грибные походы, игра в «дед да бабку», пятнашки
и прятки;
— Здравствуйте, Настя! — и скрылись, исчезли в лесу марсиане,
— Здравствуйте, Шура! — черемухой русской в окошко дохнуло;
Жизни моей кинолента помчалась обратным порядком,
Жизни моей и любви, фронтовых передряг, испытаний,
Преодолений и радостей...

— Значит, к нам в гости собрались?
— Нет, я проездом. Дела.
— А быть может, заглянете на день?
В нашем совхозе не часто столичные гости бывают.
Ну, завернул бы ко мне. Были б сканцы. Ты любишь, я помню.

.....
Шел межрайонный автобус и сделал гекзаметром правку
В жизни моей. Вместе с Настей шагал я знакомым проселком.
«Не загораживать стекло кабины; шофер открывает
Дверь на основной остановке».

Константин Ваншенкин

СТИХИ СОЛДАТА

Сразу после войны среди стихов других молодых поэтов, вернувшихся с фронта, ясно и отчетливо прозвучал голос Василия Субботина. Читатели тогда обратили внимание на его пристрастие к сдержанности, четкости, лаконизму. С тех пор прошло двадцать лет. Субботин давно уже прочно закрепился в нашей поэзии, выпустил немало стихотворных сборников. А недавно вышла еще одна его книга — как бы итог, избранное за эти двадцать лет. Она называется «Книга моих стихов». Конечно, все лучшее, написанное Субботиным за эти годы, не могло вместиться в нее, и жалко, что не встречаешь тут многого известного тебе, что здесь нет замечательных строк о нашем поэтическом поколении:

...И так в поэзию входили,
Как мы входили в города.

А ведь эти строки очень характерны для Субботина. Он вошел в поэзию солдатом и поныне остался таким.

Василий Субботин. Книга моих стихов. М., «Советский писатель», 1964.

Поэт, поэт, весь мир
перед тобою.
А перед нами
лишь окопа дно.
И может, этой
самою ценою
Найти слова
редчайшие дано.

Фронтовой быт, будни — жизнь на войне — вот тема, которую открыл для себя Субботин, как открыли ее и другие поэты, — разумеется, каждый по-своему, своими «редчайшими словами».

Рытье окопов, вражеский снаряд, упавший возле ног и чудом не разорвавшийся, фронтная дорога, бомбежка, атака — вот о чем пишет Субботин. И в лучших его стихах это не просто зарисовка, настроение, а уже обобщение, глубоко осмысленные образы.

Жаль, что стихи в книге не датированы. Думаю, что лучший способ расположения стихов — хронологический. Но и так мы почти всегда понимаем, о каком периоде войны идет речь, потому что стихи Субботина не только точны и достоверны, они, я бы сказал, документальны, если это слово можно поставить рядом со словом «поэзия». Тут и наши сожженные селения, и разбитая Варшава, и вот уже герой «вступил в квадрат берлинского листа», и вот уже «в последнюю атаку из темных окон прыгают бойцы». Замечу к слову, что поэт В. Субботин, участник боев за Берлин и рейхстаг, с недавнего времени еще и автор интересных прозаических рассказов об этом.

Субботин требователен к себе. Он может в течение долгих лет работать над одной строкой, отыскивая лучший вариант.

Однако иногда это ценное качество поэта дает как бы обратный результат, и некоторые стихи, как мне кажется, в прежней редакции были удачнее.

Василий Субботин — лирик. Стихи его обычно очень коротки, часто всего восемь — двенадцать строк. В лучших стихах Субботина преобладает мягкость красок и интонаций, подтекст. Вот типичное для него стихотворение:

Я видел, как смотрит
на море
Малыш, вырываясь
из рук.
Каким изумленьем
во взоре
Сменяется первый испуг...
Своею волною зеленой
Закрыло оно небосвод.
Глядит удивленно
ребенок
И ладошки-ладушки бьет.

И все! С первого взгляда может показаться, что нужно добавить что-то более значительное. Нет, стихотворение вполне законченно, и оно производит несомненное впечатление.

Пейзаж у Субботина играет важную роль и присутствует так или иначе в большинстве его стихотворений. Субботин тонко понимает и любит природу. Вот, скажем, стихотворение «Снег»:

И валит, и валит, и валит...
Какая, гляди, кутерьма!
А что, если за день, за два ли
По крышу укроет дома...

Немое движенье снежинок,
Как враз потемнело у нас!

Должно быть, такая картина
По всей по России сейчас.

И так же легко и без шуму
Зима свой справляет приход:
И шубу кидает на шубу,
И шапку на шапку кладет.

Любопытно, что в своих самых мирных, сугубо «гражданских» пейзажных стихах Субботин часто пользуется военными образами и лексикой. Лимонные деревья в траншее у него — как пехота, готовая «сбросить ранцы, вымахнуть за бруствер и — вперед!», осень выбрасывает белый флаг, а на лесосеке «гремят удары топора, как выстрелы из пистолета».

Но, конечно, не только в этом переключка нынешнего Субботина с тем далеким и юным. Нет, в каждом его стихотворении, в каждой строке, в самой натуре поэта — живая память о грозной юности, о тяжелых дорогах и погибших друзьях, гордость за свою юность, за свое поколение, потому что всегда и везде, как бы ни было трудно, —

Мы держали головы свои
Вскинутыми, как
на барельефах.

СТИХИ
АНДРЕЯ
БЕЛОГО

В январе 1932 года «Правда» сообщила о смерти «крупнейшего русского писателя нашего времени», поэта, прозаика и литературоведа — Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева), который одним из первых, подобно Маяковскому, Блоку, Брюсову, принял Октябрьскую революцию.

Вызывая шумные споры, в течение нескольких лет продолжали переиздаваться старые и печататься не успевшие выйти при жизни книги Андрея Белого. Был переиздан «Петербург», дважды вышел очередной том мемуаров, появились «Мастерство Гоголя», известная «Переписка Александра Блока и Андрея Белого», томики стихов в малой серии «Библиотеки поэта». Но через некоторое время все изменилось. Архив Андрея Белого, как и прежде, находился в Литературном музее, там все еще оставалось немало неизданных и стихов и про-

зы, но они перестали интересовать издательства.

Все же это забвение было скорее формальным, чем истинным. Советское литературоведение не могло, да и не собиралось отказаться от методов исследования стиха, разработанных Андреем Белым еще в начале века (сборники «Символизм», «Луг зеленый», «Арабески»).

Не могла быть совершенно забыта и проза Андрея Белого. Романы «Серебряный голубь», «Петербург», «Котик Летаев», «Москва» вызывали особенно ожесточенные споры.

Алексея Максимовича Горького, например, поражала яркость образов Белого, а многие более молодые советские писатели кое-чему у него учились. Артем Веселый, Всеволод Иванов, Пильняк — все они хоть чем-нибудь обязаны Андрею Белому. Конечно, учились далеко не все. Критические замечания часто бывали довольно верными, и многое в наследстве Белого обладает для нас весьма проблематической, скорее экспериментальной ценностью, однако сейчас все чаще раздаются призывы вспомнить Андрея Белого. Об этом говорил с трибуны съезда писателей Рыленков, писали Тарасенков, Всеволод Рождественский, И. Г. Эренбург, М. М. Кузнецов и многие другие писатели.

Стихи Андрея Белого находятся в особом положении. Белый-прозаик, Белый-стиховец несколько затмили Белого-поэта. А ведь уже первая книга его стихов «Золото в лазури» приковала внимание Владимира Маяковского и поразила его своей новизной. Одним из своих учителей считал Белого Есенин.

Свою последнюю книгу — «Зовы времен» — Белый закончил в 1932 году. Как и всегда у Белого, «Зовы времен» — не сборник стихов, а книга поэзии, и потому публикуемые стихотворения из этой книги производят несколько фрагментарное впечатление.

Сергей Григорьянц

Андрей Белый

ЛЕТНИЙ ЛЕПЕТ

Как —
— Расплеск
Ветров —
В зов
Лета
Таёт
Облаком перловым —
— В бирюзовом
Небе, —

Так —
— Блеск
Строф

Питаёт
Сердце —
— Розовую
Розу —
— Росами —
— От
Света
Слов!

Цоссен, 1922

СОЛНЕЧНЫЙ ДОЖДЬ

Подсолнечный дождик
В лазурь
Омолненным золотом
Сеет;

С востока — вечерняя
Хмурь;
И в лоб — поцелуями
Веет.

В полях — золотые
Снопы
Вечернего, летнего
Света,

И треплется тополь
С тропы,
Как влеченный в лепеты
Лета.

В объятиях облака
Спит —
Кусок голубого
Атласа;

И звездочка — ясно
Слезит,
Мерцающая из мглы
Седовласой.

Я — милые щебеты
Пью;
И запах полыни
Не горек.

Тебя — узнаю: —
Узнаю!
Из розовых, розовых
Зорек.

Ты? Нет — никого...
Только лен —
У ног провевает
Атласом;

Да жук, пролетая
Под клен,
Зажуркает бархатным
Басом;

Да месяц — белеющий
Друг, —
Опадком очерчен
Из сини;

Да тускло остынувший
Луг
Под ним серебрет
Из сини.

Москва, 1905—1931

ГРОЗОВОЕ ОБЛАКО

Блещет откос бриллиантами;
Нежно звездеют
Стога;

Вздыбились тучи —
Гигантами:
Вылились
В высь —
— Жемчуга.

Там, — в горизонте дымеющем,
Ветрами в воздух
Взвитой —

Кто-то во вретисе
Веющем —
С молоньей
Встал —
Золотой.

В воздух волнистыми гребнями
Плащ его плещется
С плеч,—

Чтобы над древними
Землями
Летними
Ливнями —
Лечь.

По небу ухнувшем молотом —
В хаосы сваленных
Скал —

Облак расколотый
В золото —
С хохотом
Он —
Оборвал.

Теплится в тающей темени
Строгими вздрогами
Глаз: —

Зреет со светлого
Темени —
Звездочки
Летней —
Алмаз.

Кутает хмурыми бурями
Плечи сутулые он:

Встанет, — оваян
Лазурями, —
Канет, —
В немой —
Небосклон.

Серебряный Колодезь
1903—1925

ЖДИ МЕНЯ

Далекая, родная, —
Жди меня...

Далекая, родная:
Буду — я...

Твои глаза мне станут
Две звезды.

Мы в дали отстояний —
Поглядим;

И дали отстояний —
Станут: дым.

Меж нами, вспыхнувшими, —
Лепет лет...

Меж нами, вспыхнувшими,
Светит свет.

Москва, 1924

ОВЕС

Даль, — как стекло: над золотистой
Нивой —

Шумит

Овес...

Все, все — прошло! С души

Нетерпеливой —

Слетел

Вопрос.

Кипят колосья над межою

Тою —

Как злая

Шерсть;

Слетает солнце

Красно-золотое —

В седую

Персть.

Завеют тени призрачного

Мира —

Сквозной

Волной;

Дыша в поля, как золотой

Порфирой, —

Замглеет

Зной.

Нет — ничего! И — ничего

Не будет —

И ты —

Умрешь...

И — рухнет мир... И Бог его —
Забудет... —

Чего ж

Ты ждешь?

Ось мировую — время

Расшатает —

Потухнет

Свет:

Во мгле пустой, как дым седой,

Растает, —

Полет

Планет.

Росеет луг... Слетает,

Холодея, —

В перловый

Жар,

Оранжевою ржавчиною

Рдея, —

Багровый

Шар.

Пространства гаснут, прахом

Распадаясь:

И — я;

И — ты..

Там — жизни нет: грозят, туда

Бросаясь, —

Мои

Персты.

Серебряный Колодезь, 1902—1931

Убийца-ученый откроет мертвящие газы,
И, вместо того, чтоб убить,— превозносят его!
Войну сумасшедший правитель объявит —
приказы
Исполнить спешат, не щадя живота своего...

Подобных стихотворений у него множество. Теперь для когда-то воспевавшейся им купеческой среды, в стихотворении, посвященном В. В. Маяковскому и до сих пор не опубликованном, он находит такие слова:

ИГОРЬ

СЕВЕРЯНИН

Его раскатный, трибунальный,
Толпу клонящий долу бас
Гремел по всей отчизне сальной,
Где поп, жандарм и свинопас.
В те годы черного режима
Мы подняли в искусстве смерч.
Володя! Помнишь горы Крыма
И скукой скорченную Керчь?..

Стихи относятся к 1923 году, и уже в то время И. Северянин показал свое отношение к трибуну революции, вместе с которым он совершил в 1913—1914 годах крымское турне.

В публикуемых здесь стихотворениях Игоря Северянина присутствует и лирика, и политика, но все они содержат одно из главных качеств поэта — искренность. Поэтому нам понятны чувства, выраженные в этих стихах, — постоянной казни себя за отрыв от родной страны.

Стихотворения «За Днепр обидно» и «Наболевшее» (последнее — из архива Г. А. Шемгели) никогда не публиковались.

Трагические обстоятельства — начавшаяся война и тяжелая болезнь сердца, приведшая к смерти, — не дали возможности поэту приехать в 1941 году по лучшему уже разрешению в Москву. Но написанные незадолго до этого стихи «Завтрашний мир» показывают его твердую уверенность в великом будущем родины:

Ведь коммунизм воистину нетленен!
И просияет красная звезда
Не только там, где похоронен Ленин,
А всюду и везде и навсегда.

Б. Смиренский

Последний период развития Игоря Северянина как поэта характеризуется проявлением лирики, отказом от вычурности, философским осмыслением действительности, критикой капиталистического образа жизни, осуждением войны и патриотическим воспеванием родины.

Поэтические книги И. Северянина этого периода — это книги отречений, отказа от прошлого и от самого себя. В одной из них, изданной в 1931 году, прямо указывается на присутствие в ней тревожности, «обители печали», подчеркивается, что в ней «слышится голос одиночества» («Классические розы»). Поэт много сил отдает пропаганде мира. «Благословляя мир, проклятье войнам он шлет в стихе, признания достойном». В цитированной книге, например, есть такие строки:

Игорь Северянин

НАБОЛЕВШЕЕ...

Нет, я не беженец и я не эмигрант, —
Тебе, родительница, русский мой талант,
И вся душа моя, вся мысль моя верна
Тебе, на жизнь меня обрекшая страна!..
Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой:
Не предавал тебя ни мыслью, ни душой,
А если в чуждый край физически ушел,
Давно уж понял я, как то нехорошо...
Страх перед голодом за мать и за семью
Заставил родину меня забыть мою,
А тут вдобавок роковая эта лень,
Так год за годом шел, со днем сливался день.
Домой вернуться бы: не очень сладко тут.
Да только дома мой поступок как поймут?
Как объяснят его? Неловко как-то — ах,
Ведь столько лет, ведь столько лет я был в бегах!
Из ложной гордости, из ложного стыда
Я сам лишил себя живящего труда —
Труда строительства — и жил как бы во сне,
От счастья творческой работы в стороне.
Мне не в чем каяться, и все же каюсь я:
Меня не ценят зарубежные края.
Здесь вдохновенность обрекается на склеп.
Здесь в горле застревает горький хлеб.
Я смалодушничал, — и вот мне поделом:
Поэту ль в мире жить, пригодном лишь на слом?
За опрометчивый, неосторожный шаг
Уже пришиблена навек моя душа.
И уж не поздно ли вернуться по домам,
Когда я сам уже давным-давно не сам,
Когда чужбина доконала мысль мою, —
И как, Россия, я тебе и что спою?

*Усть-Нарова
26 октября 1939 г.*

Я К МОРЮ СБЕГАЮ

Я к морю сбегáю. Назойливо лижет
Мне ноги волна в пене бело-седой,
Собою напомнив, что старость все ближе,
Что мир перед новою грозной бедой...

Но это там где-то. Сегодня все дивно!
Сегодня прекрасны и море, и свет!
Сегодня я молод, и сердцу наивно
Зеленое выискать в желтой листве.

И хочется жить, торопясь и ликуя,
Куда-то стремиться, чего-то **искать...**
Кто в сердце вместил свое **радость**
такую,
Тому не страшна никакая **тоска!**

Тойла
17 октября 1930 г.

ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВ

Летишь в экспрессе — жди крушенья.
Ткань доткана — без разрушенья.
Без ненависти нет любви.

Познал восторг — познай страданье.
Раз я меняюсь — я живу...
Застыть пристойно изваянью,
А не живому существу!

Таллин, 1935

ЗА ДНЕПР ОБИДНО

За годом год. И с каждым годом
Все неотступней, все сильней
Влечет к себе меня природа
Великой родины моей.

Я не завистлив, нет, но зависть
Святую чувствую порой,
Себе представив, что мерзавец —
Турист какой-нибудь такой, —
Не понимающий России,
Не ценящий моей страны,
Глядит на Днепр в часы ночные
В сиянье киевской луны!

Таллин
6 марта 1936 г.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Виктор Урин

НАЧАЛО И ПРОДОЛЖЕНИЕ

Начать всегда легче, чем продолжить.

Начало — детство всякого дела. И если в детстве чувство предшествует размышлению, то и в нашем Театре поэта чувство стало первым нашим учителем, потому что мы еще многого не знаем.

Наш театр ребенок, и он не обладает опытом и устойчивостью взрослых театров, он смотрит на мир доверчивыми глазами поэзии, он складывает свои первые разрозненные кубики, он еще не знает, что такое разочарование и недоверие, он улыбается вам, люди, и надеется на вашу доброту и поддержку.

Вы говорите:

— Если это самодеятельные чтецы и актеры, нас это не устроит.

Вы говорите:

— Если это профессионалы, тогда это не так ценно и значительно, потому что важно показать народное искусство во взаимодействии с поэзией.

Мы отвечаем:

— Наш театр строится на содружестве поэтов с профессионалами-актера-

ми и самодеятельными художественными коллективами.

Кажется, Шиллер сравнивал театр с каналом, по которому льется в народные массы то, что выработано наукой и знанием.

Театр поэта, как он задуман нами, это прежде всего не искусственный канал, а естественный пролив, через который сами народные массы проходят живые, непридуманные, одухотворенные поэзией жизни.

Массы «играют» самих себя, и в поэтическом представлении непременно участвуют живые поэты, будь то бенефис или массовое действие.

Я не случайно произнес это редко употребляемое теперь слово — бенефис. В нашем театре главную роль всегда будет играть сам поэт, и если все представление посвящено одному человеку, то это бенефис такого-то поэта, и все краски художественной выразительности — свет, музыка, цветовые гаммы, иллюстрации, разноголосая партитура и вокализ чтецко-хорового ансамбля, — весь этот полифонический спектр для того и создается, чтобы как можно ярче и глубже раскрыть поэтический мир художника, его суть.

Стремление к гармонии через единство искусства и реальной действительности — такова наша позиция.

Мир сложен и многообразен, как судьбы поэтов. Поэтому то, что допустимо в раскрытии одной индивидуальности, совершенно противопоказано для другого мастера. И совершенно по-разному надо решать тот или иной спектакль. Но есть одна характерная черта, которая, по-видимому, всегда должна так или иначе присутствовать в нашей работе. Эта черта — документальность.

В спектакле «О времени и о нас» шла пантомима: изображалась работа машин. Ритмический рисунок был четок и динамичен. И вдруг что-то сломалось. Как раз в этот день простаивал цех № 9. И вот на сцене появились актеры нашего театра, они же рабочие завода, члены штаба «Комсомольского прожектора» Таня Федорова, Валентин Андреев, Анатолий Игумнов, и никто не сомневался в искренности их волнения.

И речевой ансамбль, как плакат, вывешивает фразу: «На целый час отсрочен коммунизм», — это уже тревожит каждого сидящего в зале. Разве все силы, до конца, без оглядки отданы нами именно сегодня самому дорогому, самому главному?

Мы подчеркиваем организующую тенденцию нашего театра, когда не только фиксируются уже совершившиеся события, но и начинаются новые. И это произойдет на сцене.

Когда бойцы в плащ-палатках шли через мост в поэтическом представлении «Народ, армия и поэты», они не подозревали, что среди них находится Герой Советского Союза Василий Кисляков. Но вот они все остановились, и в этой зримой картине, где бойцовская молодость как бы породнилась с героикой фронтовых лет, — в этой картине не мог не прозвучать голос поэта:

Встает он один против роты,
встает невредим под огнем,
как будто морская пехота
была не в окопах, а в нем...

Жизнь вытащена на сцену. Судьбу Кислякова сопереживают бойцы, ставшие зрителями, и зрители в зале, ставшие бойцами нашего общего фронта. И когда Владимир Карпеко завершил портрет Героя, когда он произнес: «Когда за тобою Россия, ты можешь один против ста», — показалось: он не столько подытоживает прошлое, сколько намечает линию жизни для каждого молодого.

Театр поэта — документальный театр. Но не надо думать, что только документальный. Хотя во время премьеры «Книга любви», когда Василий Федоров был за границей, его голос оттуда, из Бельгии, доносился к нам, и в минуту, когда он читал нам стихи или размышлял о жизни, мы, зрители, его думами и глазами сопереживали все, что волновало поэта в ту минуту. Вот видите, опять же документальность ворвалась в сугубо лирическую тему, и движение спектакля было синхронизировано с жизнью поэта, с его новыми для нас раздумьями и стихами.

Мы представляем себе и камерные поэтические представления, с медлен-

ным проникновением в поэтический аромат стихов, с глубинной музыкой красок и с красочной мелодией, представление, так сказать, сосредоточенное, со страстями разума и раздумьями сердца. Но ведь и здесь не противопоказан живой герой, как мы его понимаем. И мы будем стремиться к этому.

Например, в поэтическом представлении «Суд памяти» режиссер Александра Ивановна Сэм вводит настоящего немца, участника минувшей войны, и русского солдата-ветерана, и они импровизированно комментируют то, что происходит на сцене.

В спектакле «Жаворонок весенний» режиссер Дмитрий Георгиевич Кознов вводит земляков Виктора Бокова, опять же живых героев, о которых и для которых поэт пишет.

Совсем иначе решает эту проблему режиссер Николай Александрович Голубенцев. Его «Никитинские субботники» — это сама жизнь, вынесенная на сцену. Просто очередная суббота Евдоксии Федоровны Никитиной на этот раз происходит на сцене нашего театра.

Пусть в первом действии вы узнаете о том, какие стихи писала Вера Фигнер, о чем говорили на субботнике Пастернак и Цветаева, пусть в первом действии появятся как воспоминание живой Блок и живой Есенин (кстати, актеры уже подобраны и репетируют), зато во втором действии мы надеемся услышать Анну Андреевну Ахматову, которую намерены пригласить в наш театр на Никитинский субботник.

Я не сказал бы о чем-то важном, если бы в этих заметках не поделился с вами той работой, которую мы готовим к пятидесятилетию нашего государства. Это поэтическое представление будет называться «Революция и поэты». Поэты разных поколений станут участниками поэтического представления, в котором новые стихи будут посвящены Стасовой и Буденному, Папанину и Покрышкину, Ботвиннику и Гагарину. Мы делимся с вами своей мечтой. Мы не знаем, смогут ли наши прославленные соотечественники принять участие в большом спектакле, который готовит Театр поэта. Но мы знаем, что такой спектакль будет, и наши выдающиеся

современники, представители разных областей государственной, общественной, культурной жизни нашей страны, эти подлинные герои полувековой биографии советской власти, выступят в нашем театре, и поэты, как это было у древних, воспоют их, скромных и отважных рыцарей коммунизма.

Недавно мы получили ряд телеграмм из разных городов. Товарищи сообщают, что кое-где рождаются филиалы нашего театра.

Тут начинаешь мечтать о фестивалях театров поэзии, о состязании поэтов, о массовых представлениях на проспекте Есенина (есть такой в Москве) или на площади Маяковского, где нашей декорацией станет живая Москва, и известное изречение «Искусство принадлежит народу» органично будет монтироваться с драматическим действием, в котором непременно примут участие поэты и все слушатели, собравшиеся на площадях.

Михаил Луконин

ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ

К этому представлению я сначала отнесся недоверчиво.

«Театр поэта» — что это?

Правда, мне доводилось видеть и слышать театры поэзии, они очень распространены, например, в Чехословакии, а несколько лет назад я был там гостем на фестивале поэтических театров в городе Простиеве. Но в Чехословакии это традиция, актерское исполнение стихов, у нас же приняты выступления самих поэтов.

На премьере поэтического представления «Народ, армия и поэты» получилось, что выступали и поэты и чтецы.

Выступал, волнуясь, Алексей Сурков, а на сцене бойцы на привале пели «В землянке». Слышался голос Константина Симонова, а Борис Моргунов подхватывал строку и продолжал: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», и

это было очень слитно — голоса поэтов и голоса исполнителей.

Большое волнение вложили в это и актеры во главе с Моргуновым, и самодельный коллектив завода «Каучук», и художественный руководитель Театра поэта Виктор Урин — мы все знаем его неукротимую энергию. На меня самое отрадное впечатление произвел молодой актер-чтец Владимир Мащенко, когда около Книжки Войны, в развевающейся плащ-палатке он читал стихи разных поэтов-фронтовиков.

Не думаю, чтобы посетители Дома культуры завода «Каучук» были очень уж искушены в поэзии, но зал в этот вечер переживал и принимал поэзию близко к сердцу.

Уверен, что опыт удался, что это хорошее начинание заслуживает поддержки и продолжения.

ЭТО ХОРОШО ПРИДУМАНО

Когда в зале погас свет, и столь знакомый голос известного диктора объявил народу о нападении германской армии на нашу страну, и сразу же вслед за этим сообщением грянула песня о священной войне, и под звуки этой песни пошли по темному проходу молодые ребята в пилотках и плащ-палатках, трудно было, по правде говоря, сдержать волнение и справиться с клубком, подкатившим к горлу.

Это начался спектакль Театра поэта на Плющихе при клубе «Каучук». Я называю его клубом, а не Домом культуры не по ошибке, а по старой памяти, — это один из старейших московских

клубов с доброй традицией, и очень дорого то, что сейчас именно этот клуб открыл свои двери для дела нового, молодого, интересного, для Театра поэта.

Этот театр только начинает свою деятельность, начинает очень славно, горячо и взволнованно, широко раздвигая свои стены, привлекая в качестве участников представлений людей интересной жизни, славной биографии. Это хорошо придумано, и за этим стоят огромные возможности. Будем надеяться, что Театр поэта их разовьет и углубит и будет работать дальше так же горячо и искренне, как начал.

Слово Симонова:

— Я сегодня очень далеко отсюда, во Франции, вместе с советской делегацией, но мне очень хочется принять хотя бы заочно участие в сегодняшнем вечере здесь, в Театре поэта, в вечере, посвященном Дню Победы. И мне хочется поздравить всех участников войны, всех ветеранов, которые присутствуют на этом вечере, пожелать им всего самого хорошего. И хочется прочесть одно стихотворение, которое было написано 24 года назад, в самом начале войны, на Западном фронте...

Слово Грибачева:

— Лишенный возможности лично присутствовать в Театре поэта на этом замечательном вечере, но зная, что в нем участвует Герой Советского Союза Александр Гаврилович Подчуфаров, я

хочу, сам будучи комбатом Сталинградского фронта, искренне поприветствовать его, поздравить, как и всех товарищей, с Днем Победы. А после всего этого прочитайте написанные на фронте стихи, относящиеся к тому моменту, когда началось окружение армии Паулюса. (Читает «Атаку».)

Слово Друниной:

— Дорогие друзья, сейчас я нахожусь далеко от вас и от нашей родины, во Франции. Только поэтому я не могу лично присутствовать на этой замечательной встрече. Но мне очень приятно знать, что в нашей столице такой образовался прекрасный театр, Театр поэта. Очень мне было приятно узнать, что здесь в зале находятся две женщины, которых я могу по праву назвать своими боевыми подругами. Я говорю о Надежде Филипповне Беляк и о Валентине

Петровне Смольяниновой. А сейчас я прочитаю просто свое самое последнее стихотворение, которое было мной написано ко Дню Победы, замечательному празднику, который мы отмечаем несколько дней назад. Стихотворение это называется «Разговор с сыном фронтовика».

Слово Долматовского:

— Я хочу сегодня, здесь, в Театре поэта, прочитать стихи всем товарищам, а особенно тем, кто был на Берлинском направлении, так сказать соратникам и однополчанам. Правда, я говорю «сегодня» условно, потому что, когда вы будете еще раз отмечать и праздновать День Победы, мне, к сожалению, не удастся быть вместе с вами, я в Индии, где-то в Калькутте, кажется, в этот день буду, но, во всяком случае, душой и сердцем буду с вами, на нашей земле и буду тоже вместе с вами праздновать День Победы. Я знаю, что здесь присутствует Александр Васильевич Пономарев, один из тех, кто был на Берлинском направлении, участвовал во взятии Берлина, и, кроме всего прочего, персонально ему читаются стихи.

Герой Советского Союза

Александр Подчуфаров

— Когда я услышал стихотворение Михаила Луконина «Сталинградский театр», мне показалось, что это о моей фронтовой жизни. Словно здесь, в Театре поэта, была восстановлена та боевая обстановка, в которой мне пришлось быть там, в жестокие дни битвы над Волгой. Там я был шесть раз ранен. Между прочим, в ногу, в руку, в живот и ни разу в спину. Шли мы по войне не только с автоматом в руках, но и с любимыми томиками стихов, с песней в сердце. Собрался я сегодня вечером, товарищи спрашивают: «Ты куда?» Я говорю, что иду в театр. Спрашивают меня: «Что будешь смотреть?» Я разъясняю: «Иду не смотреть, а выступать». Кое-кто усмехнулся: «Ты что же, артист?» И тогда я объяснил, что я, Подчуфаров, буду играть самого себя, то есть Подчуфарова. Такой у нас Театр поэта — он берет у жизни и опять же отдает ей. Дело это стоящее, по-настоящему народное. Спасибо товарищам поэта за то, что пришли на завод, написали о наших людях, да еще и художественно подали наши судьбы в рабочем Театре поэта.

Светлана Магидсон

«УСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА»

Есть пятьдесят способов сказать слово «Да» и пятьсот способов сказать слово «Нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только один способ», — заметил однажды Бернард Шоу. Живое слово! Велики его возможности, особенно когда оно звучит из уст мастеров художественного слова. А слушателю гораздо легче понять стихи, всю гамму их смысловых интонаций, думы, сердце, душу поэта через чтение с эстрады, с концертных подмостков. Но вот что главное: самому актеру-чтецу нужно глубоко понимать поэта, чтобы верно донести его до слушателей. А для этого совершенно необходимы постоянные творческие контакты с мастерами поэзии.

Идея создания «Студии стиха» в Центральном Доме актера принадлежит поэту Льву Озерову. Встречи там он предложил облечь в форму своеобразной «говорящей книги». В середине марта 1964 года «Устная библиотека поэта» начала свою работу. «Звучащие томики» этой серии выходят два раза в месяц.

Первым был «выпущен в свет» сбор-

ник Арсения Тарковского, прозвучали стихи, составившие его новую книгу «Собеседник», которая в то время была принята в «Советском писателе». Стихи Тарковского были мало знакомы чтецам. И на этом вечере с помощью слушателей, горячо споривших о творчестве поэта и о том, как надо читать философскую лирику в больших аудиториях, актеры-чтецы загорелись желанием включить поэзию Тарковского в свой репертуар. Общественность и сам поэт отметили тонкость понимания его творчества актрисой Госконцерта Эммой Мещеряковой. И сейчас она успешно выступает со стихами А. Тарковского в различных городах Советского Союза.

Надо сказать, что каждый поэт, «книга» которого звучит на вечерах, был представлен знатоком его творчества. Это и видные критики и поэты.

Своеобразие этой «серии» состоит еще и в том, что автор исполняет не широко известные для слушателей стихи, а произведения из новой, еще только готовящейся к печати книги. Так, Лев Озеров зимой 1964 года познакомил чтецов со стихами из книги «Дороги новый поворот», которая выйдет в конце 1965 года. Сергей Поделков читал стихотворения из готовящейся в «Молодой гвардии» новой книги «Ступени» и из книги стихов «Гербы», которая выйдет в 1966 году в «Московском рабочем». Николай Панченко познакомил слушателей с готовящимся к печати сборником стихов «Зеленая книга». Вероника Тушнова почти целиком прочитала актерам книгу «Сто часов счастья», последний сборник поэтессы, вышедший в свет при ее жизни.

И еще об исполнении самого автора. Он ведь дает почувствовать актеру интонацию. А без нее, как известно, стихотворение не живет. Это наглядно показал поэт Виктор Боков. Он не просто «читал» свои стихи, а демонстрировал актерам, как его стихи должны звучать, он деликатно корректировал исполнение того или иного актера.

Павел Антокольский не только прекрасный поэт, но и талантливый актер. Он исполнял свои произведения так, что актеры могли почувствовать его

умение аналитически мыслить, его большую стиховую культуру, синтетический образ времени в его стихах. Их форму. П. Антокольский показал, как звук должен подчиняться смыслу и сущности слова, самой идее произведения.

Александр Блок говорил, что только подлинный художник имеет свой собственный путь. Илья Сельвинский, несмотря на известность, остается поэтом непрочитанным. И «прочесть» его помогают актеры. Поэт помог им своим чтением подчеркнуть, что лиризм — это фон, на котором разворачивается монументальный эпос, лепятся глубокие характеры... Эту черту Сельвинского-поэта хорошо показал артист Н. Эфрос.

Для поэзии Якова Белинского характерно разнообразие музыкально-мелодического ключа. И совсем не просто сочетать в исполнении мелодичность, музыкальность с почти злободневным видением мира. И он спорит с актерами о том, как они трактовали его произведения.

В «Устной библиотеке» — этой своеобразной студии стиха — сталкиваются и различные творческие манеры исполнения стихов актерами. Так, «книга» Степана Шипачева была по-разному «прочитана» актерами А. Свенцицким, Н. Доброхотовым, М. Протасовой. Было о чем поговорить на этом вечере и слушателям, они ведь вторгаются в процесс создания «говорящей книги», вносят в нее свои коррективы, спорят с поэтами и мастерами художественного слова. И эти чудесные так называемые «заметки на полях» выражаются в форме вопросов, реплик, пояснений, раздумий, споров. Это по-настоящему демократиче-

ский и широкий взгляд Читателя на поэзию.

Споры аудитории о творчестве того или иного поэта, о трактовке или качестве исполнения чтецами его произведений, размышления самого поэта о той или иной манере исполнения — все это помогает актерам-чтецам улучшить исполнение поэтических произведений, все это заставляет и поэта глубже задуматься над своей работой.

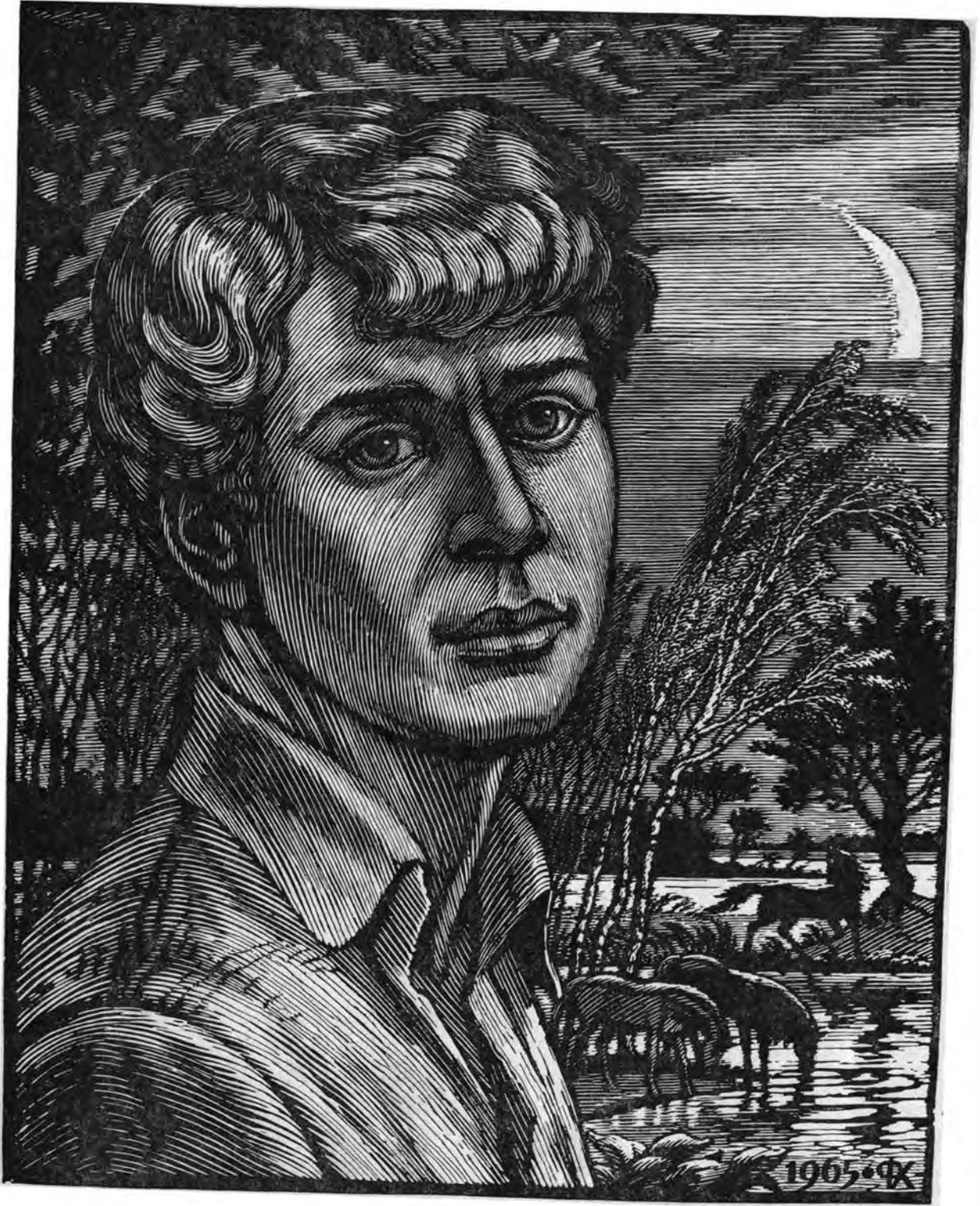
Итак, в этой «звучащей серии» вышли «в свет» сборники восемнадцати поэтов. Специальный выпуск был посвящен поэтам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Портфель «Устной библиотеки поэта» достаточно богат. В дальнейших выпусках слушатели познакомятся с широким кругом поэтов, разных по возрасту, мастерству, жанрам.

Ожидает аудиторию один приятный сюрприз: прозвучат в магнитофонной записи голоса С. Есенина, Н. Асеева, М. Светлова, Б. Пастернака, В. Луговского и других ушедших от нас поэтов. Это — своеобразное «приложение» к вечерам «Устной библиотеки поэта».

«Избранные страницы» библиотеки прозвучат в следующем сезоне в рабочих и студенческих клубах, библиотеках, с эстрадной и театральной сцен. Они дают возможность ознакомиться с лучшими стихотворными произведениями поэтов до их публикации, помогают глубже почувствовать замысел, интонацию, почерк художника, увеличивают отряд любителей поэзии. Хочется, чтобы опыт «Устной библиотеки поэта» был использован и в других городах нашей поэтической страны.

Вечный Огонь



СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Гравюра Ф. Константинова

СЛОВО

О

ЕСЕНИНЕ

(К 70-летию
со дня рождения
поэта)

Образ поэта... Пушкин как-то заметил, что он «думал стихами». Маяковский «любил стихом». «Волнуясь сердцем и стихом» жил Есенин. Он не «занимался поэзией» от такого-то до такого-то часа — он дышал ею постоянно. Творческая работа, «каторга чувств» была для него естественным состоянием.

Один из современников Есенина вспоминает, что однажды при встрече он сказал поэту:

— Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда ты пишешь?

— Всегда, — последовал ответ.

В то время как злые языки шептали по закоулкам: «У Есенина затяжной кризис», он говорил знакомому поэту:

— Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать.

Всякое нарушение авторской воли вызывало его протест. «Кто им позволил залезать ко мне в душу и хозяйни-

Полностью «Слово о Есенине» публикуется в книге «Воспоминания о Сергее Есенине», которая им открывается. Здесь печатаются фрагменты из «Слова».

чать там, как им хочется?... Какой-то бездельник в редакции чирк карандашиком, и весь мой замысел летит к чертовой матери».

Он имел право сказать о себе, своих стихах: «Я сердцем никогда не лгу...»

Требовательный к себе, он не выносил литературных мотыльков. Одному такому «творцу» он заявил:

— Ты понимаешь, ты вот — ничего. Что ты списал у меня — то хорошо. Ну, а дальше? Дальше нужно свое показать, свое дать. А где оно у тебя? Где твоя работа? Ты же не работаешь? Так ты — никуда!..

Вглядываешься в рукописные есенинские строки, слушаешь рассказы современников о самозабвенной работе поэта над словом и видишь всю нелепость легенд о «беспечном таланте», еще бытующих и поныне.

У народа-языкотворца, у классиков всю жизнь учился Есенин высокому искусству слова. В юные годы, впервые прочитав «Слово о полку Игореве», он был «совершенно ошеломлен им, ходил, как помешанный». Он знал наизусть отрывки из русских былин и руны из «Калевалы», стихи Лермонтова и Некрасова, Никитина и Кольцова, Фета и Тютчева. Особое чувство у него было к Пушкину и Гоголю. Он не раз говорил друзьям: «Люблю Гоголя и Пушкина больше всего. Нам бы так писать!»

Он мечтал создать поэму о Пушкине; признавался, что в последние годы в смысле формы его все больше тянет к пушкинской простоте. Перечитайте «Персидские мотивы», «Письмо матери», «Письмо к женщине», «Возвращение на родину», «Отговорила роща золотая...» — и вы явственно ощутите это.

Навсегда сохранила память современников волнующую картину: выступление поэта у памятника Пушкину в юбилейные дни 1924 года. Есенин стоял на ступеньках пьедестала, светлые его кудри резко выделялись в толпе.

В руках он держал букет цветов, который возложил к подножию памятника. Он читал свое известное стихотворение, посвященное Пушкину, громко и четко, размахивая, как обычно, руками.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Но ему было не суждено еще долго петь... Иной через год стала его последняя встреча с Пушкиным. «Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, — рассказывает писатель Юрий Либединский, — мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, — это был достойный преемник пушкинской славы».

Есенин, подобно Пушкину, был глубоко убежден: истоки «песенного слова» в народе. «Это все есть у народа, — говорил он. — Это только надо найти, прочитав, услышать, по-своему осмыслить». Он утверждал: в поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки. В стихах не должно быть водянистого многословия.

Всю жизнь он стремился к поэтической емкости и выразительности каждого своего образа, каждой новой строки своих стихов; и хотя достиг многого, постоянно испытывал чувство неудовлетворенности. В одном из писем он признавался своему адресату, известному литературному критику: «Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел... что все мы... в том числе и я, не умели писать стихов».

Так, через неустанный художественный поиск, через отрицание того, что уже было им достигнуто, твердо памятуя, что «поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом», он неуклонно шел к пушкинской гениальной простоте.

Шел ради того, чтобы пропеть свою неповторимую песнь о России. Он по праву мог сказать о себе с гордостью:

«Чувство Родины — основное в моем творчестве».

— Ты меня извини, — говорил он одному молодому, — но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без Родины.

Крестьянская изба. Свет лампы. Смирные — все в черном — странницы поют духовные стихи о прекрасном рае, о светлом госте из града неведомого...

Лес. Канавистая дорога. Бабушка ведет восьмилетнего внука на поклон «перед ликом спасителя»: «Иди, иди, ягодка, бог счастья даст».

Это было.

Но было и другое, перед чем меркли лампы, стихали заунывные голоса монахинь, — свет зари в полнеба, белый дым над садами, свист коростеля да песня косарей за Окой...

За околицей села открывался необъятный и таинственный мир, полный волнующих звуков и красок. Здесь впервые увидел Есенин, как ломаются березы, отражаясь в пруду, как играет солнечный зайчик в бороде старого деда, убирающего ток, как все вокруг серебрится своим блеском луна.

С колыбели западали в душу Есенина волнующие материнские песни. От матери он унаследовал живой, самобытный, впечатлительный ум, песенный склад души.

Рано одолевший с помощью деда грамоту по библии, он в школьные годы накрепко сдружился с книгой: жадно ловил и запоминал каждое меткое слово, услышанное на деревенской улице, в лугах на покосе, в ночном, у костра...

Он всю жизнь был «нежно болен воспоминаньем детства». И в радости, и в печали — всегда его сердце тянулось к родному очагу, к полевым тропинкам, избеганным босиком:

Как хорошо,
Что я сберег те
Все ошущенья детских лет.

Тогда впервые заглянул он в синие глаза России, впервые услышал ее задушевные песни, ощутил дыхание родимой

земли, и в его душу упали первые зерна того чувства, которым жива вся есенинская лирика...

О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.

Заря и звезды в этой школе соседствовали с песней и частушкой, сказкой и загадкой.

Кто мог в те годы представить, глядя на деревенского паренька в нахлобученной на лоб кепке, что пройдет всего десять лет и он станет поэтическим сердцем России...

В это сердце с юных лет запали ветровые слезы России, ее грустные и раздольные песни, светлая печаль и молодецкая удаля, бунтарский разинский дух и кандалный сибирский звон, церковный благовест над тоскующими пашнями и умиротворенная сельская тишина, веселый девичий смех в лугах и горе седых матерей, потерявших сыновей на войне.

Вспомним «Русь», написанную девятнадцатилетним поэтом.

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер...

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Только пережив войну как глубоко личное бедствие, можно так писать о ней. Найти такие слова, вложить в стихи такие чувства, что почти физически ощущаешь этот раздражающий душу крик тоски и отчаяния.

В «Руси» отчетливо слышен *свой* поэтический голос, *своя* песнь о родине. По настроению «Русь» чем-то созвучна пушкинской «Деревне» и перекликается с блоковскими скорбными раздумьями о родине. И едва ли не более всего она заставляет нас вспомнить строки знаменитой некрасовской песни «Русь».

«Русь» давала Есенину полное право сказать позднее в беседе с писателем И. Н. Розановым:

— Я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественни-

кам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму.

Время Есенина — время крутых поворотов в истории России.

От Руси полевой, патриархальной, уходящей в прошлое, от России, ввергнутой царизмом в пучину мировой войны, — к России, преображенной революцией, России ленинской, России советской — таков путь, пройденный поэтом вместе со своей родиной, своим народом.

Грандиозен и прекрасен этот путь — путь Великого похода трудовой России в будущее. Вместе с тем он был суров, драматичен.

«Сегодня пересматривается миров основа», — утверждал Вл. Маяковский. «Революционный держите шаг!» — призывал А. Блок. Чувство великих перемен владело и Сергеем Есениным.

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли...
Мы радуго тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

Прав поэт Петр Орешин, который, рассказывая о своих встречах с Есениным в 1918 году, подчеркивал, что «Есенин принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял его, конечно, только потому, что внутренне был уже подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем...»

В событиях революционной эпохи, современником которой был Есенин, он не всегда видел главное, не всегда понимал направление развития истории. Чувствуя это, поэт вновь и вновь пристальнее вглядывался в кипение жизни, стремясь, по его словам, «постигнуть в каждом миге Коммуной вздыбленную Русь». И как глубоко и самозабвенно надо было любить родину, какую чистую, широкую душу надо было иметь, чтобы так мужественно по отношению к самому себе и так пронизательно в отношении будущего России сказать:

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальнойю
Видеть бедную, нищую Русь.

ДЕСЯТЬ
АВТОГРАФОВ
ПОЭТА

Как-то во время беседы сестра Есенина, Екатерина Александровна, заметила:

— Было бы хорошо вам разыскать Мурашева. Много добрых дел сделал он для Сергея. До войны он жил на Арбате.

Я знал о Мурашове по его воспоминаниям о Есенине, напечатанным еще в 1926 году. Позднее имя этого петроградского литератора в журналах почему-то не появлялось. Всякое могло случиться за эти годы...

Через несколько дней после этого разговора часов в 10 утра в моей квартире раздался неожиданный телефонный звонок.

— Простите, вас беспокоит Мурашев.

Бывает же так. Вы ищете встречи с человеком, пытаетесь разузнать, где он. И вдруг этот человек сам, неожиданно для вас дает о себе знать. Словно ему кто-то сообщает, что он вам очень нужен...

Я чуть не выронил от радости трубку, а Михаил Павлович продолжал:

— Я прочитал вашу работу о Есенине

в альманахе «Литературная Рязань» и решил вас разыскать.

После «телефонного знакомства» условились о встрече. Оказалось, что мы почти соседи.

На другой день я был у Михаила Павловича, в его старой московской квартире. Радушный хозяин дома показал мне книги с автографами поэта, рукописи его стихов, письма, фотографии.

«Первому из первых друзей
моих, города Питера...»

— Как я познакомился с Есениным? Вы знаете, что первый, к кому отправился Сергей Есенин, приехав в марте тысяча девятьсот пятнадцатого года в Петроград, был Александр Блок. Он направил Есенина к Городецкому, а также и ко мне. В то время я ходил в «крестьянских» писателях. Был связан с редакциями ряда журналов, где встречался с Блоком. В записке, переданной мне Есениным, Блок писал:

«Дорогой Михаил Павлович! Направляю к Вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и Вы лучше, чем кто-либо, поймете его. Ваш А. Блок». Внизу была приписка: «Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к С. М. (Городецкому.— Ю. П.). Посмотрите и сделайте все, что возможно. А. Б.».

После первого знакомства с Мурашевым Есенин стал бывать у Михаила Павловича.

Из других источников известно, что первое время в Петрограде Есенину жить было нелегко. Не было денег, не было своего жилья. Приходилось ночевать где придется. Позднее, в августе 1916 года, он писал в Москву, одному из своих товарищей, об этом времени: «В то время я голодал, как может быть никогда, мне

приходилось питаться на 3—2 коп., тогда когда вокруг, около меня, поднялся шум, когда мережковские, гиппиусы и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог перепечатать стихи уже употребленные...»

Временами Есенин жил у Мурашева. Здесь ему всегда были рады, относились дружески. С Мурашевым он мог посоветоваться по своим литературным делам, зная, что всегда получит искреннюю поддержку и помощь. Позднее Есенин всегда с благодарностью вспоминал об этом.

«Первому из первых друзей моих, города Питера, Мише Мурашеву. Любящий Сергей, 1920 г.», — прочел я на одном из сборников стихов Есенина, подаренных им в свое время М. П. Мурашеву.

«В этот памятный вечер, — вспоминает Михаил Павлович, — Сергей был весел и в то же время спокоен и трезв. Много говорили мы о первых годах нашего знакомства, что и послужило мотивом для его надписи на сборнике... Вышли из кафе «Домино» очень поздно. Была теплая тихая ночь. Есенин пошел меня провожать. В разговорах незаметно дошли до дома.»

«Первому из первых друзей...» Немногим Есенин смог бы так написать. Среди «чужого и хохочущего сброда», который часто окружал поэта в Петрограде, истинных друзей было мало.

Автографы Есенина и другие материалы, находящиеся в архиве М. П. Мурашева, дополняют, расширяют наше представление о жизни поэта в Петрограде.

Крестьянский сын

Вскоре после издания первой книги Есенина «Радуница» и появления ряда отзывов о ней в печати Михаил Павлович Мурашев получил письмо от С. А. Венгорова, составителя энциклопедического словаря писателей. «Зная, что Есенин часто бывает у меня, — рассказывал М. П. Мурашев, — Семен Афанасьевич просил передать молодому поэту, чтобы он прислал ему свою краткую ав-

тобиографию. Я сообщил Есенину об этом. Он начал писать ее у меня на квартире».

В бумагах М. П. Мурашева сохранился лист с первоначальными набросками Есениным своей автобиографической заметки для словаря. Тексты их публикуются впервые.

«Родился в 1895 г. 21 сентября», — начал Есенин, а затем с новой строки написал:

«...Крестьянин села Константинова Кузьминской волости Рязанского уезда и губ. Родился в 1895 году 21 сентября, — сразу подчеркнув свое крестьянское первородство. — Окончил учительскую школу. Учителем работать не пришлось...»

«Крестьянин» — слово это требовало некоторого уточнения. Семнадцати лет, окончив Спас-Клепиковскую церковно-учительскую школу, Есенин едет в Москву, где работает в типографии Сытина, занимается в народном университете им. Шанявского.

Так на этом же листе появляется еще одно начало автобиографии:

«Есенин Сергей Александрович, сын крестьянина Рязанской губернии и уезда, села Константинова, Кузьминской волости. Родился в 1895 г. 21 сентября...» Позднее он скажет в стихах:

У меня отец — крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын.

Далее молодой поэт рассказывал о себе, в этой по существу его первой краткой автобиографии:

«...Образование получил в учительской школе и два года слушал лекции в университете Шанявского. Стихи начал писать с 8 лет. Печататься начал 18 лет. Книга вышла через год, как появились стихи, под названием «Радуница» изд. Аверьянова 1916 года».

Чудесное стихотворение Блока

Как мы видим, в этой краткой автобиографической заметке Есенин еще не говорит о своем первом приходе к Блоку, не упоминает имен Городецкого, Клюева. Все это будет позднее. Сейчас

они были здесь рядом, в Петрограде. Он встречался с ними, выступал вместе на литературных вечерах, печатался в журналах. Более других он прислушивался к советам Блока. Позднее он говорил одному начинающему поэту: «Вот меня, например, учил писать лирические стихи Блок... Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, — говорил мне Блок, — идеальная мера лирического стихотворения двадцать строк».

По праву старшего Блок предостерегал Есенина от опрометчивых шагов, подчеркивая при этом, что «за каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ...»

М. П. Мурашев был свидетелем ряда встреч двух поэтов. Бывали они и в его доме. Рассказывая об этом, он достал с полки старинный альбом. Раскрыв его на одной из страниц, я увидел автограф есенинского стихотворения «Слушай, поганое сердце...», написанного поэтом 3 июля 1916 года, а на другой — ответ Блока на это стихотворение Есенина — отрывок из его поэмы «Возмездие», строки которой на этот раз были обращены как бы непосредственно к молодому поэту:

Твой взгляд да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь — мир прекрасен.

Затем Михаил Павлович показал мне небольшое письмо-записку Есенина, относящееся, как он сказал, к концу 1916 года, где Есенин с восторгом отзывается о стихотворении Александра Блока.

Случилось так, что Есенин, зайдя к Мурашеву, не застал его у себя: домработница не передала Михаилу Павловичу, что звонил Есенин. В записке он советовал на это:

«Миша! Сей день по неволе у Давыдова, артиста, т. к. звонил тебе, но глупая ваша Днека (так Есенин звал домработницу Мурашевых — Дуняшу. — Ю. П.) говорит, что я не говорил ей своей фамилии. Пробеги ее. Твой Сергей...»

Записку Есенин положил на письменный стол Мурашева и собрался уходить, но задержался. Внимание его привлекли рукописи, которые он заметил на столе. Как оказалось, они были предназначены

для альманаха «Творчество», который в то время готовил к печати М. П. Мурашев. Среди других здесь был автограф нового стихотворения Блока. Есенин прочитал его. Оно ему очень понравилось. Взяв свою записку, он внизу ее написал:

«Ой, ой, какое чудесное стихотворение Блока.

Знаешь, оно как бы светит мне».

«Я очень люблю Блока», — не раз признавался он друзьям. К нему «только сначала подойти трудно». Это не мешало ему позднее внутренне спорить с Блоком, временами отходить от него, чтобы затем вновь вернуться к его стихам. В конце жизни он говорил Владимиру Чернявскому, близкому товарищу по петроградскому периоду: «Если бы у меня не было тебя... Клюева, Блока... что бы у меня осталось? Хрен да трубка, как у турецкого святого».

Последний раз он перечитывал стихи Блока незадолго до своей смерти.

Забота о друзьях

Едва встав на ноги, Есенин сам стремился оказать помощь своим новым друзьям — молодым питерским литераторам. «Есенин, — замечает по этому поводу М. П. Мурашев, — не только читал мне свои новые стихи (некоторые из них были написаны им у меня), но и приносил ко мне рукописи своих товарищей, с просьбой где-либо их пристроить. Это не всегда удавалось. Не смог я, в частности, тогда быстро «продвинуть» в один из журналов и рукопись Чернявского, что, как видно из письма, очень огорчило Есенина». Вот текст этого письма (печатается впервые):

«Дорогой Миша!

Заглядывал к тебе Есенин и скорбно повернул обратно. Дело в том, что Чернявскому очень нужна его рукопись. У него умер в семье старший брат. Сейчас ему нужны деньги и он хочет статью эту напечатать.

Сергей.

Скоро зайду».

«Радуница» и «Страда»

Веселый, шумный прибежал Сергей Есенин в это обыкновенное февральское утро к Мурашеву. Лицо светилось радостью. Не терпелось побыстрее показать другу свое первое детище — сборник стихов «Радуница». Давно ли заключил соглашение с издателем М. В. Аверьяновым, в котором говорилось: «1915 года, ноября 16 дня продал Михаилу Васильевичу Аверьянову в полную собственность право первых изданий в количестве трех тысяч экземпляров моей книги стихов «Радуница» на сумму сто двадцать пять рублей...» А сейчас он держал в руках авторские экземпляры своей книги, пахнувшие еще типографской краской.

На «Радунице», подаренной в тот день М. П. Мурашеву, он написал:

«Другу славных дел о Руси «Страде великой», Михаилу Павловичу Мурашеву на добрую память.

Сергей Есенин 4 февраля 1916 г. Петроград».

— И книга и надпись эта мне многое напоминают, — заметил Михаил Павлович.

Вместе с С. М. Городецким и Г. В. Ключковым М. П. Мурашев был учредителем литературно-художественного общества «Страда», живое участие в создании которого принимал Есенин.

17 октября 1915 года у С. М. Городецкого состоялось учредительное собрание членов общества. Есенин был на этом собрании. Первоначально планы были большие. В уставе «Страды» говорилось: «Общество имеет целью всестороннее содействие развитию и процветанию народной литературы и распространение ее художественных образцов...»

Для достижения означенной цели общество имеет право... издавать книги, журналы, газеты, народные картины, устраивать публичные собрания, лекции, концерты, спектакли...»

«Есенин, — вспоминает М. П. Мурашев, — развивал идею по созданию крестьянского журнала, хотел вести отдел «Деревня», чтобы познакомить читателя с тем, как он живет, чем болеет.

— Я бы стал писать статьи, — говорил Есенин, — и такие статьи, что всем чертам было бы тошно!

Журнал организовать нам не удалось, но сборник собрали скоро. Сергей поместил в нем стихотворение «Теплый вечер», которое только что привез из деревни».

Было проведено несколько литературных вечеров «Страды». Один из них посвятили творчеству Есенина и Ключева. Сохранилась листовка — извещение об этом вечере. В ней говорилось:

«Совет литературно-художественного общества «Страда» приглашает Вас на закрытый вечер, посвященный произведениям народных поэтов Н. А. Ключева и С. А. Есенина, имеющий быть в четверг 10 декабря 1915 года в 8 час. вечера, в помещении О-ва «Страда», Серпуховская, 10 (Зал Т-ва Гражданск. инженеров)».

Далее приводилась программа вечера:

«1. Слово «Страды» о народных поэтах Н. А. Ключеве и С. А. Есенине.

Прочтет А. И. Ясинский.

2. Н. А. Ключев }
3. С. А. Есенин } прочтут свои стихи

4. «Русские песни» исполнит хор гусяров под управлением Н. Н. Голосова.

5. Л. А. Арсеньева }
6. В. В. Игнатов } артисты Малого театра прочтут стихотворения Н. Ключева и С. Есенина

7. В. К. Устругова

Русские сказки и стихотворения Н. А. Ключева».

По существу, это был первый творческий вечер Сергея Есенина. В ту пору ему было двадцать лет!

К сожалению, задуманное издание книг, газет, широкое проведение публичных лекций, концертов осуществить не удалось. Сказались материальные и иные

затруднения. Вскоре «Страды» не стало. Но те беседы, горячие споры, те мечты о народной литературе, которые всплывали в «Страде», оставили свой добрый след в душе молодого рязанского поэта.

«Завтра призываюсь...»

Впервые Сергей Есенин призывался в армию у себя на родине, в Рязани, летом 1915 года. Тогда он получил временную отсрочку. «От военной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли», — сообщал он в письме из Константинова в Петроград В. С. Чернявскому. После отсрочки Есенин призывался в Петрограде. В воспоминаниях двадцать шестого года М. П. Мурашев рассказывает, какое участие принял он в это время в судьбе поэта.

Значительно позднее в своем архиве Михаил Павлович обнаружил автограф письма Есенина, в котором поэт писал:

«Дорогой Миша
Заходил и не застал тебя
Завтра призываюсь.

Сергей».

«Было это 17 марта 1916 года. Я хорошо помню. Это точная дата», — подчеркивал М. П. Мурашев. В подтверждение своих слов он показал мне другой автограф Есенина. Он был под портретом поэта, который Есенин подарил, уходя в армию, М. П. Мурашеву.

«Перед уходом в армию, — вспоминает Михаил Павлович, — Сергей принес мне на сохранение свои рукописи, а черновые наброски на моих бланках передал мне со словами:

— Возьми эти наброски, они творились за твоим столом, пусть у тебя и остаются...

После обеда, когда перешли в кабинет, он прочел несколько новых стихотворений и в заключение принес мне свой портрет, написав на нем:

«Дорогой дружище Миша,
Ты, как вихрь, а я, как замать:
Сбереги под тихой крышей
Обо мне любовь и память.

Сергей Есенин. 1916 г., 15 марта».

Эти автографы и комментарии к ним М. П. Мурашева позволяют более точно определить дату призыва Сергея Есенина на военную службу, чем это было в литературе о поэте до сих пор.

Корзинка с рукописями

Когда Есенин служил санитаром в одном из царскосельских лазаретов, расположенном в Федоровском городке, М. П. Мурашев бывал у него в Царском Селе. Радостно встречал его Есенин в своей маленькой комнатке, где он жил вместе с тремя солдатами-санитарами.

Когда же он сам попадал в Петроград, то старался хоть ненадолго заглянуть к Мурашеву, и если не заставал его дома, то оставлял обычно короткие письма или записки. Вот один из таких есенинских автографов:

«Дорогой Миша!
Ау!

Еду в Крым (с поездом). В мае ворочусь. Живи, чтобы всем чертям было тошно, и поминай меня. Что-нибудь для тебя покапаю там. Поезд сегодня уходит в 6 ч.

Серезжа».

— В этом небольшом своем послании ко мне, — рассказал М. П. Мурашев, — Есенин сообщал мне о своей первой поездке санитаром с полевым царскосельским военно-санитарным поездом.

Иногда Есенин обращался с просьбами к М. П. Мурашеву через своих товарищей — солдат. Так, в сентябре 1916 года он прислал Михаилу Мурашеву с солдатом, с которым вместе служил в госпитале, письмо. В нем Есенин просит Мурашева разыскать и забрать у Ключева его корзинку с личными вещами и рукописями.

«Друг Мишель, выручи, пожалуйста, из беды. В Петроград меня ни за что,

по-видимому, не пустят, а корзинку мне так хочется к тебе пристроить, прямо-таки слов нет. Поезжай или сходи к Ключевым и скажи, что так, мол, и так, его не пускают и не пустят, поэтому она ему нужна (сиречь корзинка та). Ключ я оставил или в замке, или у них на окне. Свободен будешь, заедь на минутку, уж мы давно, кажись, не виделись и не мешало бы поговорить, а поговорить есть кой о чем... Кланяется твоим портретам, которые я так люблю, граммофону и музыкальным моментам

Друг твой
М а н д а л и н а
и если хочешь, пожалуй, он и Сергей
Е с е н и н».

— В кабинете у меня были портреты Блока, Куприна с их автографами и другие. Им-то и «кланяется» Есенин,— заметил М. П. Мурашев.

— А граммофон? — поинтересовался я.

— Я был не очень большой поклонник граммофона, но Есенин говорил, что иногда на концерт не попадешь, а музыку послушать хочется. Тогда по его предложению мы пошли и купили граммофон и пластинки. Есенин очень любил слушать «Музыкальный момент» Шуберта.

Билеты в «Кривое зеркало»

Есенин и театр. Эта тема ждет еще своего исследователя. Каждый новый факт здесь представляет интерес. Однажды Есенин и Мурашев собрались в театр «Кривое зеркало». Михаил Павлович попросил Есенина купить билеты. Последний приобрел в кассе театра билеты и прислал Мурашеву, написав следующую записку:

«Дорогой Миша!
Посылаю билет, но извини,
что не мог зайти к тебе.
Занят по горло, а телефон твой
не работает.

Любящий тебя
Сергей».

— Во время спектакля,— вспоминает Мурашев,— Есенин был очень весел и от души смеялся.

«Это мы с тобой»

С волнением, подолгу держал я в руках автографы поэта, редкие издания его книг, все больше убеждаясь, что каждая из этих дорогих реликвий имеет свою примечательную историю. В те памятные дни 1956 года я стал часто бывать у Михаила Павловича Мурашева. Он передал мне фотокопии рукописей Есенина, подарил фотографии, на одной он снят вместе с поэтом. Каждый раз я узнавал от него что-либо новое, все больше убеждаясь, какой это был большой и настоящий друг Есенина.

В одну из наших последних встреч, когда Михаил Павлович был уже тяжело болен, он показал мне рисунок: у обрыва две березки; одна побольше, другая поменьше; стоят они тихо, о чем-то задумавшись. А вверху крупно: «Это мы с тобой», чуть ниже: «С. Е.».

За несколько дней до отъезда в Ленинград, в декабре 1925 года, Сергей Есенин зашел к Мурашеву. Был он чем-то удручен. Чтобы как-то отвлечь его от невеселых дум, последний достал из шкафа свои старые альбомы и книги с автографами.

— Я знал,— вспоминает Михаил Павлович,— Есенин любил рассматривать мои альбомы, при этом он всегда оживленно вспоминал свой приезд в Питер, Блока, наши встречи. В этот раз, перелистывая знакомые страницы, он подолгу молчал. Я, не желая ему мешать, по старой своей привычке, стал рисовать большим пером и чернилами. Сам не знаю, почему-то нарисовал я обрыв, две березки. Когда Есенин увидел этот рисунок, он взял карандаш и написал: «Это мы с тобой». Немного помолчал после этого и попросил неожиданно проводить его.

Так они расстались.

Вскоре неповторимая, могучая поэтическая береза России рухнула в Ленинграде с обрыва жизни.

Другая, что была верным и добрым спутником, долго еще стояла одиноко...

Летом пятьдесят восьмого года, вместе с родными и друзьями, я проводил Михаила Павловича в последний путь.

Не стало и второй березки...

ВСТРЕЧИ

В

МАСТЕРСКОЙ

Тлубокая осень. Москва 1917 года. Революция Великого Октября победоносно завершает свои дела. Умолкают последние залпы орудий с Ходынского поля по Александровскому юнкерскому училищу на Арбатской площади. Я слышу характерный звук снарядов, пролетающих через мою студию.

А повсюду музыка и пение. Народ празднует победу: всеобщее ликование, торжествующая радость, большое веселье.

У себя в мастерской на Пресне я открываю выставку своих работ: их около пятидесяти. Мой помощник и друг, дядя Григорий, занят последними приготовлениями к вернисажу. Он в белом фартуке, с метлой в руках посыпает дорожки, подметает и ровняет песок. Большое красное знамя у входа в студию. Народ идет — дядя Григорий всех радостно встречает.

В первый же день на выставке появился Есенин. Голубые глаза, волосы цвета спелой ржи, стройный, легкая походка и живой вид. Я стою и люблюсь им, и мне кажется, что мы с ним знакомы давно-давно.

А народ валом валит в студию. Народ новый: взволнованный, интересующийся. Вся Пресня здесь. Целые фабрики пришли. Рассматривают, дают свои суждения, спрашивают.

Скрипач Сибор у статуи Паганини исполняет лучшие произведения гениального итальянца. Растроганный музыкой Сережа Есенин встает на стул, высоко подняв руку, выразительно жестикулирует. Он читает новые стихи — все замерли, слушают.

Звени, звени, золотая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!

С тех пор Есенин частый посетитель моей студии. Он читает все новые и новые стихи, подолгу говорит со мной, спрашивает. Я делаю с него рисунки, вырубая из дерева его портрет.

Время летит незаметно. Почти всегда с Есениным Сергей Клычков. Он не радуется на талант Сергея Есенина и тотчас знакомит меня со всем новым, что вышло из-под пера друга.

Получен ответственный заказ — я работаю над мемориальной доской в память павших Героев Революции. Поэты Есенин, Клычков и Герасимов пишут кантату, которая будет исполнена в день открытия мемориальной доски. Музыка сочиняет композитор Иван Шведов. Помню, как торжественно, величаво прозвучали строки, написанные Есениным:

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

Однажды Сергей Александрович появился у меня в мастерской с Айседорой Дункан. Она предлагала поэту поехать в Европу, побывать в Америке. Из этой поездки Есенин возвратился неудовлетворенный. И Европа и Америка ему не понравились. Было ясно, что никогда он не полюбит любой другой страны и до последнего часа будет «всем существом в поэте» воспевать «шестую часть земли с названием кратким «Русь».

Вернувшись из Америки, Есенин зашел ко мне и прямо спросил, «каково он выглядит». Дядя Григорий коротко ему ответил: «Побурел». Есенин рассмеялся.

Вскоре с выставкой картин и скульптур русских художников и я отправился в Америку. Хлопот, связанных с выставкой, заказов было столько, что я не заметил, как прошло пять лет. Устав от американской колготы, отправился в Италию. В Сорренто довелось мне встретиться с Горьким. Я лепил его портрет. Во время сеансов мы беспрестанно разговаривали, конечно о России. Вспомнили Есенина. А вскоре пришла печальная весть о Есенине. Беда случилась и с титаном Маяковским, который раньше осудил слабость Есенина. Эти факты ныне принадлежат истории. Важно, что два великих русских поэта Маяковский и Есенин остались верными возвышенной идее Ленина и прославили в своих произведениях приход новой эры, проникновенно показав кровную связь революции и народа.

«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Есенин говорит, что «партия и после смерти Ленина еще упорнее творит свои дела», поэт горд сознанием того, что «сумрачной порою одними чувствами я с ним дышал и жил».

Маяковский и Есенин — два характера, два больших поэта эпохи. Маяковский шел вперед и увлекал за собой других («Кто там шагает правой?левой, левой, левой»), Есенин воспел Русь так, как никто до него, со всей несказанной поэтичностью ее природы и жизни, со всей ее патриархальностью и пережит-

ками. И он навеки вошел в духовный мир миллионов своих сограждан.

Это был крупный, красивый человек. Его внешность, его стихи еще тогда, при жизни Сергея Александровича, казались мне явлением под стать Шаялину. Он был обаятельнейшим человеком — таким я стремился запечатлеть его облик в памяти и скульптурных работах.

Прошло время, и сняты бесчисленные напластования легенд и сплетен, вязким илом окружающие имя Есенина. Отныне и навсегда золотые россыпи его поэзии принадлежат каждому гражданину его родной России, всем, всем, всем.

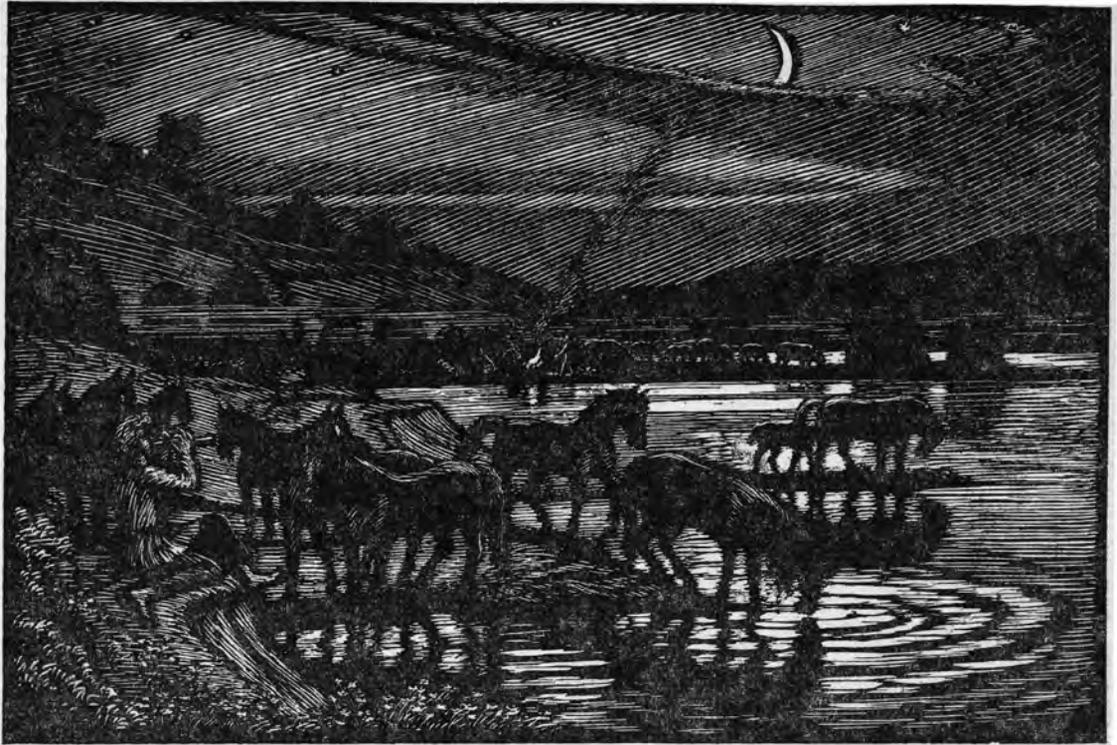
Все, что связано с именем Сергея Александровича Есенина, дорого нам, это наши общенациональные святыни. Думая о солнечном даре Пушкина, я невольно прихожу в мыслях к Есенину.

Он был великим патриотом и звонкозвучным певцом народа, он говорил, что Русь предпочитает раю.

Но ему досталась нелегкая доля. Не мог он до конца понять свое время и оттого жестоко мучился.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не
нужен.

Какая боль, какая поэтическая страсть в горьком раздумье поэта, как радостно сознавать, что его поэзия очень, очень нужна строителям нового мира, горячо любима народом, глубоко почитается в каждом уголке Великой земли — Россия.



Борис Бобович

НАЧАЛО

ЭДУАРДА

БАГРИЦКОГО

В советские годы мы привыкли к частым выступлениям поэтов на концертных эстрадах, в клубах, на площадях, перед голубым телеэкраном, по радио. Выступления поэтов, молодых или более опытных, неизменно пользуются в нашей стране вниманием, вызывают интерес, споры, столкновения страстей, одобрение, критические замечания. Пятьдесят лет назад все обстояло иначе.

И я вспоминаю... Происходило это в Одессе, жарким летом 1914 года. Я жил с родителями на 12-й станции Среднего Фонтана, готовился к переэкзаменовке по алгебре, а чаще всего зачитывался Блоком, бегал к морю, купался, катался на ялике и втихомолку писал стихи.

В Одессе хорошо знали Петра Моисеевича Пильского, способного журналиста, интересного критика, обладавшего острым и наблюдательным пером.

Пильский и был инициатором первых вечеров поэтов в Одессе. Первый вечер состоялся в курзале Хаджибеевского лимана. Я в нем не участвовал, но сохранил воспоминание о втором вечере, состоявшемся спустя некоторое время в

театре Большого Фонтана на 16-й станции.

Был душный предгрозовый вечер. С запада шли облака. Кругом было тихо и немного печально. Деревья стояли в тяжком и сторожком оцепенении. Не доносилось ни звука, ни голоса, ни лая собач, ни шепота травы.

Вдруг мимо промелькнула чья-то тополивая тень, и через секунду в комнату ввалился Багрицкий. Задыхаясь, он сообщил мне, что на завтра назначен вечер молодых поэтов на Большом Фонтане и что мы с ним должны участвовать. При этом он добавил, что в «городе уже развешаны афиши».

Багрицкий был очень серьезен и к предстоящему выступлению отнесся с подлинной художественной взыскательностью.

Эдуард остался у нас ночевать. Ночью разразилась гроза, и при свете молний я видел, как, заложив руки под голову, он не спит и про себя чему-то своему улыбается.

— Знаешь, — сказал Эдуард, — во время грозы должно хорошо писаться...

Замолчал, а затем прибавил:

— Конечно, тому, кто вообще хорошо пишет...

Весь следующий день Багрицкий провел в блужданиях по аллеям дачи, готовясь к предстоящему большефонтанскому вечеру. Держась за сучок дерева, он то громко декламировал, то, оставив свою тетрадь на скамье, срывался с места и, задрав голову, следил за купами деревьев, в которых копошились, попрыгивали и верещали столь знакомые ему пернатые... Потом снова садился, что-то все черкал, выписывал в тетрадь, видимо вспоминая отдельные строки или строфы, вновь и вновь повторяя стихи. И уже тогда передо мной как нечто зримое и совершенно достоверное открылась его одержимость поэзией, и притом глубоко серьезное, требовательное отношение к своему творчеству — черта, которая впоследствии всю жизнь столь характерна была для нашего замечательного поэта.

В конце дня, перед самым нашим уходом, возник вопрос о костюме. Дело в том, что на Багрицком была одежда, не слишком-то подходящая для публичных выступлений: нескладная холщовая ру-

баха с открытым воротом, туго втянутая в необъятных размеров штаны неопределенного цвета — не то светло-зеленые, не то голубовато-желтые, да притом еще с солидной заплатой чуть повыше колени. На выручку пришел мой отец, и вскоре на плечах Багрицкого красовался люстриновый пиджак. Голую крепкую грудь юноши облегла круто накрахмаленная, ломкая, почти звенящая манишка. А для общего антуража — на шею пышный, небрежно распушенный самовяз и на голове широкополое сомбреро.

Я был одет в подобном же роде, и мы двинулись в путь. Когда мы подходили к театру на Большом Фонтане, над омытой недавним дождем зеленью дач стоял светлый вечерний сумрак, публика гуляла между клумбами перед театром, и никто не обратил внимания на то, что «прибыли поэты».

Мы прошли за кулисы, где, поглядывая поверх пенсне, нас встретил мрачный и чем-то раздраженный Петр Пильский.

— Почему же, щенята, так поздно? — вместо приветствия спросил он нас, хотя до начала было еще довольно далеко.

Потом, не вынимая рук из карманов, он локтем указал на меня:

— А что это за писатель? Тебя я знаю, ты — Багрицкий, а как его звать?

За кулисами мы встретили Валентина Катаева, который, покуривая, сидел на куске старой декорации и, видимо, немножко волновался. Пильский мигом выпустил всех нас на сцену. Шесть или семь человек расселись в мягких плюшевых креслах, Пильский стоял за круглым столом зеленого цвета, вроде тех, что бывают в приемных фотографов или зубных врачей, и повелительным тоном представлял каждого из нас, после чего мы поднимались и, стоя возле кресла, прочитывали «положенное» количество стихов. Так читала Ада Владимировна, так прочел я и другие наши товарищи. Помню превосходную лирику Валентина Катаева и шумный успех, выпавший на его долю. Зорко и доброжелательно

Эдуард следил за своими друзьями. Но вот объявляется имя еще мало кому известного Эдуарда Багрицкого. Он оставляет кресло, размашистым шагом, чуть наклонив голову набок, выходит к рампе и читает. Он оглушает публику кипящим потоком образов, молодым буйством вдохновенья.

Нам с башен рыдали
церковные звоны,
Мы воздух чертили
ударами шпаг...

Он режет воздух своей большой решительной рукой. Он читает о корсарах, читает «Пристань», «Креолку», в его стихах этого периода, наряду с явными реминисценциями поэзии Гумилева, Брюсова, Эредиа, Готье, Верлена, уже пробиваются черты самостоятельных раздумий и порываний... И все это ярко, широко, вдохновенно, все это так импонирует, так понятно собравшейся здесь экспансивной одесской молодежи.

В зале душно. Пот змейками бежит по лицу Эдуарда. Публика наэлектризована, и вдруг, как обвал, рушатся грохот, крики, гром аплодисментов... Слышится настойчивое: «Еще! Еще прочтите!»

Багрицкий смущенно и словно бы виновато улыбается, вытирает платком лицо и не знает, куда ему деваться...

— В чем дело? — совершенно растерянно спрашивает он окружающих. Но в этот момент на сцену вваливается молодежь, ему жмут руки, просят переписать, продиктовать, добиваются адреса.

Так вырывалась наружу, заявляя о себе, сила обаятельного поэтического дарования Эдуарда Багрицкого. Но, разумеется, это была лишь слабая, едва приметная тень того признания, которое пришло к поэту впоследствии, когда, после Октябрьской революции, талант его развернулся во всю свою свободную творческую ширь.

В этом году ему исполнилось бы семьдесят лет...

Николай Заболоцкий

В ЖИЛИЩАХ НАШИХ

В жилищах наших
Мы тут живем умно и некрасиво,
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей
В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,
Как бы в короны спрятали глаза,
И детских рук изломанная прелесть,
Одетая в кисейные листы,
Еще плодов удобных не наелась
И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады
Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —
Деревьев влажное дыханье.
Вон дровосеки, позабыв топор,
Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.
Кто знает, что подумали они,
Что вспомнили и что открыли,
Зачем, прижав к холодному стволу
Свое лицо, неудержимо плачут.

Вот мы нашли поляну молодую,
Мы встали в разные углы,
Мы стали тоньше. Головы растут,
И небо приближается навстречу.
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно дервенеют веки,
И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки.
Глаза закрылись, времена отпали,
И солнце ласково коснулось головы.
В ногах проходят влажные валы.
Уж влага поднимается, струится
И омывает лиственные лица:
Земля ласкает детище свое.
А вдалеке над городом дымится
Густое фонарей копье.

Был город осликом, четырехстенным
домом,

На двух колесах из камней
Он ехал в горизонте плотном,
Сухие трубы накрены.
Был светлый день. Пустые облака,
Как пузыри морщинистые, вылетали.
Был ветер, огибая лес.
И мы стояли, тонкие деревья,
В бесцветной пустоте небес.

1926

ЗВЕЗДЫ, РОЗЫ И КВАДРАТЫ

Звезды, розы и квадраты,
Стрелы северного сиянья,
Тонки, круглы, полосаты,
Осеняли наши зданья.
Осеняли наши дома,
Жезлы, кубки и колеса.
В чердаках визжали кошки,
Грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
В небо бегала напрасно:
Все квадраты улетали,

Исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
Между солнцем и луною
В дырке облака сидела,
Во все горло песню пела:
«Вы не вейтесь, звезды, розы,
Улетайте, жезлы, кубки,—
Между солнцем и луною
Бродит солнце за горами!»

1930

ВОПРОСЫ К МОРЮ

Хочу у моря я спросить,
Для чего оно кипит?
Пук травы зачем висит,
Между волн его сокрыт?
Это множество воды
Очень дух смущает мой.
Лучше б выросли сады
Там, где слышен моря вой.
Лучше б тут стояли хаты
И полезные растенья,
Звери бегали б рогаты
Для крестьян увеселенья.
Лучше бы руду копать
Там, где моря видим гладь,
Сани делать, башни строить,
Волка пулей беспокоить,
Разводить медикаменты,
Кукурузу молотить,
Деве розовые ленты
В виде опыта дарить.
В хороводе бы скакать,
Змея под вечер пускать
И дневные впечатленья
В свою книжечку писать.

1930

Игорь Поступальский

СВЕТЛОВ НА ЧЕШСКОМ

Читая с необходимой внимательностью или просто просматривая накопившиеся у меня зарубежные переводы лирики покойного Михаила Светлова (тут и бесчисленные переводы отдельных стихотворений, опубликованные в периодике, и ряд книжных изданий), в который раз задумываясь над определенной и давнишней недооценкой нами этой известности поэта за рубежом (ведь не только одна «Гренада» без малого сорок лет звучит на языках самых различных народов земли!), задумываясь с тем большим основанием, что сам я в конце 20-х — начале 30-х годов неоднократно писал о светловской поэзии (в журналах «Красная новь» и «Звезда», в критическом сборнике «Молодая поэзия» и т. д.), — я снова и снова останавливаюсь на чешском издании. Хотя эта книга вышла сравнительно давно, она, безусловно, заслуживает того, чтобы и теперь сказать теплое слово благодарности ее чешскому создателю. Быть может, это даже необходимо, поскольку примечательная работа Яна Забраны не получила у нас критического отклика своевременно. К тому же не остывшее еще чувство горя после утраты одного из наших лучших поэтов обязывает нас начать изучение рецепции его творчества в зарубежных странах.

В современной чешской литературе у Яна Забраны репутация установившаяся. Это и оригинальный поэт (правда, еще не издавший отдельной книги стихов), и сложившийся мастер поэтиче-

ского перевода (русская, преимущественно советская, поэзия, поэты французские и англо-американские и т. д.), и отличный переводчик русской прозы (Бунин, Бабель и др.). Не последнее место среди этих работ Яна Забраны занимает его перевод лирики Михаила Светлова. Эта книга — результат довольно долгой, напряженной и, надо думать, радостной работы Яна Забраны как поэта-переводчика.

Хотя книга и не слишком велика по объему — включая статью о творчестве Михаила Светлова, написанную одним из чешских критиков (Владимиром Досталом), она содержит всего 116 страниц, — стараниями Яна Забраны чешские поклонники русской поэзии получили в свое распоряжение почти все главные светловские лирические произведения.

Стихотворения, расположенные в хронологическом порядке, охватывают более чем тридцатилетний период творчества поэта. Выбор, безусловно, удачен («Нэпман», «Рабфаковке», «Гренада», «Я в жизни ни разу не был в таверне», «В разведке», «Живые герои», «Еврей-земледелец», «Старушка», «Лирический управдел», «Песня о Каховке», «Итальянец» и пр.).

Перевод осуществлен большей частью стих в стих, то есть почти с академическим усердием. Но при этом Ян Забрана уделяет равномерное внимание и всем другим сторонам переводимых текстов. Даже читая эту книгу повторно и, следовательно, с некоторой неизбежной придирчивостью, то и дело дивишься вдумчивости, с которой чешский поэт решал стоявшие перед ним задачи не только чисто технического свойства (например, при воспроизведении свойственных Михаилу Светлову намеренных прозаизмов, его острот и т. п.).

Эту заметку о чешском переводе лирики Михаила Светлова, о книге, которая по какой-то досадной случайности не получила у нас своевременного отклика, следует закончить прямым пожеланием: пусть рассмотренные отличные переводы Яна Забраны (и Эммануила Фрынты), в переизданиях и с необходимыми дополнениями, еще не раз попадут в руки чешских поклонников русской советской поэзии.

Михаил Светлов

* * *

Все мне кажется, что я молод,
Что стою накануне дня,
Все мне кажется — конь и молот
Богом созданы для меня.

Я лечу, и несутся искры
От подков по глуши степной.
Юность, юность! Ведь ты не близко!
Юность, юность! Побудь со мной!

Я кую, и несутся искры
В окружающий полумрак...
Юность, юность! Ведь ты не близко?
Я состарился? Разве так?

Дай-ка всех друзей озадачим!
Пусть могила недалеко, —
Я несусь на коне горячем,
Тяжкий молот в моей руке!

* * *

Выйди замуж за старика,
Час последний — он недалек.
Жизни взбалмошная река
Превращается в ручеек.

Даже рифмы выдумывать лень,
Вместо страсти и ожиданий,
Разукрашен завтрашний день
Светляками воспоминаний.

Выйди замуж за старика!
За меня! Вот какой урод!
Не везде река глубока —
Перейди меня тихо вброд.

Там на маленьком берегу,
Где закат над плакучей ивой,
Я остатки снов берегу,
Чтобы сделать тебя счастливой.

Так и не было, хоть убей,
Хоть с ума сойди от бессилья,
Ни воркующих голубей,
Ни орлов, распластавших крылья.

1962

* * *

Дети нищих! Вы помните, в складчину
Мы купили у грека халву!
Это вами, вами назначенный,
Я — поэт. И вот так живу.

Дети нищих! Многие, многие
Были вы не во сне, наяву,
Не во имя идеологии,
А во имя вас я живу!

Дети русские, дети Индии,
Дети всех континентов и стран!
Я состарился, но не заиңдевел,
Как рассветный теплый туман...

Вспоминая мечты свои детские,
Старики признаться должны:
Мы советские, старосветские
Люди лучшей гражданской войны.

НЕГОДЯИ

Такая у него была порода,
Таким он негодяем был,
Его всегда, в любое время года,
Сам Иисус Христос по морде бил.

Я у него вторые сутки дома,
Давай, хозяин, щедро угощай,
Не только что, мы сорок лет знакомы,
Ты — собственность моя, мой негодяй!

Все в юности произошло когда-то,
Всем незаметный, мне заметный след.
С юнцами говорить мне трудновато,
Ну, а тебя я знаю сорок лет.

Не выдержал ты с жизнью поединка,
Преувеличил человека власть...

И вспомнила холодная снежинка
О том, что теплой каплей родилась...

Я счастлив у поэзии во власти,
Она и я — принадлежим труду,
В мир разноцветных радуг, в царство
счастья

Я негодяя за руку веду.

Обоих нас бессмертье ожидает,
Я у суда пощады не молю...
Меня всегда читатель оправдает:
Не виноват я, что людей люблю.

Не знаю, был я трусом или смелым,
Не знаю — знаменит, не знаменит?
Когда родился я, листва шумела.
Она увяла? Нет, всегда шумит!

1962

Марк Соболев

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Свою последнюю книгу стихов Вероника Тушнова назвала «Сто часов счастья».

Это очень много — сто часов, если говорить о счастье всерьез, сознавая весомость и цену слова. Вероника *умела* быть счастливой. Была она подлинным, настоящим поэтом, и то ощущение радости, наполненности жизнью, которое пронизывает все ее стихи, захватывало нас и тоже делало счастливыми.

Она всегда и во всем существовала на пределе, на выстреле, ни в поступках, ни в стихах не зная полумер, неопределенности отношений, робости вдохновения. В годы войны ее любили раненые в том госпитале, где она служила сестрой милосердия. Я не напрасно называю именно так ее тогдашнюю долж-

ность — для всех нас, друзей и читателей, она всегда оставалась сестрой, и мужественное милосердие ее очень много помогло и помогает жить.

Лучшего друга, более верного и надежного, всегда готового подать руку в тяжкую минуту, я не знал и, наверное, уже не узнаю.

В ней как-то удивительно сочетались внешняя и душевная красота, поэзия строк и поэзия человеческого поведения.

Очень трудно все это писать именно сейчас, когда она только что ушла от нас. Может быть, лучше всего о Веронике говорят письма, которые она получала от читателей, всегда взволнованные и благодарные. Не знаю, кому из поэтов в очень личных письмах столько раз говорили «спасибо» и желали счастья. Не избалованная особым вниманием критики, она была одним из самых читаемых авторов, и весть о ее смерти очень больно ранила тысячи сердец.

Только что я перечитал ее последнюю книгу и могу с уверенностью и ответственностью сказать, что мы потеряли большого лирического поэта. В этой книге она высказалась так полно и открыто, на такой душевной обнаженности, как это дается очень немногим. «Сто часов счастья» читать порой грустно, — Вероника как бы предчувствует, что это последний разговор с нами, — но до чего же это жизнеутверждающая, да и просто жизнерадостная книга!

Очень хочется, чтобы эти стихи прочитало бы гораздо больше людей, чем та мизерная цифра, какой обозначен тираж книги.

Будут еще говорить и об этой книге и о других книжках Вероники Тушновой, много нужно, необходимо рассказать людям о ней самой — поэте, друге, человеке. Наверное, мы это сможем сделать тогда, когда хоть чуть притупится боль последнего прощания.



Мне без тебя не празднично,
не счастливо, не весело,
я никогда не думала,
чтоб жизнь так мало весила,
чтоб жизнь так мало стоила,
так медленно текла,
была такой пустою
без твоего тепла.
...А утро здесь лиловое,
румяное, скрипучее,
курчавятся над кровлями
дымки благополучия...
...А день просторный, белый,
как чаша молока,
и пахнут клюквой спелой
январские снега.
...А вечер нежный, мягкий,
серебряный, березовый,
для счастья предназначенный,
и прочь зачем-то вырванный,
разорванный и смятый,
как лист бумаги бросовый.

МОЛИТВА

Грязно-белое небо легло на крыши,
и подымается мгла, не тает.
И человек через силу дышит,
как рыба, липкий туман глотает.
Боюсь ненастной выюжной зимы я,
страшит меня осень —
темная, волглая...
Силы небесные и земные,
пощадите счастье мое недолгое!
Проясните небо над головою,
колеи размытые осушите,
подморозьте,
снегом припорошите,
или землю оденьте густой травой,

горячей от зноя,
душистой, терпкой,
чтоб по всему зеленому царству
пахло волшебной лесной аптекой,
в которой от всех болезней лекарства.
Силы небесные и земные!
Молю вас: развеите туман проклятый,
чтоб счастливыми стали глаза больные,
чтоб силы вернулись к душе крылатой.
Если год мне осталось прожить на свете,
возьмите за это себе полгода...
Только бы солнечная погода,
только бы свежий восточный ветер!

* * *

РОДНИК В ГУНИБЕ

Кто-то в проруби тонет.
Безлюдно, темно.
Глубь чернеет опасно, бездонно...
Кем ты станешь?
На выбор мгновенье одно.
Промедление смерти подобно.
Зал прокурен.
Уже замыкается круг.
Промолчать?
Против всех — неудобно...
Друг глядит на тебя,
он пока еще друг.
Промедление смерти подобно.
В дверь стучится любимая
ночью глухой:
— Я больна, голодна и бездомна...—
Как ты взглянешь?
Что скажешь ей?
Кто ты такой?
Промедление смерти подобно.

В звездной короне,
в солнечном нимбе,
черные горы,
синие горы...
Есть — говорили — родник
в Гунибе,
смывает усталость,
горе и годы.
У ног его — камни, гладкие глыбы.
Над ним — небосвода круглая чаша.
Вокруг — берез белоствольных чаша..
Любовь он дарует —
родник Гуниба.
И я повидала его однажды.
Умыла лицо.
Утолила жажду.
Меня обласкала его прохлада...
А другого мне
ничего не надо.

* * *

Быть чересчур доверчивым не надо.
Еще хватает в этом мире зла.
То лживости, то подлости засада,
то клеветы удар из-за угла.
Быть чересчур доверчивым рискованно.
Тебя зовут, — гляди, куда идешь.
Порой тебе такое уготовано, —
оступишься — костей не соберешь.
Ты не подвержен этому недугу.
Ты насторожен, как таежный зверь...
Как страшно жить, не доверяя другу.
Ну хоть кому-нибудь на свете верь!

* * *

Нам не случилось ссориться,—
я старалась во всем потрафить.
Тебе ни одной бессонницы
не пришлось на меня потратить.
Не добычею,
не наградою,—
была находкой простою,
оттого, наверно, не радую,
потому ничего не стою.
Только жизнь у меня короткая,
только твердо и горько верю:
не любил ты свою находку —
полюбишь потерю.

ПОСЛЕДНИМ РЕЙСОМ

Снег взялся крупный и густой,
лесов погасла позолота,
последний шлюз в простор пустой
раскрыл последние ворота.
Шел пароход в последний рейс,
но пароходу, как на горе,
волной пошло наперерез
седое Рыбинское море.
Он ничего не различал
в крутящейся метели белой
и все кричал, кричал, кричал,
растерянный и оробелый.
Мне парохода было жаль,
его я очень понимала
и тоже всматривалась в даль,
хоть это мало помогало.
Не капитан и не старпом,
из дружбы — не из чувства долга,
стояла я в снегу слепом
и в отсыревшей куртке дрогла.
Мне было совестно уйти
и завалиться спать в каюте.
Мы были — спутники в пути,
блуждали вместе в снежной мути,
я не могла помочь ему,
но я беду его делила,
и мне тепло на сердце было,
сама не знаю почему.

Евгений Поляков

Женя Поляков, студент Литературного института имени Горького, при жизни не напечатал ни одного стихотворения, хотя на занятиях творческого семинара Н. Н. Асеев, И. Л. Сельвинский и С. П. Щипачев сказали о его стихах немало добрых слов.

В 1941 году Женя добровольно ушел в ополчение. В конце 1942 года лейтенант Евгений Сергеевич Поляков пал

смертью храбрых в Сталинграде на территории Тракторного завода.

Перед отъездом в город на Волге молодой поэт оставил тоненькую тетрадку со своими стихами у преподавателя Литинститута, литературоведа Василия Семеновича Сидорина.

Вот несколько стихотворений из тетради, которая пережила своего хозяина...

В. Португалов



Если я останусь в живых
и сохраню все то, что намечал,
то я от капель дождевых
спать не буду по ночам.

Если я останусь здоров
и землю смогу отряхнуть с сапог,
то под каждой крышей —
мне отчий кров,
то под каждой крышей —
любимой порог.

1942



Крест-накрест
суета, уют
зачеркнуты в клетках окон,
и улицы одним намеком
повелевают,
и бойцы идут,
и у каждого жена молодая
смотрит в тьму,
и потому они
по фонарям гадают:
убьют, не убьют,
убьют, не убьют...

Кто жалуется на молодость свою?

Тихо.

На седьмом небе
с проклятьем самолет тербит
пространство.
Я с удовольствием сегодня б пьянствовал,
я в парке бы шатался налегке...

Кто жалуется на молодость свою?

Тихо.

Самолет пошел в пике.

О ЗВЕЗДАХ

Как горький черный кофе,
я пил предчувствие ночи
и не знал, придется ли
встретить еще раз свет,
и если я был растрепан,
и если я был всклокочен,
то это я был случайно
последней звездой задет.
Она упала,
и мало рассыпалось блеснок,
а те, что подмигивали мне
еще в Москве —
у Каменного моста,
померкли в синей трясине.
И небо раскинулось

в виде негра —
сплошная темень, —
хоть бы одно пятно,
и земля от траншей —
спина зебры,
и все это было — одно.
Только на горизонте
пара звезд
зоркость свою не утратили,
и как одна,
так и другая,
смотрели долго, не мигая,
мудро,
как глаза
матери.

ЕЩЕ О ЗВЕЗДАХ

Меня никто не провожал,
не согревал никто вагонного стекла,
когда луна, как лезвием ножа,
последний вздох мой
у горла пресекла.
И я остался не дыша —
один.
А может, нет.
Звезда еще одна, —
она заботлива, как мать,
и верить ли?
Кто мог сказать:
«Смотри, родной, не упади».
Я шапку снял
и встал на цыпочки,
чтоб видеть говорящую звезду,
а ветер взял и небо выпачкал,
и я не видел говорящую звезду.
А ветер взвыл
от непосильной тяжести
еще носить беду
в сорок втором году.
И на шапке
я нащупал, кажется,
ту самую
Звезду.

1942 — январь, 1



Я хочу, чтоб ты думала обо мне,
ночи думала обо мне,
ночи бредила во сне
и думала, думала обо мне.
Я тебя очень любил весной,
когда захлебывались занавески,
и вечер, как густой настой,
до тошноты поил,
в глазах двоил,
а я стоял один
на площади на той,
на Пушкинской
(на бывшей на Страстной),
и говорить мне было
не с кем.

О! Ты в те года была горда.
О! Ты в те года не ведала войну.
И я теперь, любимая,

иду по городам,
любимая,
я именем твоим по городам
окрапливаю тишину.
Но только тишина
приходит очень редко
сквозь минометный гул
и самолетный гуд,
и даже в тишине
на самой тонкой ветке
нас меткие кукушки стерегут.
И, может, в этот час
я получу такую рану,
что сердце остановится
в затянутом ремне,
и я к обеду
неожиданно нагрюну,
когда подумаешь ты только
обо мне.

Иван Пулькин



Я тысячу ночей не спал,
Я тысячу дней дня не видал,
Не видел ни солнца, ни дня,—
Я дикие песни мои распевал,
Песни мои про тебя и меня.

Когда ты пойдешь сквозь песни эти,—
Словно лесом, большой дорогой,
К тебе будут наклоняться ветви,
Чтоб тихонько тебя потрогать.

Слушай, когда ты сквозь эти песни
пойдешь,
Влажную поляну пересекая,

На тебя ласково упадет дождь,
Нежно тебя обтекая.

Когда ты пойдешь сквозь песни мои,
Большая и ласковая такая,
Тебе под ноги побегут ручьи
И будут звенеть, словно песни,
не умолкая.

Но когда ты презрительно или свысока
Рукой отведешь их струйки-звуки,
На тебя глянет моя тоска
Большими глазами муки!

1934

В ГОСТЯХ У СОЛНЦА

Засмеюсь ли, загрущу я,
Посмотрю ли из оконца,
Понимаю, что гощу я,
Как и все, в гостях у солнца.

Жизнь дается нам однажды,
С неба звездами пылая.
Хорошо сгореть от жажды,
Все любя и все желая.

На земле живые люди
Пламенеют сердцем ярко,
Никогда нигде не будет
Лучше этого подарка.

Слыша крови голос зычный,
Сотворю я мир в пустыне,
Я, как все, простой, обычный
Человек живой, Дружинин.

И вы, вольно иль невольно,
Мне упрек холодный бросьте,
Я скажу свой тост застольный
На правах земного гостя.

ПРО СОЛОВЬЯ

Ночь весенняя. Луна в томленьи.
Все поэты (в том числе и я!)
Про весну строчат стихотворенья,
Перепеть стараясь соловья.

С нашим братом спорить трудновато,
Это всё заносчивый народ,
Каждый думает, что он — новатор,
Мировой поэзии оплот.

Каждый над своей строкой колдует,
Дышит, пышет страстно, тяжело...

А соловушка и в ус не дует,
Разливается на все село.

У поэтов гувернеров кучка,
Учат их всему на все лады,
А вот этот серый самоучка
Сам обслуживает все сады.

И как часто громового метра
Люди не читают, не поют,
А его, пернатого поэта,
Все единогласно признают!

Ксения Некрасова

ВЕСНА

Босоногая роща
Всплеснула руками
И разогнала грачей из гнезд.
И природа,
По последнему слову техники,
Тонко-лиственные приборы
Расставила у берез.
А прохожий сказал о них,
Низко склоняясь:
 «Тише, пожалуйста, —
 Это подснежники...»

МОЕ ПАЛЬТО

Мое пальто!
Все собираюсь я
Твой внешний вид
Прославить перед миром
В наш многотрудный,
Многодумный век.
Но не к лицу теперь
Стихами облачатся, —
Все о куске,
О хлебе,
Думают народы.
Душа и бог
Преобразованы в желудок, —
Что в нас лежит
И требует почтения.
Мое пальто!
Твои седые петли
И воротник, в морщинах от тревог,
И плечи, сникшие
От тяжкого раздумья,
Все горести мои
С тобой, мое пальто.
Мы оба так нелепы
И смешны
Среди желудочных молитв и баснопений,
И больно мне слепое отношенье
К твоим полам,
К твоим локтям,
Мое пальто.

1943

Дмитрий Блынский

КНИГА

РАЗДУМИЙ

Он стоял над крутобережьем Байкала и долго глядел на седые волны славного моря. Высокий и молчаливый, здесь, перед священным Байкалом, он, казалось, распрямился и стал еще строже и подтянутей.

О чем он думал в эти минуты?

Может, вспомнились нелегкие будни Северного флота, где Александр Ойслендер служил с первых дней Отечественной. А может, увидел высокие кручи вольного Днепра и необозримую степь с вековыми курганами, ковыльную, безбрежную, как море, степь, где прошло его детство.

Еще вчера мы были в бурятской степи, и он, думалось, больше всего любит степные просторы. А теперь он молча с нескрываемой любовью и гордостью смотрел на Байкал. Все широкое и вольное, манящее вдаль — и степь и море — Ойслендер любил одинаково.

На дорогах Бурятии, куда мы приезжали с латышскими литераторами ранним летом шестьдесят третьего года, я впервые близко познакомился с Александром Ефимовичем. Сдержанный,

больше слушающий собеседника, чем говорящий сам, при разговоре о поэзии преображался, освещенный неуловимым внутренним светом.

Где-то в лесном Тарбагатае взволнованно рассказывал об Эдуарде Багрицком, который дал путевку в свет первой его книге стихов «Мир свежеет»; в звероводческом совхозе среди гор Улан-Бургасы Ойслендер вспоминал бушующие на ветру каштаны под Киевом, родную Украину, где он был и чернорабочим, и почтальоном, и шлифовщиком на деревообделочной фабрике.

А позже, покидая Улан-Удэ, говорил своим друзьям-бурятам «баяртай» — до свиданья — и обещал скоро снова сказать «сайн-байна» — здравствуй! Но это была последняя командировка человека с добрым, взволнованным сердцем, которое вечно стремилось навстречу ветру странствий и новых открытий.

И сегодня слова Александра Ойслендера, обращенные к большому русскому поэту Николаю Заболоцкому, мы относим к самому автору:

...Пусть нет в живых поэта,
Есть книга дум возвышенных его.

Она, эта последняя книга, подготовленная Александром Ефимовичем незадолго до его смерти, выпущена издательством «Советский писатель» и называется «А снег идет».

Александра Ойслендера привыкли считать поэтом-маринистом. С 1928 года, когда он ушел добровольцем на Черноморский флот, Ойслендер постоянно был связан с морем и опубликовал много книг, посвященных труженикам и воинам соленых просторов.

В новой книге «А снег идет» Ойслендер предстал перед читателем как поэт ярких философских раздумий о родной земле, о человеке, о времени и любви. Горизонт его интересов и дум по разнообразию тем и красок стал намного шире и убедительней. Одни названия стихотворений говорят о том, что волновало в последние годы поэта и как, оставаясь конкретным, романтически возвышенно он говорил «о времени и о себе»: «Пусть мчится век», «Диалектика», «Время», «Огни ЗАГЭСА», «Я верю», «После взрыва в Сахаре», «Современ-

ник», «Россия», «Работа» и многие другие.

Большое сердце поэта, то гордое и счастливое, то тревожное и настороженное, горячо стучит в каждом стихотворении. Недаром поэт писал, оглядываясь на пройденный путь:

Что ж,
Не жил я вполсердцебиенья,
Вполдыханья, вполсилы моей.
Коль любил — так любил до забвенья,
Ненавидел — так яростью всей.

Ступив на палубу корабля еще в конце 20-х годов, Ойслендер прошел трудными и суровыми дорогами, потому и в стихах его постоянно звучит тема зовущих дорог, тема подвига во имя «сраженья мрака и огня, сраженья нового со старым».

«А снег идет» — книга «сухопутная», но и в ней — такое уж сердце поэта-

моряка — видится лунная дорожка на океанской глади, слышится грохот десятибалльных волн... Поэтические детали моря, художественные образы, навеянные флотом, близкие и дорогие поэту, он часто берет как изобразительные средства для произведений о земле.

Никогда Александр Ойслендер не гонялся за внешним украшательством своих стихов, за сверхоригинальной рифмой, за необыкновенным ритмом. И стихи последней его книги просты, обыкновенны и ясны. Но их человеческая взволнованность, неподдельная искренность и образный язык делают эту простоту и обыкновенность настоящей Поэзией с большой буквы.

В жизни Александр Ефимович Ойслендер любил широкие, как в степи и на море, горизонты. К широте таких же горизонтов — от книги к книге — он стремился и в своем творчестве.

Александр Ойслендер

РАЗВОД

Я знал их
Восемнадцать лет,
Бывал у них, как водится,
Считал, что краше пары нет, —
И вдруг они разводятся.

Я знал ее
И знал его,
Но был незрячим, видимо,
Коль не почувял ничего.
Да так ли?
Может, выдумал
Какой-то сплетник
В час ночной —
Про это их решение?

Нет,
На столе передо мной
В пять строчек объявление.
Так, значит, было все не так,
Как мнилось мне, незрячему,
Когда на свет в окне, чудак,
Я запросто сворачивал.
Да, слишком много он бывал
В разбедах, как мне помнится, —
И слишком часто называл
Он ту, другую, скромницей.

И стал не мил
Былой уют,
Где все, души не радуя,
Не так пред ним, главой, встают,
Не так поесть ему дают,
Не так включают радио.

А разлучить их не могли
В дни отшумевшей юности —
Ни поезда, ни корабли,
Ни ночи смуглой лунности.
Ни трудные задания,
Где шаг один — до гибели,
Ни долгие скитания,
Что им на долю выпали.

А тут, когда никто не ждал,
Вдруг, как землетрясение,
Пришла беда —

И наповал,
Пришла —
И нет спасения.

И ночь, и день.
И снова день.
А горе не кончается.
Но надо жить —
И, словно тень,
Идет она.
Качается.
Идет вдоль горькой
Бездны мук.
Безмолвная.
Железная.
А он...
Он не протянет рук,
Чтоб удержать над бездною...

Я не ханжа,
чтоб заявить:
— До гроба —
и не менее! —
Бывает,
Что и рвется нить —
И нет верней решения...
Когда лавиной любовь
Приходит настоящая,
Всей острой мукою не в бровь,
А в сердце вас разящая,

Но женщина —
Сестра и мать,
Что добротой увенчана, —
Как вы могли не понимать
Беды такой же женщины,
Как вы счастливой быть могли
За счет другой, отвергнутой,
Чьи волосы в седой пыли,
Как ваши —
В брызгах вермута.

Она — вдова,
Хоть муж живой
И присылает деньги ей.
А вы, вы молоды.

Толпой
Вокруг снуют бездельники.
И вы могли б, взглянув в глаза,
С легко сносимой мукою
В тиши сказать ему:
— Нельзя
Мне вашей стать подругою! —

Кто вам судья?
И есть ли суд
В таких делах —
Не знаю я.
Но час придет —
И не спасут
Вас поздние раскаянья!

ГОРЕ

В комнате, где женская рука
Прежде, словно ласточка, летала,
Нынче сизый дым до потолка
Кольцами вздымается устало.
На столе вино, закуска рыбная,
Под столом давно, видать, не прибрано.

А хозяйки нет.
Ушла куда-то,
Бросив все домашние дела, —
И ее не ждут здесь, у стола,
Как с войны не ждут уже солдата,
Если похоронная пришла.

И хозяин,
Словно горький пьяница,
Выпил рюмку —
И за новой тянется.
Выпил не от скуки и безделья,
Не с полочки и не просто так,
А от горя, что на той неделе
Вывесило сердце черный флаг.

Дверь открылась.
Школьница вошла.

Встала у порога. Поперхнулась.
Облаком табачным затянулась.
Все чутьем недетским поняла.
— Выпей, дочка, может, станет легче, а?
Мама из могилы не придет!.. —
Красный галстук, худенькое плечико,
Маленький, но крепко сжатый рот.
И отец глядит на терпеливую,
На свою единственную дочь,
Что молчит, склонясь от горя ивою,
Да не знает — как ему помочь.
Горестная, с пепельной косою,
Светлая, как облако, вся в мать,
Сразу повзрослевшая душою —
Подошла
И стала убирать.
А отцу
И горько и обидно,
Слабости, пусть и недолгой, стыдно.
Маленькая,
Девочка еще,
А своими тонкими руками
Отвалила горе, словно камень, —
Подперла отцовское плечо!

МОРСКОЙ НОКТЮРН

Людских судеб круты дороги,
Не всем их суждено пройти.
Зачем же пишут демагоги,
Что ни задоринки в пути?

Кто с правдой им велел судиться,
Живых бессмертными назвал?
Из мертвой пены не родится
Побед девятизначный вал.

Забот с годами прибывает,
Так было, есть и будет впредь.
На море всякое бывает,
Но штормам суши не стереть.

МАЯК

То не циклопа одинокий глаз!
Не лампочка в оконце старой дачи,
Где человек записывает Время
В тетрадке школьной,
На клочке бумаги,
И трубку можжевеловую курит!
И не планеты взорванной осколок,
Застрявший посреди воды и неба!
Не янтаря спокойная слезинка!
Не Вечности таинственный светильник!
Вдали, у пепельного окоема,
Мешая фиолетовое с серым,
В ненастную и в добрую погоду
Горит великодушный огонек.
Он одинаково и ровно светит
Высокомерным бриттам,
Пьяным шведам,
И слугам королевы Нидерландов,
И молодым кубинским патриотам,
И молчаливым здешним рыбакам.
Ни шторма исполинское дыханье,
Ни облаков седые капюшоны,
Ни парусина мокрая туманов

Того огня не в силах загасить.
Он вечен — поводырь скитальцев водных,
Луч бескорыстия,
Надежды сполох,
Живущий в башне,
К чьим ступням холодным
Ракушечьи селенья прилепились
И водорослей сказочные рощи.
Уймись, Нептун!
Уйди в свои палаты,
Где мир чудес,
Где в голубые окна
Колотят многоцветными хвостами
Стремительные мирные уродцы
И хладнокровно жабры раздувают
В блестящих латах рыцари глубин.
Да здравствует огонь!
Его смотритель —
Упрямый человек в моряцкой робе,
О ком скучают песни и романы
Нелюбопытных жителей Земли.

1962—1963

Николай Флёров

ДВЕ ВСТРЕЧИ

1. «Здравствуй, Леша!»

Как-то в редакции «Литературной России» мой давний знакомый по Северу Володя Соломатин говорил:

— Жаль, что мы забываем иной раз очень хороших поэтов из числа тех, что погибли в годы войны. Мы-то их не забываем, правда, а вот издают их мало, хотя бы Алексея Лебедева...

— Володя, вы читаете мои мысли, — отвечал я ему.

Действительно, я давно уже думал о том, что большого поэта моря Алексея Лебедева охотно вспоминают к случаю, даже цитируют, но ни одного раза не издали достойно. Почему, например, нет его книги в избранной поэзии Гослитиздата?

Мне особенно больно это. Многие ленинградские писатели знали Лебедева как курсанта училища имени Фрунзе и члена Союза писателей. Мы же с Лешей служили вместе в Кронштадте, это было задолго до училища и первой его книжки. Встречаясь, когда корабли наши в одно время возвращались из похода, мы делились первыми своими стихами о только что увиденном море.

Сдружила нас и сама флотская жизнь

и наша кронштадтская газета. Редактировал ее большой друг начинающих флотских литераторов Александр Васильевич Плеско, за свою рыжеватую бороду лопатой известный всему флоту по прозвищу «Борода». Наверное, он первый на флоте отличил Лешу Лебедева. Крупного поэта разгадал в нем Николай Тихонов.

Леша погиб на Балтике. Он был штурманом подводной лодки. Стихи его живут и сегодня, сочные, крепкие, честные, мужественные, глядящие в будущее. А вот издателей и составителей сборников приходится в этом убеждать.

В «Антологии русской советской поэзии» Лебедев представлен тремя не лучшими стихотворениями. В сборнике «Поэзия в бою» — можно сказать, антологии советской военной поэзии — тоже тремя. Даже в таком сборнике, как «Мы из Кронштадта», где Алексею Лебедеву по праву принадлежит одно из первых мест, дано пять его стихотворений. Можно перечислить десятки стихотворных сборников, изданных за последние десять лет и посвященных морю, воинам, родине, где вообще нет стихов Алексея Лебедева.

Это надо исправлять.

Недавно я был в Кронштадте. Здесь любят, читают, знают, помнят своего поэта. Я увидел одну из улиц, где много раз мы с ним, бывало, проходили. На одном из домов табличка: «Улица Алексея Лебедева». Она почти крайняя на острове, близкая к морю, короткая. На ней сквер, полный берез и дубов, будто лес, а за ним — залив, Балтика, стихия поэта.

Вот здесь и сказал я ему:

Здравствуй, Леша! Не верится даже —
Вот каким увидеть довелось:
Возрожденного в многоэтажки
И в сентябрьской палитре берез.
Ты навечно на Балтике, Леша,
Хоть нелегкая правда горька,
Что с тобой эта улица схожа:
Будто вся твоя жизнь, — коротка,
Но и тем она схожа с тобою
И в характере флотском вполне,
Что глядит она в море родное,
Светом окон сигналил волне.
И как будто бы машут — «Счастливо!» —
В сквере ветки кронштадтских берез,
И о них под ветрами залива
Молодой вспоминает матрос;

Шепчет строки твои на просторе,
Проходя над волною крутой...

Не короткая улица.
Море —
Продолжение улицы той.

2. После боя

Издав я когда-то книжку стихов и назвал ее «Четыре ветра» — по числу флотов, где довелось служить и плавать. И теперь так повелось: заговорил о Тихом или Балтике, а вспомнил Заполярье.

И сейчас вижу своего доброго руководителя и настоящего старшего товарища по песне Василия Ивановича Лебедева-Кумача. Мы сидим с ним в небольшой комнате. Окна ее выходят на Кольский залив. Весенний ясный полдень. Видно, как на вершинах сопков подтаял снег и кое-где обнажены розовые прожилки в граните. Тихо. Сегодня почему-то не было еще воздушных налетов. Видно, крепко насолили наши летчики немецким, тем, что базируются в Луостари.

Василий Иванович в синем флотском кителе, а я привык видеть его, как прежде в Москве, в обычном пиджаке. Его улыбчивые глаза доброжелательно сверлят проникающим взглядом. Мы говорим о Москве, где, кажется, совсем недавно готовили сборник для Военмориздата. Говорим о войне, о поэзии и, главное, о песне.

— Приходите сегодня вечером на эсминец. Мы там с Костей даем концерт песни, — говорит Василий Иванович.

В. И. Лебедев-Кумач приехал вместе с композитором К. Я. Листовым в боевую творческую командировку на флот. Есть еще и третий «член бригады» — аккордеон. Константин Листов аккомпанирует, а Василий Иванович поет своим немного хрипловатым, но очень душевным голосом написанные с Листовым песни.

Вечер. Мы на эсминце. Звучат песни. А потом Василий Иванович читает недавно написанные стихи и в них такие строчки:

Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.

Неожиданно сигналы воздушной тревоги поднимают сидящих в кают-компании моряков. Работают зенитчики. Черно-желтый сигнал «Твердо», обозначающий воздушную опасность, колышется на мачте. «Юнкерсы» прорываются к базе.

Концерт прерван. Все громче разрывы снарядов и дробные хлопки зенитных пулеметов. Но вот мы, стоя на мостике, видим, как задымил один самолет, а за ним второй. Вскоре нам сообщают: вражеская атака отбита.

Концерт продолжается. С особенным настроением Василий Иванович повторяет только недавно прочитанные стихи:

После боя сердце просит
Музыки вдвойне...

Мы поднимаемся в гору. Там, в небольшом коттедже, мы снова смотрим в окно на притихший после тревоги причал.

Василий Иванович слушает стихи. По лицу его нетрудно определить, какое впечатление они производят. Он не сердится, если стихи ему не нравятся. Он просто смотрит в эти минуты каким-то отсутствующим взглядом. Но когда в глазах его загорается веселый огонек и рука его тянется к листкам моего блокнота, чтобы перечитать строку, понимаешь, что это значит — пришлось ему по вкусу. Потом мы перечитываем некоторые стихи вместе, он предлагает заменить строки, находит новые возможности для раскрытия образа. Я ухожу окрыленный из домика на полярной скале.

Вскоре мы прощаемся. И только после войны снова встречаемся в Москве. После боя. Я несу Василию Ивановичу первую свою книжку. В тот самый дом на улице Горького, где теперь мемориальная доска всегда напоминает о выдающемся песеннике. Василий Иванович внимательно читает книжку, потом достает чистый лист бумаги и начинает писать.

— Вот, — говорит он, закончив, — это рекомендация в Союз писателей.

Иду по улице Горького, а передо мной все Север, и тот вечер на эсминце, и стихи: «После боя сердце просит...»

Да разве после боя? Нет, я только еще иду в бой...

ПЕРЕЕЗД

Багрицкий переезжал из Кунцева в Москву, в квартиру, которую предоставил ему Союз писателей в проезде МХАТа.

Для переезда он нанял троє деревенских саней-розвальней.

На одни сани были погружены мешки с песком для аквариумов; Эдуард Георгиевич больше всего боялся, чтобы в дороге мешки не подмокли и не испортились:

в них был старый, хорошо промытый, а потому очень ценный песок.

В другие сани Багрицкий аккуратно уложил аквариумы, — они служили поэту источником постоянной радости.

А в третьих санях ехали Багрицкий с женой и сыном. В ногах лежали три каких-то небольших узелка, — собственно, все имущество знаменитого поэта.

«ПУСТОСЛОВ»

Виктор Полторацкий рассказывал:

— В тридцатых годах в редакции иваново-вознесенской газеты «Рабочий путь», в прихожей, на столе, лежала толстая конторская книга.

Называлась она «Пустослов».

В эту книгу записывали свои мысли,

шутки, экспромты все знаменитые люди, бывавшие в редакции.

Пришел как-то Маяковский. Предложили ему «приложить руку». А он под дружный хохот приложил... ступню правой ноги. День был сырой, дождливый, отпечаток получился отменный.

И расписался: «Собственноножно. Владимир Маяковский».

СДЕЛКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Иван Алексеевич Белоусов — поэт, прозаик, драматург, переводчик Шевченко и Бернса — в 1918—1919 гг. — в годы разрухи — очень нуждался. Однажды Белоусов встретил давнего своего знакомого — могильщика Семёновского кладбища.

— Шли бы, Иван Алексеевич, к нам

работать... Смотрите, как с лица-то исхудали...

— Что же я буду у вас делать? — спросил Белоусов. — Могилы рыть?

— Да нет, Иван Алексеевич, стишки жалостливые писать для памятников... Спросом пользуются!..

— Не в моем это стиле, — столь же простодушно сказал Белоусов. — У меня свой спрос — на жизнь!..

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА

.. **М**оабитскую тетрадь»
Мусы Джалиля заключает
стихотворение «Новогодние пожелания»:

Здесь нет вина. Так пусть напитком
Нам служит наших слез вино!
Нальем! У нас его с избытком.
Сердца насквозь прожжет оно.
Быть может, с горечью и солью
И боль сердечных ран пройдет...
Нальем! Так пусть же с этой болью
Уходит сорок третий год
.....

Это небольшое стихотворение — последнее дошедшее до нас произведение поэта. Оно посвящено Андре Тиммермансу — бельгийскому патриоту, участнику движения Сопротивления, который вместе с Джалилем томился в камере смертников Моабитской тюрьмы. Тиммерманс сохранил «Моабитскую тетрадь», оставленную ему Джалилем, а вырвавшись на свободу, передал тетрадь работникам советского посольства в Брюсселе.

Но что побудило Джалиля посвятить «Новогодние пожелания» Тиммермансу?

Этот вопрос долго оставался без ответа. И только с приездом в Москву самого Тиммерманса мы смогли выяснить мотивы, заставившие поэта написать «Новогодние пожелания» и посвятить их своему тюремному товарищу.

— Я ничего не понимаю в поэзии, — откровенно признался Тиммерманс в беседе с поэтом Ильей Френкелем — переводчиком многих стихов Джалиля. — Я ведь деловой человек... коммерсант...

Но я расскажу вам один случай... Мне кажется, он-то и вдохновил Джалиля написать это стихотворение... Дело в том, что французам и бельгийцам, сидевшим в тюрьме, фашистская охрана, в виде великого «благоденствия», разрешала под Новый год получать с воли вино и фрукты. Конечно, Джалиль не мог воспользоваться этой «привилегией»: он был советским бойцом... был приговорен к смерти... В знак солидарности с Джалилем я отказался от новогодней передачи.

Так мы и встретили Новый, тысяча девятьсот сорок четвертый год, — встретили вдвоем, в мрачном, сыром, каменном мешке Моабитской тюрьмы...

— Вы — герой, Тиммерманс, — взволнованно проговорил Френкель. — Вы нашли в себе силы поддерживать товарища в самые трудные минуты его жизни...

— Какой же я герой? — с простодушным удивлением воскликнул Тиммерманс. — Если говорить серьезно, то героем можно назвать того безвестного немецкого солдата-часового, который передал матери мою тюремную одежду, в которой была зашита записная книжка Джалиля... Героиней можно назвать мою восьмидесятилетнюю старушку мать, которая не побоялась сохранить записную книжку до моего возвращения... А ведь она даже не знала, вернусь ли я когда-нибудь?! А я?.. Я просто любил Джалиля, хотя и не понимал его языка, и выполнил последнюю просьбу своего друга: отнес записную книжку в советское посольство в Брюсселе...

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЗДНИК СТИХА

ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ	
Моей революции	7
Пора черемух	7
НИКОЛАЙ РЫЛЕНКО	
«Все береги: родную речь...»	8
«Ты хочешь знать...»	8
Ладони, пахнущие хлебом	8
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ	
«Я много знал...»	9
Не писали	9
Напряжение	9
К проблеме долголетия	10
Цыгане	10
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ	
«Века, века...»	11
СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ	
Утро рабочей окраины	11
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ	
Сердцу	12
Снова ты о ней?..	12
«Не спалила, не выжгла...»	12
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ	
Старые поэты	13
Деревня	13
«А лета и не состоялось...»	14
Девушки	14
У трамплина	15
«Ты жалеешь...»	16
Клочок кумача	16
Обольститель	17

ЮЛИЯ ДРУНИНА	
Наши «Зимние»	18
Гетеры	18
«В постели, в самолете иль в бою...»	18
ЮРИЙ ШАВЫРИН	
«В глазах все те же теплые огни...»	19
ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА	
«Не сотвори себе кумира...»	19
ЛЕВ ОЗЕРОВ	
«Как моря синий цвет неодинаков...»	19
Вместо речи	19
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ	
Чудак	20
«Прощай, ученый кабинет...»	20
«Все меньше смотрю на полотна...»	20
«Как совершенна простота!..»	20
«Вокзал бессонный дышит глухо...»	21
«Я собираюсь долго жить...»	21
«Жила на свете девочка когда-то...»	21
«Он в руки ей давал тетрадку...»	21
СЕРГЕЙ ОРЛОВ	
«Я на войне писал стихи украдкой...»	22
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ	
«Люди прячутся от одиночества...»	22
МИХАИЛ ЛЬВОВ	
Лермонтов	25
«Я — перевод с татарского на русский...»	26
«Очень мало я бываю дома...»	26
ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ	
Труд	27
«Тут забываюсь...»	27
Природа	27
«Тогда любились — словно пелось...»	28
«Свет наготы твоей...»	28
Слова В. БОКОВА	
Музыка А. ЖИРНОВА	
Травушка примятая	29
ВИКТОР БОКОВ	
Разговор с книгоиздателем	30
Шалыпин	30
Обелиски	31
Я — балалайка	31
Уха	31
Если бы все были поэтами	32
АЛЕКСАНДР ЯШИН	
Красные линии	33
Сухое вино	33
Желтые листья	34
Медведя мы не убили...	34

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН		ИРИНА ВОЛОБУЕВА	
Сны	34	Концерт	54
И вот я каждому скажу	35	НАУМ КОРЖАВИН	
БОРИС ПРИМЕРОВ		«Наверно, я не так на свете	
«Одному, ото всех на отшибе...»	36	жил...»	55
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ		«Освободите женщину от мук...»	55
Бабушка	36	Восточные стихи	56
АНАТОЛИЙ БРАГИН		ЮРИЙ ЩЕЛОКОВ	
«Далеко за горизонтом синим...»	37	Соперница	56
ВИКТОР КОЗЫРЕВ		СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА	
«Как только остывало небо...»	37	«Через печаль...»	57
ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВ		«Застелю я стол черной скатер-	
Крапива	38	тью...»	57
Поле	38	ДИНА ЗЛОБИНА	
Хлеборобы	38	Соловей	57
СЕРГЕЙ ХОХЛОВ		МАЙЯ РУМЯНЦЕВА	
«На опушке лошади пасутся...»	38	«Дай явь, как сон...»	58
ВЛАДИМИР ФИРСОВ		ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ	
«Я продолжаю вечное свиданье..»	39	Соперники	58
Полдень	39	ФЕЛИКС ЧУЕВ	
«Ожидает меня переправа...»	40	Поэтессы	59
«Птицы жмутся к жилью...»	40	«Когда косынкой землю ночь по-	
Мы	40	вяжет...»	59
НИКОЛАЙ БРАУН		БОРИС ДУБРОВИН	
Перед весной	41	Я тебя люблю	60
СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ		АНАТОЛИЙ ЗАЯЦ	
Анисьино утро	41	«Я был любовью сбит...»	60
Слова К. ВАНШЕНКИНА		Слова Евг. ДОЛМАТОВСКОГО	
Музыка Я. ФРЕНКЕЛЯ		Музыка В. СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО	
От затемненного вокзала	47	Огненные годы	61
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ		ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО	
«Мир дремучий...»	48	Моя групповщина	62
«А я когда-то думал...»	48	Баллада о нерпах	62
«У моей у любви...»	49	Неравнодушная природа	63
ИРИНА СНЕГОВА		Лермонтов	64
«Опровергаю. Любим за лю-		Вздых	64
бовь...»	49	Памяти поэта Ксении Некрасо-	
ВАЛЕНТИНА ТВОРОГОВА		вой	65
«Я вся какая-то другая...»	50	ВЛАДИМИР СОКОЛОВ	
«Наверное, я сильная...»	50	«Когда смеются за спиной...»	66
Березки плачут на дожде	50	«Художник должен быть закре-	
ОЛЬГА ФОКИНА		пощен...»	66
«Песни у людей разные...»	51	«Время движется...»	66
«Ты давно пытался выпытать...»	51	На родине	67
Островок	52	АЛЕКСЕЙ СМОЛЬНИКОВ	
ВЛАДИМИР КАРПЕКО		«О, как трудно жилось тебе,	
«Нет, все, что было между		сердце!..»	67
нами...»	53	Выстрел на Машуке	67
«Мне снился сон...»	53	ВАДИМ СЕМЕРНИН	
ВАЛЕНТИН СОРОКИН		С. С. Прокофьев	68
Надежда	53	Памяти Николая Анциферова	68
ДИНА ТЕРЕЩЕНКО		АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ	
«Говоришь — омут...»	54	«Не дровосек и не рыбак...»	69
«Ты не верь отраженью зер-		АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН	
кал...»	54	Теберда	70
		Поезд	70

ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА		ДМИТРИЙ БЛАГОЙ	
Зима	71	Прибой	90
Из «Пушкинской тетради» . . .	71	СЕМЕН ЛИПКИН	
ВИКТОР СОСНОРА		У моря	90
Очищенье	72	ВАЛЕНТИН ЕРМАКОВ	
ЕВГЕНИЙ АНТОШКИН		Опять летают майские жуки . . .	91
Валуны	72	ГЛЕБ ЕРЕМЕЕВ	
АРТУР КОРНЕЕВ		«Я бы, верно, так и не ступил...»	91
Портрет отца	73	В лесу	91
ВЛАДИМИР ТУРКИН		ПАВЕЛ ЖЕЛЕЗНОВ	
Ветер	74	«Мы встретили за городом ве-	
«Надо сразу старым бы ро-		сну...»	92
диться...»	75	ИВАН ХАРАБАРОВ	
«А все во мне как дно мор-		Черемша	92
ское...»	75	МИХАИЛ СКУРАТОВ	
«И все же океан я не люблю...»	75	Облепиха	93
«Сейчас обязан думать человек...»	75	АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО	
Слова А. ЖАРОВА		Глаза Урала	93
Музыка К. ЛИСТОВА		ВЛАДИМИР СЕМАКИН	
Звездочка	76	«Купавы, колокольчики...» . . .	94
ГЕННАДИЙ КОЛЕСНИКОВ		«Над землей—спасибо солнцу!...»	94
Преданность	77	ГЕРМАН ФЛОРОВ	
Счастье	77	Звери	95
Полночь	78	Слова Л. ОШАНИНА	
Оптимист	78	Музыка А. ОСТРОВСКОГО	
Слитки солнца	79	Голос земли	96
День мира	79	ЛЕВ ОШАНИН	
Речной трамвайчик	82	Из цикла «Моя Испания»	
Море	82	«А я живу...»	97
Слепой журавль	83	«В испанцев...»	97
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ		ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР	
«Обожаю круги и овалы...» . . .	84	Дрозд	98
После рыбалки	84	Впечатление	98
ПАВЕЛ РАДИМОВ		НИКОЛАЙ УШАКОВ	
Васильки	85	Искусство поэзии	99
Абрамцево	85	Большой вальс	100
Запястье	85	СЕРГЕЙ МАРКОВ	
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ		Стендаль	101
Весенний ручей	85	НИНА БЯЛОСИНСКАЯ	
ГРИГОРИЙ КОРИН		«Меня преследует повсюду...» . .	101
Подснежники	86	ДМИТРИЙ СУХАРЕВ	
АНТОН ПРИШЕЛЕЦ		Город	102
Апрель	86	СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ	
ИВАН ЛЫСЦОВ		«Прогресс коснулся сердца мо-	
«Поуронили слово русское!...» . .	87	его...»	102
Тундра	87	ИЛЬЯ ФОНЯКОВ	
Кружевница	87	Цифры	103
Речь о Каспии	88	АЛЛА СТРОЙЛО	
ЮРИЙ ПАНКРАТОВ		«Голубая монета — планета...» . .	104
Браконьер	88	«А скуке неплохо живется...» . .	104
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ		ЛИЛЯ НАППЕЛЬБАУМ	
Природа	89	За стеной	105
«Умирала я...»	89		
НАТАЛЬЯ БУРОВА			
«Правы соцветья...»	89		

ВЛАДИМИР ДАГУРОВ	
«Эх, живешь — бензином тра- вишься!..»	105
ЯКОВ АКИМ	
Дождь на площади	106
НИКОЛАЙ ПЕРЕВАЛОВ	
Кошка	106
ДМИТРИЙ СМЕРНОВ	
Беда	107
НИНА ЭСКОВИЧ	
Леонтию Алексеевичу	107
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР	
Музыка	107
ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН	
Игра	108
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ	
«Со мной делился человек се- дой...»	108
АНИСИМ КРОНГАУЗ	
Время	109
«Балеринки!»	109
ЮРИЙ ОКУНЕВ	
Снова о музыке	110
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ	
Чужие	110
ВАДИМ СИКОРСКИЙ	
Дни	111
«И я посильное участие...»	111
ВЛАДИМИР ЦЫБИН	
Азия — степь	112
Снежное	113
ИВАН РЯДЧЕНКО	
Прибой	113
ВЛАДИМИР СОЛОУХИН	
Люблю своих детей	114
ДМИТРИЙ НАГАЕВ	
«Донашиваю старые тельняшки...»	115
ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ	
Суховей	115
ЮРИЙ ГОРДИЕНКО	
Майма	116
ИГОРЬ КОБЗЕВ	
Север	117
У моря	117
ЛЕВ СМЕРНОВ	
Пролог	118
Остров Медный	118
ЭДУАРД АСАДОВ	
Бенгальский тигр	119
НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ	
Стекло	120
Спутник алмаза	120
Летающий мужик	121
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ	
«И нежный я и грубый...»	122
Вблизи селения Черкей	122
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА	
Гипноз	123
Слова С. ВАСИЛЬЕВА	
Музыка ВАНО МУРАДЕЛИ	
Победная песня	125
БОРИС СЛУЦКИЙ	
День Победы в Альпах	126
Ночной футбол в Мурманске	126
Групповой высотный затыжной прыжок парашютисток	127
Подводная лодка №...	128
«Столица нашей Родины — Москва...»	128
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ	
«Просыпаюсь и курю...»	129
НИНА НОВОСЕЛЬНОВА	
Адреса	129
ИВАН БАУКОВ	
Послевоенная баллада	130
ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ	
Окоп	130
ИВАН ШАМОВ	
Грозный	131
ПАВЕЛ АРСКИЙ	
Три Ивана	131
БОРИС КУЛИКОВ	
«Как жестока ты, память...»	132
НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО	
Деревянный конь	132
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ	
Мед	133
АЛЕКСАНДР КОВАЛЬ-ВОЛКОВ	
Дрова	134
НИКОЛАЙ БУКИН	
Схороните меня на Рыбачьем	134
ДМИТРИЙ БЛЫНСКИЙ	
Литовцы на Орловщине	135
ПАВЕЛ БОГДАНОВ	
Мысли на военном параде	135
МАРК ЛИСЯНСКИЙ	
Алексей Фатьянов	136
Лучшие годы мои	136
ЛЕОНИД ШЕМШЕЛЕВИЧ	
Памяти товарища	137
МИХАИЛ ДУДИН	
Изету Сарайличу	138
ВИКТОР КОЧЕТКОВ	
«Мне говорят...»	138
«В лиловой дымке роши...»	138
БОРИС СИБИРЯКОВ	
Амурский залив	139

ВЛАДИМИР КОТОВ	
Письмо из-за границы	140
ХУЛИО МАТЕУ	
Ностальгия	141
ЮННА МОРИЦ	
Французская баллада	142
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ	
Литературные пародии. Читая «День поэзии»	
Степан Щипачев. Над страница-	
ми энциклопедии	143
Роберт Рождественский. Планета	
друзей	144
Борис Слуцкий. Полеты во сне	
145	
Виктор Боков. Деревня Язвицы	
146	
Леонид Агеев. Засохну на корню	
147	
ЮРИЙ БЛАГОВ	
Ханжа	147
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ	
Поэа (Андрей Вознесенский)	
Пародия	148
<i>Страна графомания</i>	149
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ	
Люди и птицы	152
РАБОТА	
<i>Популярность и народность</i>	
Анкета «Дня поэзии»	
Михаил Исаковский. Из письма	
в редакцию	157
Николай Тихонов	158
Николай Ушаков	159
Николай Грибачев. ...И избави	
нас от лукавого	161
Виктор Боков	164
<i>Круглый стол «Дня поэзии»</i>	
Поэт, читатель, критик	
Семен Трегуб	166
Сергей Наровчатов	163
Игорь Мотышов	169
Алексей Марков	171
Михаил Львов	173
Марк Соболев	174
Владимир Карпеко	175
Александр Квятковский	176
Борис Куликов	176
Марк Лисянский	177
Михаил Лобанов	178
Владимир Туркин	181
Василий Федоров	183
ЛЕВ ОЗЕРОВ	
Одно стихотворение	185

GERMAN ФЛОРОВ	
<i>Лирические портреты</i>	
Звездопад в комнате	190
У Ярослава Смелякова	190
Ремонт у Винокурова	191
К. Д. БАЛЬМОНТ	
К молодым поэтам (Вводка	
А. В. Храбровицкого)	192
ФЕДОР СУХОВ	
Моя жар-птица	195
НИКОЛАЙ ПАНОВ	
Вступление к будущей книге	
195	
АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ	
Поэт	196
Степь	196
В июле 1941	196
ВИКТОР УРИН	
Не уставай!	197
Высота	197
МАРИНА ЦВЕТАЕВА	
Поэт о критике	198
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ	
«Ай-Петри. Горное плато...»	204
«В моих блокотах...»	205
ДЖЕМС ПАТТЕРСОН	
Творчество	206
АРШАЛУИС АРШАРУНИ	
Солирует художник (Этюд)	207
МИХАИЛ ДЕМИН	
Дневник	212
ВИКТОР БЕРШАДСКИЙ	
Молодой поэт	213
МАРК СОБОЛЬ	
Строчки	213
АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКОВ	
Основная остановка	214
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН	
Стихи солдата	215
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (Вводка С. Гри-	
горьянца)	217
Летний лепет	218
Солнечный дождь	218
Грозное облако	219
Жди меня	219
Овес	220
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН (Вводка Б. Сми-	
ренского)	221
Наболевшее...	222
Я к морю сбегая	223
Гармония контрастов	223
За Днепр обидно	223
<i>Театр поэзии</i>	
ВИКТОР УРИН	
Начало и продолжение	224
МИХАИЛ ЛУКОНИН	
Заслуживает продолжения	226

МАРГАРИТА АЛИГЕР		Родник в Гунибе	256
Это хорошо придумано	227	«Быть чересчур доверчивым...»	256
СЛОВО СИМОНОВА	227	«Нам не случилось ссориться...»	257
СЛОВО ГРИБАЧЕВА	227	Последним рейсом	257
СЛОВО ДРУНИНОЙ	227	ЕВГЕНИЙ ПОЛЯКОВ (Вводка	
СЛОВО ДОЛМАТОВСКОГО	228	В. Португалова)	
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕ-		«Если я останусь в живых...»	258
КСАНДР ПОДЧУФАРОВ	228	«Крест-накрест суета, уют...»	258
		О звездах	259
		Еще о звездах	259
		«Я хочу, чтоб ты думала обо	
		мне...»	260
СВЕТЛАНА МАГИДСОН		ИВАН ПУЛЬКИН	
«Устная библиотека поэта»	229	«Я тысячу ночей не спал...»	260
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ		ПАВЕЛ ДРУЖИНИН	
СЕРГЕЙ КОШЕЧКИН, ЮРИЙ ПРО-		В гостях у солнца	261
КУШЕВ		Про соловья	261
Слово о Есенине (К 70-летию со		КСЕНИЯ НЕКРАСОВА	
дня рождения поэта)	235	Весна	262
ЮРИЙ ПРОКУШЕВ		Мое пальто	262
Десять автографов поэта	238	ДМИТРИЙ БЛЫНСКИЙ	
СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ		Книга раздумий	26
Встречи в мастерской	244	АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР	
БОРИС БОБОВИЧ		Развод	265
Начало Эдуарда Багрицкого	247	Горе	266
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ		МАРК ШЕХТЕР	
В жилищах наших	249	«Латвийский дневник»	
Звезды, розы и квадраты	249	Работу дайте яростным рукам!	267
Вопросы к морю	250	«Мне не надо роскошных авто...»	267
ИГОРЬ ПОСТУПАЛЬСКИЙ		Земля и небо	267
Светлов на чешском	251	Морской ноكتюрн	268
МИХАИЛ СВЕТЛОВ		Маяк	268
«Все мне кажется, что я молод...»	252	НИКОЛАЙ ФЛЕРОВ	
«Выйди замуж за старика...»	252	Две встречи:	
«Дети нищих!..»	253	1. «Здравствуй, Леша!»	269
Негодяй	253	2. После боя	270
МАРК СОБОЛЬ		ЛЕОНИД ЛАВРОВ	
Последняя книга	254	Творчество	271
ВЕРОНИКА ТУШНОВА		Среди зимы	271
«Мне без тебя не празднично...»	255	АЛЕКСАНДР ЛЕСС	
Молитва	255	Переезд	272
«Кто-то в проруби тонет...»	256	«Пустослов»	272
		Сделка не состоялась	272
		Последняя просьба	273

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1965

М., „Советский писатель“, 1965, 280 стр.
Тем. план выпуска 1965 г. № 415.

Редактор *В. С. Фогельсон*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректоры: *Т. И. Воронцова,*
Л. А. Матасова, В. Н. Стаханова

Сдано в набор 13/IX 1965 г. Подписано к печати 26/IX 1965 г.
Д05205. Бумага 84×108¹₁₆. Печ. л. 17¹₂. (29,4) Уч.-изд. л. 22,54.
Тираж 75 000 экз. Заказ 2980. Цена 1 руб. 03 коп.

Издательство „Советский писатель“
Москва, К-9, Б. Гнезниковский пер., 10.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров СССР
по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

